ЮЛИУС ФУЧИК

Василий Филиппов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книге рассказано о жизни и деятельности национального героя Чехословакии, видного писателя и журналиста Юлиуса Фучика.

Это научно-художественная биография автора «Репортажа с петлей на шее» - известного во всех уголках планеты.

- В. Филиппов
  - ВЫБОР
    - МАЛЕНЬКИЙ ЛОРД ФАУНТЛЕРОЙ
    - ГДЕ РОДИНА МОЯ?
    - НЕ ОТРЕКУСЬ
  - БОРЬБА
    - ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ
    - КРИТИК И РЕДАКТОР
    - ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
    - В СТРАНЕ, ГДЕ ЗАВТРА ЯВЛЯЕТСЯ УЖЕ ВЧЕРАШНИМ ДНЕМ
    - ПРАВДА, КОТОРАЯ УЧИТ
    - В ГУЩЕ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ
    - ИЗ ГАРНИЗОНА В ГАРНИЗОН
    - ОПАСНОСТЬ НАДВИГАЕТСЯ
    - В СТРАНЕ ЛЮБИМОЙ
  - ПОДВИГ
    - КОНЕЦ ПЕРВОЙ РЕСПУБЛИКИ
    - ПОДПОЛЬЕ
    - НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ
    - РЕПОРТАЖ С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ
  - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛИУСА ФУЧИКА
  - КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

В. Филиппов
Юлиус Фучик

Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас.

Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали: не было безымянных героев. Были люди, у каждого свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами!

Юлиус ФУЧИК

ВЫБОР

МАЛЕНЬКИЙ ЛОРД ФАУНТЛЕРОЙ

На старый дом, на ветхий дом
Гляжу в благоговенье.
Недаром в нем я пережил
Сладчайшие мгновенья.

Ян Неруда

Расклеенные театральные афиши гласили:

«Чешский музыкальный кружок устраивает 7 сентября 1912 года спектакль „Маленький лорд“. В главной роли выступит девятилетний Юльча Фучик из Праги».

Перед берлинским театром «Дойчер хоф» царило оживление.

Местное чешское землячество осаждало театр: к подъезду подкатывали коляски знатных особ, спешили горожане в своих праздничных костюмах, рабочие и ремесленники в чистых сюртуках, при галстуках, напоминающих букет цветов, оживленно жестикулирующие студенты.

По всем ним уже издалека было видно, что идут они в театр.

Здесь и там раздавались возгласы:

— Лишнего билетика нет?

— Ради бога, хоть один билет!

Из вестибюля доносился сдержанный гул — тот особый гул, который сразу захватывает и ошеломляет входящего. Мелькание модных причесок, белоснежных манишек, ярких цветов, улыбки, кивки, поклоны. Всюду звучит чешская речь. Теперь стали говорить исключительно по-чешски, и если кто забывался и вставлял в разговор немецкую фразу, все тотчас оглядывались на него удивленно и вопросительно. Да, в общественной жизни произошел примечательный поворот. Давно ли, еще на родине, чешский театр влачил жалкое существование, гонимый со всех сторон? Те, кто постарше, еще хорошо помнят, какую упорную, многолетнюю борьбу вел чешский театр за право играть спектакли на родном языке.

И вот теперь на чужбине выступает родной театр. Зрительный зал набит до отказа. В проходах столпилось столько зрителей, что невозможно было закрыть двери. С безучастным видом сидел только один человек во втором ряду — полицейский комиссар.

Раздались звуки музыки, и публика тотчас стихла.

Поднялся занавес, и представление началось. С каждым

актом спектакль все больше завоевывал сердца зрителей.

— Ой! Гляньте-ка! Какой красивый карапуз!

— Правда, отлично играет?

— Да как стоит и держится, сморчок этакий! — шептали в партере зрители. Мария Фучикова, сидевшая в первом ряду, стала даже оглядываться по сторонам, снедаемая желанием сказать соседям, что это ее сын.

А Юлек только изредка поглядывал на мать и легонько кивал ей.

Действие шло своим чередом. Юлек с особой легкостью, свойственной детям, играл свою непростую роль. Все ему удавалось. Он жил на сцене жизнью своего героя, и каждое его появление вызывало радостную реакцию зрительного зала. У мальчика было то, что бывает врожденным свойством настоящего артиста, — легкость характера, радостность, обаяние. Спектакль был простой, бесхитростный, но публика ликовала. Дело в том, что представление на чешском языке на чужбине приобретало характер национального праздника, проходило как некое богослужение и так же воспринималось.

Это был незабываемый для Юлека вечер. Его засыпали цветами, целовали, жали руки, благодарили за доставленное удовольствие; ему хочется и плакать и смеяться — сердце его полно до краев. Нежность захлестывает его, как волна, обхватив ручонками шею матери, он, радостный, раскрасневшийся, стискивает ее изо всех сил.

— Да ты меня задушишь! — смеясь, говорит мама. Юлек сжимает ее еще крепче. Как он ее любит! Как он любит все на свете! Все такие добрые, все так прекрасно! Глаза его еще больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими. Ему вручили лавровый венок, увитый трехцветными национальными лентами, большой альбом с видами Берлина и две красивые чешские книги с дарственными надписями. Местная газета поместила восторженный отзыв:

«Выступление нашего юного гостя вызвало в Берлине настоящую сенсацию, о чем свидетельствует небывалый наплыв зрителей. Если учесть возраст нашего гостя (9 лет) и утомительную дорогу, проделанную им, можно только поражаться тому, как прекрасно и безукоризненно сыграна им роль маленького лорда, чего, право же, никто не ожидал… Пусть он всегда останется таким же другом бедняков, как маленький лорд на сцене…»

…Карел Фучик в который уже раз прочитывал газету с хвалебной рецензией, разглядывал альманах, изданный два года назад по случаю 40-летия смиховского театра. Галерею артистов

открывал основатель театра, прославленный Павел Шванда из Семчиц: пышная шевелюра, проницательный взгляд и закрученные кверху — по тогдашней моде — усы. Закрывал галерею маленький Юлек, сын Карела. Он смотрит то в альманах, то в лицо утомленного, но все еще радостно возбужденного сына.

«Ах, Юлек, Юлек! Неужели из тебя и впрямь вырастет новый Мошна (Индржих Мошна (1837–1911) великий чешский актер. — *В. Ф.*), как все говорят вокруг?» — который раз задает он себе этот вопрос и вместо ответа чувствует, что его мечта о сыне-инженере дала первую трещину.

Юлек не знает, что его будущее отец предрешил заранее.

…За год до свадьбы, в шумном кабачке «У Флеку», после субботней получки у какого-то чертежника Карел купил большую готовальню в плюшевом футляре.

— Зачем ты покупаешь это? — спрашивали товарищи.

— Для мальчика.

— Разве у тебя есть сын, ведь ты же неженатый?

— Пока нет, но скоро женюсь. У меня будет сын. Он будет инженером. Пригодится ему.

Мечта отца о сыне-инженере была навеяна духом нового времени. В то время в Праге насчитывалось примерно полмиллиона жителей, в быт входили новейшие изобретения, по улицам все чаще грохотали электрические трамваи, заменившие старую конку. Изобретение инженера Кржижека смело вторгалось в размеренную жизнь города, будило его средневековую тишину, затаившуюся в величественных храмах и дворцах. Флегматичные воды красавицы Влтавы начали бороздить пароходы судовладельца Ланны. Пар — чудо восемнадцатого и девятнадцатого столетий — отступал перед электричеством. Керосиновые фонари на окраинах Праги доживали свое время.

Пражский архитектор и страстный фотолюбитель Ян Кржиженецкий купил в 1898 году камеру братьев Люмьер и стал не только показывать привезенные из Франции фильмы, как это делали до него другие кинематографисты, но и снимать собственные, первые чешские ленты, вызвавшие сенсационный интерес публики: «Встреча на мельнице», «Продавец сосисок на выставке и лепильщик афиш», «Смех и плач» и другие.

Кино и радио раздвигали горизонты мира. Изобретение смеялось изобретением, и Карелу казалось, что наступает торжество благоразумия, что будущее мира наконец-то будут решать разум, наука, техника.

Карел с увлечением читал газеты, где помещались рисунки, изображающие воздушные шары с крыльями, автомобили и самолеты, книги инженера Эмиля Шкоды, и теперь инженеры

казались ему алхимиками XX века. Спрос на инженеров, по мнению Карела, должен значительно возрасти в будущем, потому что физика — это единственная из наук, способная в скором времени дать ответ на все основные вопросы бытия, о которых так недоступно для простого люда мямлят философы вот уже три тысячи лет. Его сын пойдет в реальное училище, затем поступит в политехнический институт и станет хорошим инженером.

С появлением Юлека на свет связана комичная история.

Карел стоял у окна, прислушивался и думал о том, что в последние дни он, как нарочно, по горло занят на работе: днем на заводе, а вечером в театре и на съемках фильма. Ему посчастливилось быть на съемочной площадке с популярным народным комиком и исполнителем шуточных куплетов Йозефом Швабом Малостранским.

Раздался крик младенца. Свершилось. Кто это? Мальчик или девочка? Вопрос! Карел не вытерпел и, не дожидаясь, пока его позовут, осторожно вошел в комнату. Мария лежала, откинувшись на подушки и закрыв глаза, бледная, с умиротворенным лицом.

— Ну что? — в замешательстве выдавил он из себя.

— Мальчик, — сказала акушерка.

— И все… все в порядке?

— Поздравляю, пан Фучик, парень что надо!

Двадцатисемилетний, высокий и широкоплечий, сын рабочего насосной станции Ярослава Фучика был человеком гордым и независимым. Он поцеловал Марию и вылетел за дверь. Его любимый велосипед загрохотал по лестницам с третьего этажа и покатил по мокрой мостовой.

Велосипеды в то время были еще редкостью на пражских улицах, они громыхали по неровным мостовым стальными обручами — резиновую шину еще предстояло изобрести! — привлекая внимание прохожих. Эту волшебную машину, покрытую черной эмалью, с цепной передачей и зеркально никелированным рулем приобрести было для Карела непросто. Ему пришлось отказаться от всех удовольствий, от первых сигарет, которые поднимали молодых подмастерьев в глазах учеников, и даже от пива. А это в глазах товарищей было почти равносильно добровольному пострижению в монахи.

Радостно напевая популярную веселую песенку «Подарила мне девушка золотое колечко», Карел стрелой промчался под аркой моста и, притормозив у завода Рингхофера, громко крикнул идущим к проходной его товарищам:

— Сегодня не приду! У меня сын!

Стоявший неподалеку полицейский с одобрением кивнул

петушиным хохолком на каске и приветливо улыбнулся, давая понять, что он тоже рад этому известию.

— А вы хорошенько посмотрели? — спросил он тоном, каким привык спрашивать: «А у вас есть свидетели?», и заулыбался, довольный своей остротой. Карел оцепенел… Его словно окатили холодной водой. И действительно, он еще толком не знает, сын ли. Поверил акушерке! А вдруг та ошиблась и сказала неправду? Он стремительно понесся обратно по улицам, которые только что были свидетелями его ликования, взбежал по лестнице, ворвался в комнату и успокоился только тогда, когда ребенка распеленали.

— Да сын, сын, — улыбалась бабушка, — но раз уж ты вернулся, давайте вместе подумаем, как его назовем. Сегодня 23 февраля — день святой Романы и Сватоплука. Вчера был день Петра, а завтра — день Матиаша.

— Никаких святых! — отрезал Карел. — Сына назовем Юлиусом в честь моего брата.

Спорить с ним было бесполезно: характер у Карела крутой и своенравный, и лучше его не доводить до гнева…

Больше всего маленький Юлек любил руки отца: крупные, широкие, узловатые от расширенных вен, твердые от мозолей. Когда эти руки ложились на его кудрявую голову и ласково ворошили волосы, мальчик замирал от счастья и старался незаметно прижаться, прильнуть к отцу. Ведь такое случается нечасто. Открытое проявление нежности не к лицу мужчине, считал Карел. Его, человека, как говорится, с душой нараспашку, жизнь научила скрывать свои чувства. Глядя на него, Юлек понимал, что значит мужчина. Отец возьмет тиски, зажмет в них ключ и выпилит в нем бороздку. У него есть всевозможные клещи, разводные ключи и множество шурупов, гаек, проволоки. Он повелевает огнем и металлом, умеет открыть любой замок, вообще разбирается во всем. Всякую работу он выполнял быстро и сноровисто. Головки шурупов или коленчатые валы выходили с его токарного станка без малейшего изъяна.

В течение нескольких лет Карел принимал участие в любительских хоровых ансамблях «Гавличек» и «Добровский», выступавших по праздникам с концертами для сбора пожертвований для бедняков. У него был звучный и приятный бас.

— С таким басом и такой внешностью, — говорили товарищи, — прямая дорога на подмостки настоящего театра.

В 1900 году его пригласили участвовать в бесплатных выступлениях в смиховском «Театре Шванды» и в «Арене», а через некоторое время он получил постоянное место в труппах этих

театров. Несколько лет молодой рабочий-певец совмещал два занятия: днем — на заводе, вечером — на спектакле или репетиции.

Для Юлека мать — поверенная его детских радостей и горестей. Она — дочь сапожника из Бенешова, выросла в семье книголюбов и отыскивала для Юлека, Юлы, как его называли, такие слова, которые раньше никогда не произносила, научила его в пять лет читать и писать. Никто никогда не слышал от нее даже резкого слова.

В доме не знали праздности. Мария научилась швейному делу, и не раз, увидев сшитые ею платья для дочерей, знакомые спрашивали:

— Это что, из Парижа?

Чтобы Карел мог спокойно петь в театре, она собиралась открыть мастерскую, брать заказы у важных смиховских дам. Но муж запротестовал, он и слушать об этом не хотел. Что будут говорить люди? Что он, не в состоянии прокормить семью? В этом отношении Карел был щепетилен.

Мария была очень красива. За ней долго ухаживал один аристократ, и ее родителям не так-то просто было расстаться с мыслью, что свое заманчивое блестящее будущее их дочь предпочла роли жены «простого рабочего». Но дочь заупрямилась, и целых три года настаивала на своем.

Молодожены жили дружно, счастливо. Но наступило время, когда Юлек должен был сказать первое слово…Однако он молчал. Он живо, с интересом воспринимал окружающее, казалось, понимал родителей, но, как ни странно, все еще не произносил ни слова. Он издавал какие-то звуки, но никто не мог понять этот лепет. Страх в доме рос с каждым днем.

— Почему, почему же он молчит? — в который уже раз задавали в беспокойстве родители вопрос. Не помогали советы дедушек и бабушек, соседей и знакомых, не помогали доморощенные средства — тряпочки, смоченные в воде и уксусе, другие рецепты народной медицины. Кто-то из знакомых присоветовал сажать ребенка в кучу нагретого солнцем песка.

Отчаявшись, родители понесли мальчика к врачу, считая, что только знаменитый доктор знает что-то особенное и один может спасти Юлека. Это был толстый плешивый человек, о котором все в округе говорили как о хорошем специалисте, но чудаке, у которого в голове не хватает «одного винтика». Одинокий, не то вдовец, не то старый холостяк, он всегда был неестественно весел, хотя в рот не брал спиртного.

— Говорите, мальчику исполнилось два с половиной года, а он не произнес ни одного слова? — строго спросил врач после

осмотра. — Волосы, губы и глаза у него красивые. Случается, наверное, что он иногда кричит?

— Да, — кивнул Карел, — но его сверстники давно щебечут как птички. Ну, доктор, решайте нашу судьбу, — сказал Карел. — Говорите нам все. — «Есть ли надежда?» — хотел он сказать, но губы его задрожали, и он не мог выговорить этот вопрос. — Ну что, доктор?..

— Вы хотите знать, в чем дело? — Доктор сел на стул и закурил. — Сейчас я откашляюсь и буду иметь честь доложить вам свое мнение. Я как раз вспомнил о пьесе Мольера «Лекарь поневоле». Привели родители к врачу девочку, которая, как ваш сын, не умела говорить, и спрашивают: «Почему она не говорит? В чем дело?» И врач еще триста лет назад, знаете, что ответил? «Мы, великие медики, с первого взгляда определяем заболевание. Невежда, конечно, стал бы в тупик и нагородил бы вам всякого вздору, но я немедленно проник в суть вещей и заявляю вам: ваша дочь не говорит потому, что она нема».

У Карела подкосились ноги, его могучая фигура, казалось, стала вдвое меньше. Мария побелела как полотно и уже почти не слышала голоса врача, который, ничего не замечая, продолжал:

— Несчастный отец спрашивает: «Так-то оно так, но я бы хотел услышать, отчего это случилось?» — «Сделайте одолжение, — отвечает врач. — Оттого, что она утратила дар речи». — «Хорошо, — воскликнул отец, — но назовите мне, пожалуйста, причину, по которой она его утратила». И знаете, что ответил врач, уже тогда, триста лет назад? «Величайшие ученые скажут вам то же самое: оттого, что у нее язык не ворочается».

Посмотрев на Карела и Марию, врач, видимо, понял, что их терпение испытывать больше нельзя, и решительно сказал:

— Оденьте мальчика, он совершенно здоров и скоро заговорит так, что ваши головы пойдут кругом. Не исключено, что его запоздалая речь с лихвой будет компенсирована какими-нибудь блестящими способностями. Деревья, которые поздно цветут, приносят наилучшие плоды.

Когда Юлеку исполнилось три года, у него наконец «развязался» язык. Ребенок рос бойким, общительным и очень наблюдательным. От отца он унаследовал бурный темперамент, жизнерадостность и веселый нрав, от матери — доброту, жажду познания всего нового.

В «Репортаже с петлей на шее» Фучик сказал о Яне Неруде самые большие слова и добавил, что для того, чтобы понять творчество этого величайшего чешского поэта, который, по его словам, «не был понят и оценен по заслугам», надо хорошо представлять среду, где Неруда родился и рос. «На него налепили

ярлык почитателя малостранской идилии, не замечая, что в глазах этой „идиллично“ старосветской Малой Страны он „был непутевым“, что родился он на рубеже Смихова и Малой Страны в рабочем районе, и что на малостранское кладбище за своими „Кладбищенскими цветами“ Неруда ходил мимо Рингхоферовки»[1].

В этих нескольких фразах Фучик, сам того не сознавая, охарактеризовал среду, в которой протекало его собственное детство и которая предопределила его будущую жизнь.

Жили Фучики на Смихове в доме № 1041 по Дунгковой улице, где обосновались фабричные рабочие и мелкие ремесленники. Таких домов не счесть. Все они похожи один на другой. Рядом с домом громыхал огромный завод Рингхофера, здесь же находилась фарфоровая фабрика, текстильный комбинат и другие предприятия. Несмолкаемый лязг и грохот железа несся оттуда. Тысячи людей — инженеров, механиков, каменщиков, слесарей и токарей — собрались сюда из окрестных деревень, чтобы, повинуясь «железному» закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса. Смихов — это колыбель чешского рабочего движения. Здесь в 1844 году первыми во всей Чехии бунтовали голодные рабочие-текстильщики. Они ломали, крушили машины и станки, видя в них виновников своей нищеты и безработицы, своего врага. В родном доме Юлек не раз слышал о забастовках на Смихове.

Ему нравилось, когда в дом приходили товарищи отца. Приткнувшись с книжкой в углу дивана, Юлек прислушивался ко всему сказанному. И хотя многое было непонятно, прямота, здоровое чувство правды и сознание своей силы он ощущал во всем, что делали и говорили эти люди.

Рядом с домом находилось тихое малостранское кладбище, заложенное почти два с половиной века назад, во время чумы. Теперь там уже никого не хоронят. Заросшие, отвыкшие от человеческого голоса, тихие аллеи со старинными надгробиями, статуями, семейными саркофагами, таинственным шелестом ветра в кронах могучих деревьев. Идеальное место для уединения, где слагал Неруда свои стихи, полные язвительной иронии, мудрости и веры в чешский народ. Медленно и робко Юлек бродил по тенистым аллеям, чувствуя себя окрыленным и счастливым, очарованным березами и темными дубами на сверкающих серебром лужайках и таинственными тенями.

Совсем рядом — зеленый холм, на котором стоит «Бертрамка». В этой грациозной, воздушной вилле XVII века, принадлежавшей композитору Душеку и его жене — оперной

певице Жозефине, останавливался и творил Вольфганг Амадей Моцарт во время частых посещений Праги, где он находил прибежище. Этот поэтический уголок Смихова был пропитан моцартовскими творениями, солнечной озаренностью, светлой романтикой его волшебной музыки. От отца Юлек узнал, что после триумфального успеха оперы «Свадьба Фигаро» в театре Тыла, которой Моцарт лично дирижировал, он посвятил пражанам два других произведения — оперу «Дон Жуан» и Симфонию ре-минор.

Его музыка оживала здесь в исполнении другого гения — Петра Ильича Чайковского, игравшего на старинном инструменте, помнившем прикосновения рук Моцарта. В книге посетителей виллы Юлек прочитал собственноручную, восторженную запись П.И. Чайковского.

Однажды отец повел Юлека в собор святого Микулаша на Малой Стране и рассказал, что, когда в Вене умер Моцарт, тысячи пражан собрались здесь, на Малостранской площади, а под гулкими сводами этого собора заплаканная Жозефина самозабвенно пела моцартовский «Реквием».

И в доме Фучиков часто звучала музыка. Чешские и словацкие народные песни, произведения Сметаны и Дворжака, арии из опер и оперетт. Юла слушал их с малолетства, и поэтому воспоминания о доме у него всегда были связаны с музыкой и песней. В этом была заслуга не только отца. Дядя Юлиус, брат отца, был известным композитором и армейским капельмейстером, выступал с военным оркестром в Австрии, Германии, Швейцарии, Италии, Франции.

Юлек мог напевать или насвистывать целые арии из опер Сметаны. Но самым любимым был и навсегда остался Бетховен. Юлек помнил наизусть его симфонии: Героическую, Пятую, Девятую и сонаты: Аппассионату и Патетическую. О Седьмой симфонии Бетховена он позднее говорил, что слышит в ней голос миллионов рабочих. Он ощущал в этой музыке народную стихию и торжество справедливости, она проникала в его душу. «В музыке — жизнь чехов», — любил повторять дядя Юлиус крылатые слова Сметаны, рассказывая с гордостью о чешских музыкантах и композиторах. Юлек особенно любил слушать об Эдуарде Направнике, который в двадцать три года приехал в Россию, и она стала для него, как и многих его соотечественников, второй родиной. Более пятидесяти лет он работал в петербургском Мариинском театре и создал лучший в мире оркестр с особым, как говорил дядя, «бархатным звучанием».

Уже с ранних лет эта «неведомая» страна интересовала

Юлиуса. Иногда ему даже хотелось отправиться туда.

— Дядя, расскажи мне об этой стране! — говорил Юлек.

— Мне не довелось там быть, — отвечал дядя. — Но говорят, что Россия огромна, как мир, до Владивостока надо ехать поездом целый месяц. Ручьи в России такие, как у нас реки, а реки — как моря, другого берега не видно, леса дремучее наших. А сколько там зверья и рыб! Осетр для русских все равно что для нас вьюнок, а куриные яйца там равны нашим индюшачьим…

Ранней весной Юлек любил бегать со своими сверстниками на Влтаву. Отсюда город представлялся как чудесное живое существо с позвоночником — рекой, сердцем — Староместской площадью и головой — Градом.

Детство Юлека проходило в мире сказок, радостных игр, приключений, но главным образом в театре. Уже в три года перед Юлой открылся, освещенный огнями театральной рампы, необычный, любопытный мир фантастических героев, где живут добрые феи и злые волшебники и где добро всегда побеждает зло.

…Смиховскому театру Шванды для спектакля «Золушка, или Хрустальный башмачок» нужен был ребенок. Владелице театра пани Колдинской посоветовали взглянуть на Юлу. Перед «смотринами» в доме все было отрепетировано до мелочей: как войти в кабинет директрисы, как поклониться, что сказать.

Пани Колдинска, старая дама, сидела в кресле с веером на коленях. Увидев Юлу, она воскликнула:

— О, какой прелестный мальчик! И как красиво он кланяется!

— Это папа учил меня на улице, а люди кругом оборачивались.

Щеки Карела покрываются легким румянцем.

— А почему ты показываешь мне свои руки, Юлек? — удивленно спрашивает хозяйка театра.

— Потому что они чистые. Папа мне говорил, что вы не любите детей с грязными руками.

Пани Колдинска очарована непосредственностью мальчика, смеется до слез и говорит, обращаясь к Карелу:

— У вас великолепный сын. Я беру его. Будет играть в «Золушке».

— Но ведь там нет ни одного мальчика, — вставляет Юлек, — кого же я буду играть? Голубя?

— Ты будешь в белом парике, в костюме пажа сидеть в красивом яичке, которое будет вывозиться на сцену.

— Но в сказке нет никакого яичка, — упрямо твердит мальчик.

— В театре есть. Во время бала оно будет появляться в каждом представлении, — говорит пани Колдинска.

После «смотрин» в доме буря восторга, и сразу же начались «репетиции».

— Мама, давай поскорее бельевой бак, — командует Юлек, — пани мне сказала, что нужно делать.

В баке, изображавшем яйцо, Юлек учился, как нужно скорчиться и затем понемногу выпрямиться и как раскланиваться, чтобы не потерять равновесие.

— Боже мой! — восклицает мать. — Он же продавит дно, и мне негде будет стирать белье.

— Ничего, — смеется Карел, — искусство требует жертв. Театр — это не шутка…

Спектакль имел большой успех. За год его давали двадцать четыре раза. И хотя Юла не произнес в нем ни единого слова и появлялся на сцене лишь один раз, все выходило у него необыкновенно грациозно. Злая ведьма каждый вечер заколдовывала принца, прятала его в большое яйцо, но в финале пьесы, как и полагалось в сказке, добро торжествовало над злом, яйцо разбивалось, и из него на свободу выходил кроха принц. И он и зрители были рады, что все кончилось так хорошо и благополучно. Юлу фотографировали, и открытки с его изображением продавали публике. Некоторые зрители просили его дать автограф. Юлек ставил на открытках крестики. Отцу приходилось иногда останавливать «знаменитость», иначе он исчертил бы не одну открытку…

Шестнадцать раз выступал Юлек в оперетте «Принцесса долларов», затем, переодетый девочкой, танцевал в оперетте Штрауса «Летучая мышь». Позже у него была роль в спектакле «Пан профессор в аду». И какую бы роль ни исполнял мальчик, он быстро завоевывал сердца зрителей, и маленьких и взрослых.

Через два года состоялся бенефис Юлека — выступал он тогда в самой яркой своей детской роли — Цедрика в пьесе «Маленький лорд Фаунтлерой». На одном из пригласительных билетов сохранилась лаконичная надпись отца Юлека: «В „Маленьком лорде“ получил два венка и три коробки конфет». Яркие декорации, свет волшебных ламп Аладдина, бряцание рыцарских доспехов, гром музыки, подобный грому сражения, слезы молоденьких красивых принцесс с синими ресницами, бородатые злодеи с зазубренными мечами, танцы девушек в воздушных нарядах — все это никак не походило на действительность и, конечно, могло происходить только в сказке.

Но вот в 1909 году наступило время юному артисту идти в Смиховскую начальную школу к опытному педагогу Ярославу Габру. К этому времени мальчик прочитал почти всю домашнюю библиотеку. Отец охотно покупал книжные новинки. Книги

манили к себе мальчика. Здесь были «Бабушка» Божены Немцовой, «Май» Карла Гинека Махи, «Под тенью липы» Сватоплука Чеха, «Старинные чешские сказания» Алоиса Ирасека, «Малостранские повести» Яна Неруды, «Букет цветов» Карла Яромира Эрбена, «Избранные стихи» Ярослава Врхлицкого и другие книги, входящие в сокровищницу чешской культуры. Постепенно в нем развилась настоящая страсть к чтению; он мало-помалу накапливал обширные, хотя, конечно, пока беспорядочные познания, особенно полюбились «Старинные чешские сказания» Алоиса Ирасека, автора многочисленных исторических романов и пьес.

Созданные на основе старинных чешских хроник и народных преданий, сказания ярко отображали события чешской и словацкой истории с древнейших времен до конца XVIII века, быт и нравы чехов, легендарных первых чешских правителей, наиболее яркие страницы крестьянских войн — гуситы под предводительством Яна Жижки и других выступлений крестьян и рудокопов против социального и национального гнета — волнения ходов, кутногорских горняков, словацких крестьян во главе с Юраем Яношиком. В этих сказаниях, где вымысел переплетается с реальными фактами, а легенды — с подлинными историческими событиями, показана слава чехов, их родословная. Земля предков — это та земля, куда пришел воевода Чех. Закроешь глаза — и видишь, как идет род за родом через дремучие леса и топкие болота, поросшие камышом и осокой, впереди разведчики и вооруженные мужи, потом воевода Чех с седою бородою, полный сил и мужества, сметлив и нетороплив. Вот дошли они до большой реки Влтавы, перешли на другой берег. Тут народ начал роптать, что не видно конца пути и неизвестно, где придется отдохнуть. Тогда он, указав на высокую гору, синевшую вдали над обширною равниною, сказал:

— Пойдемте к этой горе, у подножия ее пусть отдохнут дети и животные.

Так они оказались у горы Ржип, откуда с вершин открывалась страна вольная, широкая, с лесами и рощами и лугами и нивами. И возрадовалось сердце Чеха, который воскликнул:

— Не будете больше тосковать и роптать! Мы обрели благодатный край, где можем остаться и заложить поселения. Вот та земля, которую мы искали. О ней я говорил и ее обещал вам. Земля обетованная, зверьми и птицей богата, медом сдобренная; станете жить в довольстве, а горы будут служить вам охраною против неприятеля. Вот она перед вами, земля ваша! Только нет у нее имени. Подумайте и погадайте, как ее назвать.

— Твоим именем; пусть назовется твоим именем земля

наша! — воскликнул, словно по внушению свыше, старец с длинной белой бородой, старейший из всех старшин. За ним все владыки, старшины и народ крикнули в один голос:

— Твоим именем!

— По тебе пусть и зовется земля!

Воодушевленный воевода Чех преклонил колена и поцеловал землю, новую отчизну его племени. Затем он встал, простер руки над землею и, благословив ее, сказал:

— Приветствую тебя, земля святая, нам предназначенная. Охрани нас от опасностей; да размножится в тебе род наш, и да будет он благословен и во века…

В доме у Фучиков, как и во многих других чешских Семьях, висела на видном месте репродукция картины, на которой было изображено прощание Карла Гавличека Боровского с родными перед отъездом в ссылку в тирольский городок Бриксен (Карел Гавличек Боровский (1821–1856) — крупный чешский поэт, сатирик и публицист, активно выступавший против габсбургского абсолютизма. — *В. Ф.*). Рядом висела еще одна репродукция: Ян перед собором в Констанце. Юлек никак еще полностью не мог понять, за что сослали Гавличека в ссылку, за что сожгли на костре Гуса, но понятия «правда», «справедливость» он впитал вместе с воздухом родительского дома, его пытливый ум быстро развивался.

Праздником для Юлека было появление в доме дяди Йозефа — брата матери. Он знал несколько иностранных языков, был заядлым путешественником. Дядя еще в юности покинул родной дом, отказавшись служить в австро-венгерской армии. Он исчез и через несколько лет, уже всеми оплаканный, прислал письмо из Южной Америки. В нем он описывал свои приключения в поисках сокровищ инков. Женившись на индианке, он привез ее и двух дочерей в Прагу, оставил дочурок у своей матери и снова уехал с женой в Южную Америку.

— У нас, чехов, в крови желание поездить по свету, посмотреть на мир, на других людей, узнать чужие обычаи, — говорил Юлеку дядя. — Это наша национальная черта. Уже сотни лет назад нам дали прозвище «обезьяньего народа», ибо чехи все схватывают на лету я заимствуют все хорошее, что видят у своих соседей. Так уж случилось, что наша страна уже с X века стала перекрестком торговых путей, культурных связей с мировым рынком редкостных товаров. Путешествия в дальние страны и отважные экспедиции, заманчивые поездки стали у нас национальной традицией. Наша земля расположена в центре Европы, словно крепость, окруженная со всех сторон горами и реками. Нашу родину называли островом, скалой, сторожевой

вышкой, крепостью, сердцем Европы. Это отразилось в литературе, нашло отзвук в произведениях наших писателей. Мы стремимся завязать связи с большим миром. Мы мысленно все время путешествуем, понимаешь?

— Конечно, дядя. Ведь ты все время разъезжаешь. Знаешь что: я принесу карту, а ты мне покажешь места, где побывал.

— Хорошо, Юлек, давай пройдемся по карте — нас ждет немало приключений.

Вместе с дядей Юлек отправлялся в увлекательное странствие по карте, фантастическое путешествие к тем, кто некогда воздвиг индейские пирамиды: к ацтекам, тольтекам, сапотекам и особенно к майя, в путь к этим необыкновенным людям, в их сказочный мир, в их необычные города. Путешественники и искатели приключений, подобные его дяде, долгие месяцы прорубали себе с помощью мачете дорогу в джунглях, чтобы наконец найти в них разрушенные храмы, взбирались на высокие пирамиды, спускались в неизведанные пещеры, погружались в жертвенные колодцы.

Юлек часами не отстает от дяди, слушает его рассказы, разглядывает в альбомах необычные снимки и рисунки. Таинственные, неразгаданные письмена древних цивилизаций, удивительные, ни на что не похожие обычаи, танцы и культовые обряды племен, новые неожиданные сведения о кругосветных плаваниях первых покорителей Мирового океана. Зачарованному мальчику открывается за берегами Влтавы, где раньше для него был край света, огромный и неведомый мир.

— Жизнь — не игра, — объясняет дядя, — иногда она бывает очень трудной. И все-таки жизнь прекрасна. Всех одинаково окружает огромный мир, и каждый может стать тем, к чему у него есть склонности и способности, к чему он стремится.

ГДЕ РОДИНА МОЯ?

Уж давно война бушует,
Вся страна полна печали,
Потому что властелины
Так устроить пожелали.

Ян Неруда

Летом 1913 года семья Фучиков переехала в Пльзень, где отец получил ангажемент в Пльзенском городском театре. Наконец-то его мечта осуществилась: теперь он мог всецело посвятить себя музыке и театру! Они сняли двухкомнатную квартиру на первом этаже серого бюргерского дома № 17 по улице Гавличека, расположенной недалеко от вокзала. Хозяйкой дома была немка, вдова полковника императорской лейб-гвардии со странной фамилией Кате Коте фон Вассермюльштаб. Юлек быстро научился немецкому языку и смеялся до слез, когда хозяйка, желая блеснуть знаниями чешского языка, пыталась повторить причудливые чешские скороговорки. «Стрч прст скрз крк („близок локоток, да не укусишь“. — *В. Ф.*), — выдавливала она и чертыхалась: — Боже мой, в целом предложении нет ни одной гласной».

Новый город не показался совсем чужим. Ведь он во многом походил на Смихов. И здесь возвышались трубы огромных машиностроительных заводов знаменитой Шкодовки. Трубы завода Шкода, трубы пивоваренного завода, бумажной фабрики. Среди них терялся тонкий стометровый шпиль старинного собора, самый высокий в Центральной Европе. Кое-где можно было увидеть башенки — остаток городских средневековых укреплений.

Юлек любил смотреть на заросшие травой остатки древних земляных валов, где в разгар гуситских войн городская беднота под водительством Вацлава Коранды разгромила войска германских феодалов. В городском музее он долго рассматривал бронзовые позеленевшие пушки, тяжелые чугунные ядра, длинные пики, шлемы, латы и другие доспехи. Перед его взором табориты смело шли на врага под свист вражеских пуль, мечтая о новой, справедливой жизни без гнета феодалов.

В 1842 году в городе снесли средневековые городские стены. После этого долго спорили о том, каким должен стать город: ярмарочным или курортным. Пока спорили, одно неприметное и

невинное событие определило судьбу города — на месте трактира построили небольшой, но вполне приличный пивоваренный заводик. Заводик этот проявил чудесную жизнеспособность: он рос и рос, и город буквально утонул в пиве. Так стал Пльзень знаменитым центром пивоваров. Росли доходы держателей пивоваренных акций, росли и их амбиции. Город охватила строительная лихорадка. Сносили старые дома, дворы, сараи, строили красивые двухэтажные особняки, разбивали парки. Огромная центральная площадь с готическим собором, красавицей ратушей, площадь, от которой во все стороны лучами гигантской звезды разбегаются пятнадцать улиц, проложенных как под линейку. Такое не всюду увидишь! А контрастное, причудливое сочетание церковных шпилей с шеренгами дымогарных труб! Теперь этот город на западе Чехии называют «черный Пльзень». Многие улицы здесь закопчены еще больше, чем в шахтерском городе Кладно, они черны, как уголь. Даже солнцу трудно пробиться на лишенные зелени улицы.

В городском театре были наслышаны об актерских способностях не только Карела, но и его сына. Юлек сразу же вышел на сцену в роли маленького эльфа Паутинки из шекспировской сказки «Сон в летнюю ночь». Директор театра пан Веверка разрешил ему посещать все спектакли театра, взрослые и детские.

— Помни, мальчик, слова отца наших театров — великого Тыла, — говорил Веверка. — «Человека делает только жизнь, школа на это не способна; актера же делает только театр, театр со всеми его страданиями и радостями, с дикими раздорами за кулисами, с завистью из-за куска хлеба, с оправданным и неоправданным честолюбием, с его расточительностью и нищенством, с поэтическим, возвышающим душу, благословением и с унизительным проклятием в обычной жизни — с овациями и свистом…»

Здесь впервые перед Юлеком открылся чудесный мир творений Шекспира, Мольера, Шиллера и знаменитого чешского драматурга Йозефа Каэтана Тыла. В театре была сильна драматическая труппа. Возглавлял ее выдающийся актер, исполнитель шекспировских ролей Венделин Будил. Здесь прошло становление выдающихся чешских актеров Вацлава Выдры, Отилии Бенешковой, Эдуарда Когоута. Фучик, уже будучи театральным критиком, писал, что Пльзенский театр был в это время «кузницей актеров» для пражских театров. Пльзенские актеры доставляли мальчику истинное удовольствие. Встречаться с ними, говорить, видеть их на сцене и в жизни — разве это не могло не увлечь мечтательного и впечатлительного Юлека?

Фучику кружил голову воздух театра. В его натуре появилось нечто артистическое. Известный актер Ярослав Пруха вспоминал об игре Фучика: «Этот парень обладал обстоятельной достоверностью воплощения характера, естественностью сценического поведения, точностью взрослых». Казалось бы, все это могло легко выработать некий театральный подход к жизни, взгляд на нее через дымку сценической условности, даже снобизм и высокомерие «человека от искусства».

Но жизнь брала свое. На пороге был грозный 1914 год. В театре, когда шла пьеса Ф. Шиллера «Лагерь Валленштейна», Юлиус узнал о выстрелах в Сараеве.

В антракте за кулисы вбежал белый как полотно пан Веверка и дрожащим голосом крикнул:

— Господа, из Праги получено чрезвычайное известие. Сегодня утром стреляли в престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу Софи фон Готенберг. Оба убиты.

Началась зловещая дипломатическая возня в Берлине и Вене, Белграде и Петербурге, Париже и Лондоне. Силы, давно готовые к тому, чтобы приступить к грабительскому переделу мира, пришли в движение, каждый хотел поскорее ринуться в схватку, но никто не решался начать первым. Правительство Германии требовало «самым тщательным образом скрывать все, что может возбудить подозрение, будто мы подстрекаем австрийцев к войне». Маскировка какое-то время удавалась. Газеты писали обо всем, что угодно, только не о том, что готовится война.

Уже ничего нельзя было скрыть, потому что вдруг всех стали интересовать политика, дипломатические встречи и переговоры. Все бились теперь над мучительной загадкой: что будет дальше? К ним относился и отец Фучика. Раньше он был убежден, что политика не для простых людей, что это развлечение для господ, нечто вроде господской охоты, за которую все-таки должны расплачиваться простые люди, безразлично, будут они в роли затравленного зверя или егеря.

Воскресным утром 26 июля 1914 года одиннадцатилетний Юлек принес из города известие:

— Папа, мобилизация! Говорят, что мы этих сербов шапками закидаем и скоро Белград будет наш.

Отец вскочил.

— Я тебе дам «этих сербов»! — И пощечина обивает мальчика с ног. Отец, хлопнув дверью, выбежал из комнаты, а мать стала успокаивать сына:

— Глупенький! Да разве можно так говорить. Мобилизация —

это же война.

— Мама, что такое война?

— Война — это самая страшная болезнь. Она уносит у людей самое дорогое — жизнь, лишает их друзей, детей и родителей.

Старший Фучик от знакомого врача, настроенного антиавстрииски, получил свидетельство о непригодности к военной службе.

— Я не хочу стрелять в людей, тем более в сербов, братьев-славян, — говорил он.

Через год жандармы напали на след «дезертира». На этот раз от фронта его спас поклонник его таланта, бургомистр города, отправив Фучика рабочим на заводы «Шкода», где была броня.

Мобилизация прошла быстро, без серьезных инцидентов, состоялось несколько верноподданнических маскарадов. Политики, военные и дипломаты считали, что война будет своего рода «легкой прогулкой». Немцы уверяли, что они быстро уничтожат французскую армию, как в 1870 году, французы верили в предсказание парижской гадалки мадам Тэб, карты и кофейная гуща которой обещали, что не пройдет и полугода, как союзные войска войдут в Берлин. В обоих лагерях потоки ура-патриотического словоблудия. Кто мог тогда знать, что эту войну не переживут четыре империи — русская, германская, австро-венгерская и турецкая? Что в жертву этой бойне человечество принесет четыре с лишним года бед и страданий, десять миллионов убитых и двадцать миллионов искалеченных?

В войну оказались втянутыми и Чешские земли, входившие в состав австро-венгерской монархии. «Чешское королевство, — гласила конституция 1850 года, — является неотъемлемой частью австрийской наследственной монархии и коронной землей этой империи». Оно принадлежало к наиболее развитым в промышленном отношении областям монархии, здесь было сосредоточено около 70 процентов промышленного потенциала. Для политики чешских буржуазных партий была характерна практика политических сделок, компромиссов и уступок. Одним из парадоксов, которыми была столь богата история последних десятилетий существования Австро-Венгрии, являлось то, что политика чешских буржуазных партий, выступавших от имени угнетаемого народа, способствовала, по существу, продлению жизни Габсбургской монархии. Как только начинали сотрясаться основы монархии, чешские политики выдвигали минимальные требования и наперебой заверяли правительство в верноподданнических чувствах и лояльности. А когда монархии удавалось укрепить свои позиции и шансы порабощенных народов на завоевание свободы падали до минимума, чешские

лидеры начинали упрямо заявлять об исконных правах королевства, требовать уступок в области языка, культуры, органов местного самоуправления. Это выглядело как шарахание от чрезмерной осторожности к мании величия. Между тем наличие по соседству с Австро-Венгрией гораздо более сильной и агрессивной Германии делало существование самостоятельного чешского или чехословацкого государства без поддержки извне по меньшей мере весьма проблематичным. Учитывая это обстоятельство, Ленин накануне империалистической войны писал: «Таким образом создалось чрезвычайно своеобразное положение: со стороны венгров, а затем и чехов, тяготение как раз не к отделению от Австрии, а к сохранению целостности Австрии именно в интересах национальной независимости, которая могла бы быть совсем раздавлена более хищническими и сильными соседями».

Рассматривая Австро-Венгрию как барьер на пути германской экспансии, как наименьшее зло, чешские буржуазные лидеры с первых дней войны стали демонстрировать преданность монархии, всеми силами оправдывать захватническую войну, доказывать, что «никогда еще не проливалась кровь за такое прекрасное дело, как сейчас, на полях сражений».

Волна шовинизма и национализма, охватившая в связи с войной подавляющее большинство ведущих партий II Интернационала, захлестнула и чешскую социал-демократию. Она нашла в себе силы лишь для того, чтобы обнародовать бесцветные, бессодержательные воззвания, в которых она «снимала с себя ответственность» за случившееся, и практически полностью прекратила работу в массах. Верховный главнокомандующий австро-венгерской армии эрцгерцог Фридрих в ноябре 1914 года с удовлетворением отмечал в одном из писем: «Особенно чешская социал-демократия, которая ранее также боролась с милитаризмом, ведет себя образцово».

Пльзень провожает на фронт своих первых резервистов. Из окна дома Юлеку видно все. Помпезная мелодия австрийского гимна сменяется воинствующими речами офицеров, солдатскими песнями. Возбужденные лица новобранцев раскраснелись от вина и зноя. Почему же женщины, пришедшие сюда, плачут? Жены, матери, сестры и родственницы резервистов заполнили перрон и всю площадь у вокзала. Напрасно еще раньше им пытались внушить, что парни идут не на войну, а на прогулку, и вернутся домой целые, невредимые, с орденами и медалями на груди. В народе, в армии эта война была с самого начала крайне непопулярна. Чешские солдаты уходили на фронт с сознанием

того, что предстоит воевать за чуждые им интересы. Получают широкое распространение традиционные славянские и русофильские симпатии, усилившиеся с осени 1914 года, когда русские войска близко подошли к границам Чешских земель. На улицах собирались толпы людей, раздавались призывы: «Не стреляйте в русских, сдавайтесь в плен!» «Передвижение воинских команд по улицам города, — гласило одно из многих донесений военного командования, — воистину было позором для австрийской армии. При отправке нижние чины угрожали офицерам и создавали неописуемый беспорядок». Солдаты несли на штыках пустые бутылки из-под пива, на флажках были вышиты перефразированные слова известной народной песни: «Красный платочек по ветру вей, идем против русских, не знаем зачем…» Чешских солдат приходилось загонять в вагоны силой, возникали стихийные демонстрации.

Вскоре в Пльзень начали прибывать раненые. Первые сто пятьдесят человек прибыли специальным поездом. Их встречал мэр города, и каждый раненый получил по нескольку сигар. Светские дамы принесли корзины с булочками, а пльзенские жители пожертвовали по бутылке вина на пятерых.

Война всколыхнула и жизнь Фучиков. Ее дыхание Юлиус почувствовал сразу же, на первом уроке в Императорско-королевском государственном реальном училище в Пльзене, куда он пошел учиться в 1914 году. На торжественном богослужении в честь начала занятий Юлек стоял в первых рядах празднично одетых учеников и с любопытством смотрел по сторонам. Священник, а с ним директор и учителя неистово молились за победу австрийского оружия, за здравие и благополучие 80-летнего императора Франца-Иосифа, за то, чтобы всевышний ниспослал все кары на головы вероломных врагов. В тот же день ученикам, которым предстояло провести здесь целых семь лет, внушали, что первейший их долг — быть «благонадежными» молодыми гражданами, ревностными католиками и больше всего любить общую мать и заступницу — Австро-Венгрию.

Порядки в реальном училище были отражением времени, которое свидетельствовало о целенаправленной политике удушения всего, что могло оказаться источником свободомыслия, что могло поколебать преданность «большой родине», то есть Габсбургской династии, правящей «по воле божией и благословения святой римской церкви», что подчеркивалось самим императорским титулом — Апостольское Величество.

Гонение на все национальное, славянское приобрело уродливые формы. Из школьных библиотек было изъято 200 различных названий книг, в том числе полюбившиеся Ю. Фучику

произведения Л.Н. Толстого, А. Ирасека, С. Чеха, К. Гавличека, Боровского, Ф.А. Челаковского и др. С начала 1915 года в Чешских землях в качестве обязательного официального языка был введен немецкий язык. Преследовалась тем самым одна цель — полная германизация. В судах, официальных учреждениях чешские чиновники заменялись австрийскими и немецкими. Широкий размах приобрело преследование прогрессивного чешского учительства, как настроенного «поголовно русофильски». Для австро-венгерской военщины каждый чех и словак являлся подозрительным и был для нее если не реальным, то потенциальным «изменником».

Пришли нужда, заботы, неуверенность в завтрашнем дне. Целыми днями у закрытых дверей магазинов выстаивали женщины и дети, ожидая хлеба. Среди них были Юлек и его восьмилетняя сестренка Либа. Не раз они возвращались с пустыми руками.

Однажды Юлек стоял в очереди у магазина на Прокоповой улице.

Уже стемнело, а машины с продуктами все еще не было. Темные фигуры мужчин и женщин клались около закрытых дверей, робкие, утомленные, придавленные потерей последней надежды получить свой скромный паек. Наконец появился лавочник и безразличным голосом объявил, что мука будет выдаваться завтра.

В толпе суматоха и раздражение.

— Дайте нам хотя бы талоны, чтобы завтра мы получили первыми, — раздались крики. Так делалось всегда, когда продукты не привозили и очередь вынуждена была расходиться.

— Завтра хватит всем, — выкручивался лавочник, который не приготовил вовремя талоны и теперь не хотел из-за этого задерживаться.

Толпа зашевелилась и громко протестовала. Человека в дверях вдруг осенило. Он исчез в лавке и через минуту появился, размахивая круглой печатью.

— Подставляйте руки, — крикнул он и принялся бойко «раздавать талоны».

Очередь быстро таяла.

Маленькая замерзшая девочка, стоявшая в самом конце очереди, побежала по темной улице домой, закрывая ладонью лоб — на нем чернела круглая печать…

В очередях Юлек видел столько отчаяния, слышал от измученных, преждевременно поседевших и состарившихся женщин столько веских слов о войне и режиме, ставшем воплощением всех несчастий, связанных с войной, что все это

глубоко запечатлелось в его памяти, как вопиющая несправедливость. В душе его рождалось не только сострадание к измученным людям, но и осуждение тех, кто был тому виной. «Я рос во время войны, — вспоминал он, — события в ее конце я видел еще детскими глазами, однако с опытом двадцатипятилетнего. Поэтому я не мог не понимать, что в мире, где люди против собственной воли убивают друг друга, будучи полны жажды жизни, что-то делается не так, поэтому я начал этот мир, как принято говорить, критиковать».

Подоспела неизбежная полоса затяжного запойного чтения. «Мой отец прозрел, — вспоминал Фучик, — найдя у меня в руках Золя, и придумал для меня Ж. Верна. Я тут же позабыл о „Жерминали“, потому что, хотя Золя и был лучше „Бабушкиных сказок“, Жюль Верн был еще лучше… При самом строгом отцовском надзоре я ухитрился читать „буфалобилки“ („буфалобилки“ — приключенческие выпуски. — *В. Ф.*), привлекаемый их сверхъестественно яркими обложками. Пряча их как контрабанду под рубашкой, я спасался с ними в уборную или под парту во время уроков грамматики».

На первой странице чистой линованной тетрадки Юлек выводит неровными печатными буквами: «19 апреля 1915 года. Еженедельник „Славянин“. Цена 6 геллеров. Выходит по понедельникам».

«Славянин» — это же название журнала Карла Гавличека Боровского. Прочитав сатирические антиавстрийские «Тирольские элегии» Гавличека, Юлек пришел в такой восторг, что целиком переписал стихи в специальную тетрадку и любил читать вслух родным, торопясь и захлебываясь:

Эх, видать, империя подгнила!
Обуздать пытается людей.
А самой осилить не под силу
Пару быстроногих лошадей!

…Гражданин империи австрийской,
Я готов был к каторге, к тюрьме,
И меня нисколько не пугала
Эта скачка дикая во тьме.

Они в сердце Юлека. На титульном рисунке Юлиус изобразил на фоне зимнего бронзового неба экипаж, увозящий поэта в ссылку, и отвратительную голову австрийского жандарма.

«Славянин» стал «издаваться» в то время, когда все острее начали ощущаться последствия войны. Политический террор,

усиление национального гнета, голод и нищета трудящихся вызывали стихийное возмущение, прежде всего в среде промышленного пролетариата и солдат. Юлек «публикует» сообщения с фронтов, пишет о введении карточек на хлеб, о появлении в продаже муки из соломы. У двенадцатилетнего журналиста зоркий глаз:

«Положение во время войны.

Введение; карточек на муку и хлеб вызвало возбуждение как в Пльзене, так и в других местах. Панички, пардон, дамы, безразлично из высшего или низшего сословия, не только громко обсуждали эту новость прямо на улицах, но и жалуются.

И есть на что жаловаться?

О, еще бы! Как, например, может прожить семья из восьми человек? Взрослым — тем, что им не нужно много хлеба, а вот дети! Прибегут из школы и уже с порога кричат: „Мама, я хочу есть, дай мне, пожалуйста, хлеба!“ Что маме делать? Может быть, сказать: „Нет, не дам?“ Где там! Этого она не сделает. Отрежет кусок побольше и даст его детям, если даже самой не останется.

Женщины возмущены. И они правы».

Пришел следующий понедельник, потом еще очередной, но обещанного читателям журнала не было. Юлека, как всегда, уже обуревали другие страсти и планы. Правда, литературные опыты его не прекратились. Он заполнил две тетради рассказами и переработанными сказками. В одной из них он поместил рецензию на пьесу Горького «Варвары», поставленную Пльзенским театром. В ней он задумывается над тем, почему публика холодно приняла пьесу. Бессердечность ли это? Тупость ли ума, чувств и нервов? Непонимание ли чужой народной жизни? Прозрения мысли выливались у него с детской непосредственностью и откровенностью. «…Эта прекрасная драма не была принята так, как она этого заслуживает. Пльзенская публика не любит спектаклей, заставляющих зрителей думать».

Через год, во время каникул, Юлек сообщает своим читателям (отцу, маме и Либуше) такую новость: «Подписывайтесь, подписывайтесь! Юмористический журнал „Веселая мысль“. Кто подпишется на этот журнал, тот забудет о трудностях нынешнего времени. Издает и редактирует Ю. Фучик. Журнал богато иллюстрирован. Цена одного номера всего 12 геллеров. Выходит в „Славянской библиотеке“». Юлек подготовил десять номеров журнала. В каждом из них придуманные автором по-детски бесхитростные анекдоты из жизни школы, остроумные стихи, всевозможные шарады, ребусы, арифиографы, криптограммы. В первом номере «Веселой мысли» помещена такая сатирическая заметка: «Утка, еще утка… в пражских газетах

летает ежедневно столько уток, что ими могли бы прокормиться вся Прага и Пльзень в придачу». Во втором номере Юлиус поместил стихотворение о жизни в Пльзене во время войны.

Ах, Пльзень, ах, Пльзень,
Нет прекрасней места.
В пятницу приедешь —
Всюду ставят тесто,

Воздадим хвалу им:
Тесто — это дело!
Сразу видно: мучки
В изобилье белой.

Да и пива тоже!
Даже утром рано
Можно слышать в Пльзене,
Как горланит пьяный.

Все в порядке с кофе,
Много шоколада,
И стоять за хлебом
Три часа не надо.

Не житье, а сказка,
Только ей не верь:
До войны все было,
Ничего — теперь.

Концовка другого стихотворения «Пльзенская площадь во время войны» столь же неожиданна, как и первого. Столпотворение на площади происходит, оказывается, не из-за гастролей цирка.

Увы, друзья, совсем не цирк,
Ошиблись вы немножко.
С утра толпится здесь народ,
Чтобы купить картошку.

Через полгода Юлек вновь обращается к своим читателям: «Многоуважаемые чешские читатели! Мы предпринимаем издание нового журнала — „Чех“. Он будет посвящен вопросам искусства и науки… Журнал будет выходить под редакцией Ю.

Смиховского, по цене 20 геллеров…» Содержание нескольких номеров журнала говорит о любви мальчика к родине и родной литературе.

На титульных листах Юлек нарисовал портреты чешских писателей Йозефа Добровского и Болеслава Яблонского. Наряду с собственными заметками о чешской литературе он помещал в журнале отрывки из таких произведений, как «Поцелуй» К. Светлой, «Будь сильным» И. Сладека, трактаты Монтеня, «Три мушкетера» Дюма и др. О патриотических чувствах говорит название журнала. В него вложено все, чем сейчас полна его душа: я — чех, и все мы — чехи. У нас свои песни и свои сказки, своя история и своя земля, свои герои и будители. И у нас должна быть своя страна!

Из-под пера четырнадцатилетнего мальчика выходят в основном биографические справки о писателях, пересказы прочитанного. В них немало полудетского, наивного, незрелого, но, переписывая чужие произведения, он переиначивает их все чаще и смелее.

Что можно будет сделать в одиночку?

Давным-давно мать рассказывала ему предание о прутьях Сватоплука. Разве эта мудрая аллегория не актуальна сейчас? Княжичи, играючи, ломали отдельные прутья, а вот сколько они ни силились, не смогли сломать связку прутьев.

Вместе со своим товарищем Вашеком, его братом Йозефом и сестрой Либушей Юлек устроил в одной из комнат бабушкиной квартиры «Литературный клуб». В комнате бюст Яна Неруды, книги, альбомы, ноты с творениями Сметаны и Дворжака, комплекты журналов «Славянин», «Веселая мысль», «Чех». Юлек проникновенно читает друзьям стихи Неруды, его знаменитый фельетон «Первое мая 1890 года» о первой в Чехии первомайской демонстрации рабочих, которую поэт назвал «самым памятным Первым маем в человеческой истории».

В «клубе» много фантазируют и спорят. Сколько дерзких, романтических порывов у Юлека и его друзей!

Близился конец войны. Уже третий год грохотали орудия на полях сражений, третий год бороздились окопами и воронками плодородные нивы Галиции, гористая Сербия, солнечные берега итальянской Пиявы и французской Марны, зеленые холмы под Верденом и унылые мазонские степи, третий год умирали солдаты в пыли и грязи окопов. Давно миновали те времена, когда война означала грохот битвы, звон скрещиваемых клинков, риск единоборства, пусть бессмысленного, но дающего надежду, что победит сила или хитрость, полководческое искусство или

храбрость солдат, что вообще кто-то победит, а кто-то потерпит поражение. Эта война не знала ни победителей, ни побежденных.

Война привела а, движение миллионы трудящихся. Если в первые годы войны глухой протест против нее выражался в Чехии в стихийных голодных демонстрациях женщин, разрозненных экономических стачках, саботаже организуемых властями патриотических манифестаций, оскорблениях императора и правительства, высказывании пораженческих и прославянских настроений, дезертирстве и укрывательстве дезертиров, массовой сдаче в плен солдат на фронтах, то теперь антивоенные настроения приобрели характер массового антиавстрийского движения. Настроения широких слоев народа, чувство вражды и ненависти к монархии правдиво отразил Ярослав Гашек в своем романе о бравом солдате Швейке.

Пятнадцатого марта в австрийских газетах были опубликованы первые сообщения о революционных событиях в Петрограде: «Россия охвачена вихрем революции, — писала газета „Право лиду“. — Раскаты ее грома, возможно, заглушат и грохот пушек на фронтах».

Февральская революция вызвала замешательство в правящих кругах. Она показала, что существовавшие веками реакционные институты не вечны и что народные массы — это серьезный фактор в «большой политике». «Русская революция, — вспоминал один из современников, — воздействовала на чешскую общественность чудесным образом… В первый момент казалось поразительным, что люди громко, свободно говорят, рассуждают, и не о куске хлеба, а о революции, о свободе…»

На мотив австрийского гимна распевалась революционная песенка, которая заканчивалась словами:

Если месяц-другой
будет так же и впредь,
то король, император, отечество
нас до нитки могут раздеть.
Нищета к нам и голод придут,
вместе с ними придет революция.
Пролетарии, стройтесь в ряды!
Пусть в поток они мощный сольются.

В мае 1917 года широкий отклик вызвал манифест 222 чешских писателей, обращенный к депутатам райсрата с призывом решительно отстаивать права чешской нации. Идея создания самостоятельного государства начинает широко распространяться среди чешского населения.

Год 1917-й ни у кого не оставлял сомнений в том, что дни Австро-Венгрии, которая вслед за Россией была наиболее слабым звеном в мировой империалистической системе, сочтены. «Мир!», «Хлеб!», «Свобода!», «Национальная независимость!» — эти лозунги широкого народного движения потрясали основы империи. Министр иностранных дел Австрии Чернин с тревогой отмечал «революционную опасность, застилающую горизонт всей Европы», «глухой ропот, доносящийся из широких масс». «Тетива так натянута, что может лопнуть в любой день… — писал он. — Если монархи центральных держав не в состоянии заключить мир в ближайшие месяцы, то народы сделают это сами через их головы, и революционные волны затопят тогда все…»

Юлек стал свидетелем и участником бурных событий в городе.

Первое из них произошло 22 мая 1917 года. В то время Фучики жили в атмосфере праздничной приподнятости. Их семья увеличилась еще на одного человека: родилась маленькая Верочка.

Стоял май, чудесный месяц в Чехии, время, воспетое поэтом Махой, время, когда весна и лето словно соединяются в поцелуе и губы их окрашены первым земляничным соком. В окно комнаты, где лежала мать Юлека, струился свежий воздух, запах укропа, жасмина и роз, благоухание цветов. Вдруг раздался оглушительный взрыв. Рев гудка рвал воздух. Звук заводского гудка в неурочное время страшен.

Юлек выбежал из дому. Над крышами домов он увидел багровое зарево пожара. На улицах толпы людей, слышатся испуганные возгласы: «Болевец горит, пожар на фабрике обмундирования! Огонь подбирается к пороховому складу! Никак не могут погасить! Сейчас весь город взлетит на воздух». Людей охватил страх. Вдруг все стоявшие пригнулись и отступили: шла колонна санитарных машин, из которых доносились стоны раненых и умирающих. На простых повозках, покрытых рогожей, везли тех, кому уже не нужна была никакая помощь. Погибло около четырехсот человек, среди них женщины, подростки, которых война согнала в оружейные цеха.

— Убийцы, преступники! — кричит кто-то из толпы. Десятки голосов подхватывают:

— Долой проклятую войну!

— Долой империю Габсбургов! Да здравствует свободная республика!

Четырнадцатилетний Юлиус пишет в ученической тетради: «…да будут прокляты все, кто затеял эту войну…»

Улицы города стали местом стихийных демонстраций,

которые часто заканчивались разграблением магазинов и складов, скудных запасов продовольственных лавок. Полиция бессильна. На помощь вызваны войска. Все учебные заведения закрыты. Город на осадном положении, На стенах домов приказы: «Каждый, кто попытается нарушить общественный порядок и законы чрезвычайного положения, будет расстрелян на месте». Венгерские уланы, составляющие пльзенский гарнизон, беспощадно подавляют выступления.

23 июня 1917 года вспыхнула забастовка на Шкодовке. Остановились станки самого крупного в империи военного завода. Тридцать тысяч рабочих разных национальностей: чехов, немцев, венгров, хорватов, поляков, словенцев и итальянцев — потребовали сокращения рабочего дня, повышения зарплаты, улучшения снабжения, признания прав профсоюзов, установления рабочего контроля над распределением продовольствия. Рабочие не могли уже больше мириться с условиями труда и жизни. Завод «Шкода» был милитаризован и превращен в военно-каторжную тюрьму. Рабочие считались военнослужащими, принимали присягу и полностью подчинялись офицеру — коменданту завода. Они не имели права уходить с предприятия, получали мизерное солдатское жалованье, работали по 11–12 часов, без праздничных и воскресных дней. Здесь имелись карцеры, применялись телесные наказания, а забастовка приравнивалась к государственной измене, и виновные подлежали военному суду.

Тысячи людей, взявшись за руки, выходят из заводских ворот и безбрежной человеческой рекой затопляют город. Демонстранты окружили здание императорско-королевского комиссариата. Несется могучая песня: «Где родина моя?» Словно порыв ветра ворвался в сердце Юлека. Он пел вместе со всеми.

Шум воды в лугах зеленых,
Гул лесов на горных склонах,
Птичий свист в садах весной —
Всюду словно рай земной.

Внутреннему взору Юлека представилась картина, которую он часто видел. Перед ним как наяву вставало прекрасное лицо родины: черные брови лесов, голубые глаза озер, львиная грива желтеющих нив и тонкие жилки дорог и тропинок, где природа укрощена и приручена трудолюбивым народом, трудом поколений. «Где родина моя?» — от этих трех слов у всех на душе стало как-то светлее, сильнее билось сердце, от ярких национальных красно-сине-белых цветов рябило в глазах.

Экономические требования переплетались с политическими.

Рабочие потребовали «восстановления чешского государства», свободы печати, слова, собраний. Власти на первых порах не отваживались применять оружие против бастующих. Они ждали, когда ряды бастующих дадут трещину, зная, что реформистские лидеры прилагали все усилия к тому, чтобы восстановить «мир и порядок». Социал-демократы выкрикивали перед толпами рабочих свои пораженческие лозунги: «Не порите горячки! Ваши требования будут удовлетворены! Спокойствие и рассудительность! Никакого насилия!» Когда бдительность бастующих была ослаблена, к городу были подтянуты войска. На Большом Борском поле проходили бурные народные митинги. Наконец наступил подходящий момент для карательной операции. Уланы е шашками наголо помчались на безоружную толпу рабочих.

— Разойдись!

Взметнулись шашки, посыпались первые удары, упали первые жертвы, головы и плечи задвигались: началась свалка. Юлек очутился в самой толчее, он тщетно искал отца глазами. Все смешалось, и события уже не зависели от воли людей. Рабочих загнали в казармы, где заставили принести присягу верности императорскому дому. Один из лидеров социал-демократов, Габрман, стараясь оправдать штрейкбрехерские действия, писал: «…было признано необходимым, в интересах дела, уберечь чешский народ от напрасного кровопролития до тех пор, пока не наступит подходящий момент, решающий момент».

Могучим катализатором национально-освободительного и революционного движения в чешских землях стала победа Великой Октябрьской социалистической революции. Цензура старалась не пропускать сообщения из России, мало кто знал, кто такие большевики и чего они хотят. Было много противоречивых сведений, догадок. Однако долго скрывать «свет с Востока» было невозможно.

Лозунги большевиков о мире, о праве наций на самоопределение вплоть до отделения ураганом пронеслись по Европе, получили с самого начала горячую поддержку широких слоев чешского населения. Они соответствовали идее создания Чехословацкого государства. Многие чешские буржуазные политики, еще недавно проявлявшие максимум верноподданнического усердия, могли позволить себе без особого риска занять более решительную позицию по отношению к Вене. Они пришли к выводу, что лозунги мира и самоопределения наций можно использовать по-своему, в интересах чешской буржуазии при условии, если они будут осуществляться под ее контролем и в приемлемой для нее форме. С весны 1918 года

идея создания Чехословацкого государства начинает открыто обсуждаться в печати. С февраля по май 1918 года в Чехии прошло 86 демонстраций и манифестаций за мир, самоопределение наций. Не было ни одного района, ни одного промышленного города, где не проходили бы забастовки и голодные демонстрации. Процесс революционного брожения затронул и австро-венгерскую армию. С марта 1918 года из Россия хлынуло 600 тысяч пленных солдат, которые усиливали антивоенные настроения, поднимали мятежи и бунты в частях. Это был протест против продолжения войны, грозящей отправки на фронт, признак начавшейся агонии австрийской военной машины.

Впервые во время войны день рабочей солидарности был отмечен всеобщей забастовкой и массовой демонстрацией, проходившей под лозунгом окончания войны и самоопределения наций. Учащимся прочитали циркуляр Императорско-королевского земельного школьного совета для Королевства Чехии:

«На день 1 мая объявлены различные сходки и демонстрации. Поэтому мы предупреждаем вас о необходимости остерегаться возможных увечий и прочих неприятных последствий. Избегайте всевозможных сборищ или процессий и не слушайте выступления ораторов…»

Юлек стал инициатором забастовки учащихся своего училища. О том, что в городе готовится первомайская демонстрация, он узнал от отца и от рабочих завода, куда он каждый день носил отцу обед. Юлек внимательно прислушивался к разговорам в цехах.

Здесь втайне была изготовлена знаменитая «Большая Берта», которая стреляла по Парижу. Юлек смотрел на эти дальнобойные чудовища, которые днем и ночью за десятки километров будут посылать, изрыгать смерть и разрушения. Мальчик разглядывал все вокруг, как отец вместе с другими старательно, искусно обтачивает куски металла, а в соседних цехах из этих деталей собирают грозные орудия, орудия смерти. Мальчик думает и никак не может понять: как же это все так получается? Отец и другие рабочие ненавидят войну, страдают от нее, а сами…

Юлек со своими товарищами Вацлавом Соукупом и Ольджихом Бурианом убеждали учащихся идти не на занятия, а на площадь к рабочим-демонстрантам. Одни соглашаются сразу, другие отказываются наотрез, третьи колеблются:

— Это ведь с утра? В учебное время? Могут исключить!

Юлек убеждает:

— Если пойдем все, ничего никому не будет. Слышали вы,

что такое солидарность?

Он рассказывает о том, что не раз видел на шкодовских заводах.

— Могут наши отцы, старшие братья, значит, можем и мы.

…Первое мая. В переулках, в подворотнях домов — конные жандармы, полиция. Вместе со взрослыми на главную площадь отправляется Юлек с учащимися. Одеты во все самое лучшее, на груди красные банты. Трибуна увита гирляндами. Вокруг плещутся большие красно-сине-белые флаги, символ будущей независимой Чехословакии. Звучала песня «Где родина моя?» — ее будущий гимн.

Сколько здесь было народа! Демонстранты стекались со всех сторон. Юлек не мог не удивиться тому, как изменились рабочие. Они уже не топтались перед воротами завода беспомощной толпой. Какое-то веселое напряжение заметно было в людях, оно сказывалось в походке, во взглядах, во вспышках смеха. Рабочих, которые обычно в это время простаивали у станков, охватило хмельное весеннее настроение, они словно отведали вина весны и свободы. И когда раздалась мелодия, Юлек с восторгом подхватил ее:

Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

…Назавтра утром в класс пришел сам директор Барвиеш.

— Признавайтесь по-хорошему, господа, кто участвовал в демонстрации!

Никто не думает отпираться. Да, были, да, участвовали.

— Кто зачинщики в классе?

Молчание. Юлек смотрит прямо в глаза Барвиешу.

— Это праздник трудящихся, господин директор. Наши родители простые люди. Значит, это и наш праздник.

— Здесь вам не митинг, ученик Фучик. Кто из чужих, из взрослых, подбивал, настраивал вас? Отвечайте!

— Мы уже сами взрослые.

— Ваше дело пока учиться, получать знания. Судя по вашим ответам, Фучик, вы добиваетесь сомнительной чести быть исключенным первым? Что ж, если не назовете организаторов…

Юлек бледнеет, насупившись, молчит, угроза серьезная. Потом снова смотрит в глаза Барвиешу:

— Господин директор, чему вы учите нас сейчас? Барвиеш, подхватив свою саблю, хлопает дверью.

21 июня 1918 года к вечеру на Котеровской улице в Пльзене, по которой всегда бегало множество голодных ребятишек, появился крытый военный фургон. Солдаты начали грузить буханки черного хлеба. Какое-то мгновение они в упор смотрели друг на друга — вымуштрованные плечистые солдаты и голодные, босоногие, с озябшими лицами мальчишки. Бойкий мальчишка, быстро вскарабкался на фургон, схватил буханку и спрыгнул, собираясь бежать. Несколько детских рук протянулось к хлебу.

— Назад, назад! — рявкнул солдат.

И вдруг — команда офицера: «Огонь!» И сразу прозвучал залп…

Раздался последний выстрел. На улице остались лежать детские тела. Из холодеющих рук мальчика упала буханка черного хлеба. Зверское убийство всколыхнуло город. Всю ночь Пльзень, не спал. На место злодеяния приходили толпы людей, они бросали на окровавленную мостовую цветы и проклинали убийц, войну и ненавистный режим. Юлек тоже побежал на Котеровскую улицу. То, что он увидел, потрясло его и запомнилось на всю жизнь. Он сочинил гневную эпиграмму:

Как надоела эта чернь,
желает есть — хоть плачь!
Но недовольство усмирит
тюрьма или палач.

О да, вы правы, господа.
И нам наскучил плач.
Вот посмеемся мы,
когда повесит вас палач.

В осенние дни 1918 года Юлека захлестнул водоворот политических событий. Он уже не мог сидеть дома над учебниками, когда на улицах бурлили демонстрации, раздавались лозунги: «Долой прогнившую Габсбургскую империю!», «Конец трехсотлетнему порабощению чешского народа!», «Долой войну!», «Да здравствует социалистическая республика!».

14 октября Чешские земли охватила всеобщая забастовка. «Горючим» материалом и искрой явилось решение австрийских властей о массовом вывозе всех запасов продовольствия, демонтаже оборудования государственных предприятий. В печать просочилось высказывание Чернина: «Чехию мы потеряем, зато нацию отдадим как труп». Поднявшаяся народная волна сорвала

реквизиционные планы и нанесла сильный удар по разваливающейся монархии. 28 октября, когда стало известно о капитуляции Австро-Венгрии, жители Праги вышли на улицы. С карты Европы наконец исчезла Австро-Венгрия, «лоскутная, составленная из унаследованных и наворованных клочков… — как ее характеризовал Карл Маркс, — это организованная путаница из десятка языков и наций, это бессистемное нагромождение самых противоречивых обычаев и законов». Пробил час, и многолетний гнев народа, нараставший в течение столетий, взметнулся и горячей лавой разлился по улицам. Возбужденные массы горожан срывали ненавистные флаги, гербы, вывески с двуглавым орлом австрийских Габсбургов и вывешивали трехцветные национальные флаги. В этот же день Национальный комитет издал так называемый Первый закон Чехословацкого государства. Чешская буржуазия пришла к власти мирным путем, в обстановке, которая позднее была выражена в словах популярной народной песенки: «Весело громили мы Австрию прогнилую». Вечерние газеты сообщали о трогательной сцене, разыгравшейся в центре Праги у памятника святому Вацлаву. Социалисты Соукуп и Стршибрный со слезами на глазах целовались с помещиком Швеглой и финансистом Рашиным, демонстрируя пример солидарности всех слоев нации. В печати распространились десять заповедей гражданина Чехословакии. Они начинались, как правило, словами «…слушайтесь, уважайте собственность, проявляйте терпение, доверяйте…». Только одна заповедь звучала чуть ли не революционным призывом и заканчивалась столь же неожиданно: «Возьмите в свои руки власть, возьмите в свои руки власть прежде всего над самим собой, свободный человек не может быть рабом толпы или страстей».

Как ни примитивна была подобного рода демагогия, она играла свою роль. Радость, вызванная окончанием войны, освобождением от австрийского ига, разительность бросающихся в глаза резких перемен, свершившихся буквально за несколько часов, потрясали, опьяняли, наполняли гордостью сердца, неожиданно открывали полное сокровенного значения слово «республика». То была заря, первые часы новой самостоятельной, независимой республики, время беспредельных надежд, время иллюзий. Юлиусу не приходилось раздумывать над тем, как принимать свершившееся. Пылкий патриот не мог не рукоплескать этому событию. Он так вспоминал об этом историческом дне 28 октября 1918 года:

«Вечер. Собрание… В дискуссии о политической ситуации цитируют стихи Виктора Дыка, Сватоплука Чеха и

Коммунистический манифест. Все взволнованы. Летят часы пылкого воодушевления. Расходиться не хочется. В последних сообщениях из Праги говорится о больших событиях. И все мы ждем чего-то, что для нас, еще совсем юных учеников, не имеет определенных границ и размеров, но имеет совершенно определенную форму — мир и свобода.

Стены маленькой комнаты, заполненной кучкой восторженных юношей, неожиданно раздвигаются. Дверь словно распахивается в неведомый и большой мир. На пороге пльзенский адвокат, член Национального комитета. Он размахивает телеграммой, и так как не может пробиться к столу, то прямо с порога читает сообщение о провозглашении государственной самостоятельности. Его то и дело перебивают нетерпеливые возгласы.

Скоро полночь. Я стучу в окна домов, где живут мои товарищи по школе. Они неохотно поднимаются. Я выпаливаю новость. Но они засыпают, едва дослушав половину моего сообщения. Их поведение возмущает меня. Спать в такую минуту!

Напротив живет рабочий, социал-демократ. Бужу его. Он быстро одевается. Хочет знать подробности. Не переставая расспрашивает: „Свобода, да? Самостоятельность? А кто, кто объявил? Кто во главе?“

Мне кажется, что это неважно. Меня обижает его недоверие к людям, совершившим такой поступок. Он запальчиво объясняет мне, что нет, это важно, что именно по этому можно судить, для кого предназначается свобода. Я не понимаю. Смешно! Что его беспокоит! Конечно, для нас, для всех, для кого же еще?

Он удивленно смотрит на меня и пожимает плечами…

На следующий день мы пришли вдвоем в Национальный комитет в качестве добровольцев. Я торжествовал. Я был доволен, видя своего соседа Пика на службе у новых пльзенских властей. Восторженно, как и я, он взял старую винтовку и пять патронов, которые к ней не подходили. Нас послали охранять какой-то склад на пригородном вокзале. Мы провели там четыре ночи и три дня.

О нас забыли».

В своих иллюзиях и мечтаниях Юлек зашел тогда слишком далеко. Ему казалось, что свободу новой республики надо защищать. Грудью! С оружием в руках! Против кого? Неизвестно. Может быть, это нечто вроде отрядов матросов и красногвардейцев в Советской России? Поэтому он украсил себя красно-белой кокардой и несколько дней стоял на холодном осеннем ветру, охраняя непонятно какой склад. Для юноши, как и для многих, непререкаемым авторитетом был президент Масарик.

С первых часов и дней существования республики вся печать, буржуазные и социал-демократические лидеры наперебой его восхваляли. Ему вместе с президентом США Вильсоном приписывали все заслуги в завоевании национального освобождения. Культ Масарика перед его возвращением из США на родину в декабре 1918 года принял огромные размеры. Орган социал-демократов «Право лиду» («Право народа») писал о приезде «мессии чешской нации». Буржуазные газеты приравнивали Масарика к античным героям: «Как когда-то, в античные времена, к грекам и римлянам возвращались величайшие корифеи оружия, великие завоеватели и победители, так сегодня к вольной, освобожденной чехословацкой нации возвращается ее бессмертный созидатель и творец». С утра 21 декабря все предприятия Праги не работали. Десятки тысяч людей собрались на вокзале, где они под гром орудийного салюта увидели шестидесятивосьмилетнего человека, с которым они связывали столько надежд. Сын сельского кузнеца, профессор философии Пражского университета был известен подчеркнутой простотой в обращении и скромностью в жизненных привычках, а также своими книгами, статьями. Он раньше, чем большинство других чешских патриотов, увидел новые возможности решения чешского вопроса в связи с мировой войной и круто повернул от проавстрийской ориентации к политике расчленения Австро-Венгрии, эмигрировал в конце 1914 года в Париж, где вокруг него стали группироваться политики, разделявшие его новую ориентацию, — Э. Бенеш, Й. Дюрих, М. Штефаник. Он создал и возглавил Чешский заграничный комитет, реорганизованный позднее в Чешский национальный совет в Париже. Ему удалось убедить правящие круги Антанты в том, что он и его программа отвечают их интересам в борьбе против Германии, а позднее и против Советской России и революционного движения в Европе.

Обладая широким политическим кругозором, он был первым чешским буржуазным деятелем, который почувствовал огромную созидательную силу рабочего движения и попытался повлиять на него. Выступая с претензией на «критическую переоценку» учения Маркса, он пытался «доказать» несостоятельность исторического материализма, ошибочность теории классовой борьбы, бессмысленность и вредность революции. Революционным идеям Масарик умел ловко противопоставлять туманные рассуждения о социальных реформах, «чешском социализме», «чешском гуманизме», проповедь идей нравственного самоусовершенствования в духе христианского социализма. Крамарж писал Бенешу в Париж: «…Нам здесь безусловно нужен Масарик. У него неиспользованный, нерастраченный

авторитет…»

В школьном сочинении Юлиус посвятил Масарику как «отцу нации» слова искреннего восхищения и благодарности, наивно полагая, что самостоятельное Чехословацкое государство автоматически станет народным, демократическим и даже социалистическим.

НЕ ОТРЕКУСЬ

Вперед! Мы делом каждый час

отметим,
Ведь новый день — для нового

труда,
Хоть слава предков — украшенье

детям,
Но славой сам укрась свои года!

Ян Неруда

Школьные будни Юлиуса, ученика пятого класса реального училища, шли своим чередом. В его руки попал новый сатирический еженедельник правых либералов «Небойса» («Неустрашимый»). Журнал появился в продаже на третий день после провозглашения республики.

Издателем и ответственным редактором был Йозеф Чапек, в редколлегию входили Карел Чапек, поэты Виктор Дык, Йозеф Сватоплук Махар. Юлиус обратил внимание на программное заявление журнала:

«„Небойса“ появился на свет в славные дни народа нашего — в дни радости и ликования. Он хотел вместе с народом бороться за свободу — и вот видит народ свободным. Великое перерождение произошло в нашей жизни, перерождение настолько глубокое, что приходится очень далеко заглядывать в нашу историю, чтобы встретить в ней времена столь же великие и прекрасные. Мы радуемся со всеми радующимися, что оковы наши пали. Но бой не закончен и труд не завершен. Из нации и людей, только что сбросивших с себя оковы, предстоит еще создать действительно свободный народ и свободных людей. „Небойса“ не опоздал: всеми силами будет он трудиться, добиваясь этой цели. В нашей новой, лучшей жизни — если только можно назвать жизнью то, что предшествовало прекрасным сегодняшним дням, — всегда будет нужен „Небойса“,

будут нужны Неустрашимые. Мы приветствуем будущее чехов, но прежде необходимо разделаться с недобрым наследием векового порабощения, векового уродования чешского духа и чешского характера».

Программное заявление отвечало убеждениям Юлека. На его страницах Карел Чапек искрился остроумием своих политических ребусов, анаграмм и каламбуров. Юлек, преодолевая робость перед именитыми авторами, посылает в редакцию свои сатирические стихи, коротенькие эпиграммы под псевдонимом «Вашек» — учащимся было запрещено сотрудничать в каком-либо печатном органе.

Счастье пришло, как и всегда оно приходит, в то время, когда его ожидают менее всего. Однажды отец принес воскресный номер журнала.

— Поздравляю! Есть!

— Ну? Неужели? — выкрикнул Юлек, развернул журнал и увидел там свои стихи. Успех и признание окрылили начинающего автора и подстегнули его. С 3 июля 1919 года до 1 октября 1920 года в журнале опубликовано сорок пять стихотворений Фучика. Они разные и по качеству и по содержанию. От первых мягко юмористических стихов о жизни Пльзенского городского театра, иронических замечаний по поводу некоторых черт национального характера Юлиус переходит постепенно к остросатирической критике отдельных явлений политической жизни республики. Он высмеивает корыстолюбие и словоблудие политических деятелей и партий, инфляцию слов. Юноша замечает, что псевдопатриотическая политика обесценила слова, превратила их в пустую, ничего не значащую шелуху. В распространении националистических и буржуазно-демократических иллюзий немалую роль играли руководители чехословацкой социал-демократии. Они утверждали, что их участие в правительстве является достаточной гарантией для осуществления чаяния народа. «Мы являемся хозяевами своей судьбы… и нашим господином и хозяином является сам народ, без различия классов». Утверждалось, что чешский народ — это народ «маленьких людей», у которого классовые противоречия не играют никакой роли. В одном из стихотворений Юлиус с иронией и сарказмом пишет о «классовой гармонии»:

«Наш народ как голубь!» —
Кричат газеты и публика.
Всенародным голубятником
Стала наша республика.

Однажды Юлека пригласили в Прагу на заседание редколлегии. В столице Юла позвонил в квартиру Махара, жившего в центре города на Староместской площади. На робкий звук звонка вышел хозяин квартиры. Увидев юношу в необычном одеянии — перешитой солдатской шинели, — он сунул руку в карман и с брезгливой гримасой протянул подаяние.

Юлиус изрядно был смущен, но объяснил ему, что он пришел на заседание редколлегии.

Тогда Махар ласково взял его под руку и, подведя к креслу, усадил и сам сел на диван.

— Извините, юноша, что я вас так бесцеремонно. Но ваши лета и вид, прямо скажем, не жениховский.

— Да, вы были на волосок от истины.

— Значит, после школьной парты стихами разминаетесь? — смеялся Махар. — Похвально, похвально. Для начала совсем неплохо. В них есть и поэзия и философия, но надо еще многому учиться.

В это время Фучик много читает, однокашники называют его «неистовым чехистом». Он завел тетрадь, в которую записывал о прочитанных книгах; вначале краткие выписки и заметки, касающиеся содержания, позднее порой наивные, но большей частью зрелые, словно предназначенные для печати, своеобразные рецензии и критические статьи. Все находит отклик в его душе. В одной из тетрадей были отмечены следующие слова из книги Р. Роллана «Жан-Кристоф»: «Он понял, что жизнь — это битва без отдыха и пощады и тот, кто хочет стать человеком, достойным имени человека, должен неустанна бороться против целого сонма невидимых врагов: гибельных сил природы, смутных желаний, темных помыслов, которые исподтишка толкают тебя на путь унижения, грозят небытием. Он… понял, что счастье и любовь — минутный обман, и все для того, чтобы обезоружить сердце и заставить сдаться. И маленький, пятнадцатилетний, пуританин услышал голос бога своего: „Иди, иди, не зная отдыха…“ (подчеркнул Юлиус). „Вы, кто обречен на смерть, идите к смерти! Страдайте, обреченные на страдание! Жизнь дана Вам не на радость. Жизнь дана, чтобы исполнить закон. Мой закон… Страдай! Умри! Но будь тем, кем ты должен быть: человеком!“»

До шестого класса родную литературу в училище преподавал Эмиль Феликс, родственник профессора Карлова университета Ф.К. Шальды, удивительный человек, нежно, по-отечески любивший и своих учеников, и свое дело: старочешскую

литературу и старочешский язык. — Помните всегда, — говорил он, — что здесь, в Пльзени, была основана первая наша типография, а в пятнадцатом веке отпечатана первая чешская книга.

Его заинтересовали сочинения Фучика, и он оставил их у себя. В сочинении на тему «Жизнь — шахматы» Юлек отказался сравнивать человеческую жизнь с шахматной игрой. Человек — не пешка, не деревянная бездушная фигурка в чужих руках, совсем другие силы определяют его поведение и поступки. Такое сравнение было бы упрощенным и легкомысленным. Белые и черные сражаются так же, как рабы и рабовладельцы, патриции и плебеи. Упомянув о классовой борьбе, Юлек замечает: «… впрочем, это уже выходит за рамки школы». В сочинении на свободную тему он обращается к магистру Яну Гусу, человеку, который слепой вере в догму противопоставил разум, бесправию — справедливость. Но еще больше, чем это, ослепляла Юлека твердость Гуса в защите своих взглядов и убеждений. Он пишет: «Не отрекусь!» В этом одном-единственном слове, восклицании, прозвучавшем на церковном соборе в Костнице, отразилась вся душа огненного проповедника, апостола реформации и прежде всего непреклонного, всегда отстаивающего свои права чеха. Так сильно в его время никто не сопротивлялся всемогущему авторитету церкви. Против жестокого сборища кардиналов стоял ослабевший от длительного заключения и от болезни человек, отличающийся сильной волей, которую он приобрел на тернистом пути своей жизни и которая сопровождала все его дела и творения…

А если бы мне захотелось говорить о его собственных литературных произведениях, то, честное слово, я не знаю, что бы я мог добавить, не повторяя бесчисленных анализов и критических суждений. Опять же скажу, что кредо его сочинений можно выразить одним словом, и это слово он сам произнес на соборе в Костнице: «Не отрекусь!»

Убеждения Юлека со временем будут совершенствоваться и углубляться, но в своей основе они останутся неизменными. Уже в юности Фучик показал, что умеет следовать своим нравственным принципам, отстаивать их смело и непреклонно. Однажды учитель богословия священник Опатрны рассказывал на уроке библейскую притчу о том, как «наслал бог на Иону кита» и как «томился Иона во чреве большой рыбы три дня и три ночи, моля бога помиловать его». Кто-то, уткнувшись в учебник, занимается своими делами, кто-то тихонько подремывает под монотонный голос учителя — тоненький, гнусавый, дребезжащий дискант. Вдруг где-то сзади, у окна, послышался шумок. Головы

учеников повернулись к парте, за которой сидел черноволосый мальчик с озорными глазами. Юлек поднял руку и нетерпеливо махал ею над головой.

Недовольный богослов прервал урок:

— Что вы хотите, Фучик?

— Господин учитель, ведь это неправда, так не могло быть!

— О чем вы говорите? — спросил весьма удивленный богослов.

— Мы учили по естествознанию, что кит может проглотить предмет не больше яблока, как же он мог проглотить Иону?

Опатрны медленно выпрямился за кафедрой и некоторое время стоял молча, словно лишился дыхания. В классе воцарилась гробовая тишина, все ждут, что произойдет.

— Так вы говорите, по естествознанию? — ироническим тоном произнес наконец богослов. — Это интересно… — Голос его стал строгим и резким. — Но мы сейчас не на уроке естествознания, а на уроке закона божьего. Я самым решительным образом запрещаю задавать вопросы подобного рода. Мы не намерены отвлекаться от занятий из-за выходок, продиктованных дерзостью и детским недомыслием. На наших уроках мы познаем высшую правду, которую милостивый бог открывает лишь избранным, достойным его. Предупреждаю: берегитесь тех, кто поражен слепотой и хотел бы ввергнуть в темноту и остальных…

— А все-таки это неправда, господин учитель. Невозможно верить в то, что основано на сказочках.

— Молчать! Богохульство!

На следующий день учительский совет вынес специальное решение: за злостную попытку сорвать урок — карцер.

После этого Юлек написал заявление об отречении от церкви. Еще учеником младших классов он таил в себе свой мир, собственный мир представлений и убеждений. До времени он проявлялся лишь в невинных причудах. В конце концов многим людям свойственно такое тихое противление общепринятому или мелкие взрывы недовольства. Но поступок Юлека давал понять, что его протест осмыслен и продуман. Его вера в бога поколебалась в ту минуту, когда он начал сравнивать церковные заповеди с жизнью. «Ни убий и ни укради». Воровать нельзя, это верно, но кто назовет вором голодного ребенка, взявшего с солдатского фургона кусок хлеба и убитого за это? Почему священники в костелах благословляли кровавую бойню, а у каждой из воюющих сторон бог на стороне «своих батальонов»? «Все равны перед богом!» Почему же тогда отец и тысячи других шкодовских рабочих вынуждены бастовать, чтобы вырвать

ничтожную прибавку у тех, кто покупает в костелах самые дорогие места, чтобы разговаривать с богом? «Церковь милостива и терпима!» Почему же тогда заживо был сожжен Ян Гус, а восстание гуситов потоплено в крови? Наспех сделав уроки, Юлек читает до полуночи так называемые кощунственные книги французских вольнодумцев-энциклопедистов, раздумывает над тем, как великие дерзкие умы со всей беспощадностью и сарказмом бичуют догматы церкви. Так постепенно в нем зрело убеждение, что религия находится в противоречии с жизненной правдой. Более того, она служит сохранению неправды. Спор с учителем богословия был лишь толчком к разрыву с церковью.

— С таким двуличием нельзя нам вступать в жизнь, — сказал он своему другу Вацлаву Соукупу, — ни в коем случае нельзя!

Через две недели заявления о разрыве с церковью подаст больше половины класса.

В конце 1919 года в реальное училище пришел новый учитель француз Эжен Эсте. Дирекция объявила шестиклассникам, что некоторых из них переводят во Второе реальное училище в обмен на несколько шестиклассников оттуда. Шестиклассники обоих училищ с помощью своих родителей энергично воспротивились попытке разбить и перемешать классы. Как член школьного самоуправления, созданного в октябрьские дни, Юлек вместе с депутацией родителей ездил в Прагу к министру школ и просвещения «хлопотать» по этому вопросу. Когда и это не помогло, он организовал в школе забастовку: войдя в класс, Эсте увидел там только пустые парты. Никто из учащихся не пришел на урок. Началось длинное расследование. Из Праги приехал инспектор и вызвал к себе «зачинщика».

— Скажите, Фучик, зачем вы устроили эту, как вы выражаетесь, забастовку?

— Я был не согласен с несправедливым поступком по отношению к нашим ученикам.

— Не понимаю… Ведь речь шла не о вас, да и вообще вас это вовсе не касалось, — удивленно сказал инспектор.

— Когда с кем-нибудь поступают несправедливо, это всегда меня касается, — ответил Юлек.

— Не дерзите, ученик, и знайте, что к вашему поступку я отнесусь со всей строгостью. Это бунт, да, да, бунт, за который надо наказать в назидание остальным. Наша молодая республика не нуждается в бунтарях, ей нужны дисциплинированные и послушные люди! — возмущенно сказал инспектор.

Все кончилось тем, что Фучик получил десять часов карцера «за то, что без разрешения пропустил семь уроков, своевольно отправившись в Прагу с депутацией… за организацию протеста

учащихся, за то, как он вел себя во всей этой истории, особенно на педсовете, за неуважительное отношение к директору и отказ повиноваться…».

В шестом классе реального училища чешскую литературу стал преподавать учитель Дибелка. Он не понимал ни молодежь, ни литературы, объяснял свой предмет медленно и скучно. Всякого рода самостоятельные суждения школьников, отступления от правил приводили его в бешенство. Слушая ответы Фучика, он почти всегда кричал:

— Мне не нужна ваша отсебятина, меня не интересует, что вы думаете. Вы знаете, как я трактую произведения, извольте исходить из этого!

— Но, господин профессор, настоящие книги для того и пишутся, чтобы будить у людей свои мысли и чувства, свое отношение к жизни.

— Когда закончите школу, тогда и будете умничать, а сейчас попрошу прекратить бесполезные споры.

— Иметь свое мнение о произведении — право каждого, — упрямо рубит Юлиус воздух ладонью. — Я ставлю себя на место героя и стараюсь представить, как бы думал, рассуждал и действовал в его положении.

— Не хотел бы пугать, — цедит Дибелка, но ваша самоуверенность…

Ждать удобного случая долго не приходится. Юлек отвечает домашний урок. «Май» — поэма романтика Карела Гинека Махи, одно из его любимых произведений. Вдруг учитель прерывает его, стучит книгой по столу, почему-то краснеет. Что такое? Что случилось? Ах вот что, анализ «Мая» должен был кончаться фразой, которая «прославила» этого чудака-учителя: «Узник бросает последний взгляд вокруг, палач заносит меч, и посиневшая голова падает на землю». Юлека это выводило из себя, он отказывался повторять, как попугай, мертвые, вымученно книжные слова.

— Почему вы молчите, ученик? Отказываетесь продолжать?

— Такими словами — отказываюсь.

— Ну что же, садитесь. Двойка.

Безнадежно испорчена отметка за всю четверть, первая, но не последняя подножка. В записной книжке Фучика появляются слова о том, что школа «ревностно оберегает свою монополию на воспитание учащихся», а при этом «своим влиянием вдалбливает им неправильные взгляды». В книгах он ищет ответы на волнующие его вопросы. Юлеку мила народность, идейный и эмоциональный взлет просветителей. Юноша делает обширные выписки, в своих дневниках часто «разговаривает» с Нерудой и

другими чешскими классиками, размышляет о том, что нужно сделать…

Он посетил могилу Йозефа К. Тыла в Пльзене и задумывается над его судьбой:

«Как же можно было допустить, чтобы этот великий человек умер в нищете, затравленный, больной и одинокий? Странная она, наша чешская земля! Рожает и принимает в лоно свое Тылов, Мах, Немцовых, Неруд, Гавличеков, и нет у нее для них ничего, кроме терновых венцов! Кто знает, как страдало и кровоточило их сердце при виде обездоленных и бесправных людей. Они умирали нередко молодыми, словно им не хватало воздуха, чтобы дышать, словно они падали под бременем собственного таланта, величия и правдолюбия, которое современники не только не помогали им нести, но, напротив, путались у них под ногами и даже подставляли подножки».

Его захватывают стихи Сватоплука Чеха, проникнутые темой революции и призывом к переустройству мира. Книга «Песня раба», полная боли, протеста и призыва к борьбе, давно уже стала настольной книгой чешских рабочих: только в 1895 году вышло 23 издания этой книги.

Будь славен, труд, в поту творящий благо!
Вей молотком, направь на пашни плуг,
Вяжи снопы, бери перо, бумагу,
Ваяй, твори не покладая рук!
Ты победишь трусливых трутней касту,
И меч и кнут,
В тебе равны — кирка, перо и заступ.
Будь славен, труд!

Первая фраза стихотворения «Честь труду» стала партийным приветствием чехословацких коммунистов — «чест праци». Поэт, по словам Фучика, «слышал подземный голос пролетарской революции и видел в рабочем единственного героя будущего». Размышляя над его стихотворением «Горько счастье человека», он приходит к любопытному выводу: «Счастье человека я вижу лишь в абсолютном совершенстве. Таким образом я прихожу к точке зрения Л. Толстого: „В труде, в одном лишь труде заключается подлинное счастье!“»

Глубокий интерес вызвала у Фучика русская литература. Он записывает оригинальные суждения о произведениях Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя. Прочитав чешский перевод поэмы Блока «Двенадцать», Юлиус пишет: «Блок революционный поэт. Он не был воспитан революцией. Чтобы

написать сегодня „Двенадцать“, нужно было революционным поэтом родиться».

В течение четырех лет с 1919 года Юлиус прочитал книги двухсот двадцати писателей, поэтов, литературных критиков — чешских, русских, французских, английских, немецких, скандинавских, американских, итальянских, познакомился почти со всеми крупнейшими чешскими и зарубежными писателями. Юношеские литературные записи Фучика занимают более пятисот убористо написанных страниц.

В них встречается полемика с отзывами в прессе. Если книга на иностранном языке, то дается оценка перевода. Будущий критик исподволь накапливал и пробовал силы. Пока что на страницах никому не ведомых школьных тетрадей. У тетрадей этих — своя судьба. Когда после выпускных экзаменов Фучик уехал поступать в университет в Прагу, среди самых необходимых вещей он взял с собою и эти тетради. Они не стали реликвией юности; Фучик и позднее с интересом заглядывал в них, сравнивал свои зрелые взгляды на отдельных писателей и их произведения с юношескими, проверял, насколько они изменились или насколько изменился характер творчества тех или иных художников слова. История этих тетрадей тесно связана с «Репортажем с петлей на шее». Однажды, когда фашисты вели Фучика на допрос во дворец Печека в Праге, к нему подошел заключенный Станислав Шпрингл (его вместе с другими заключенными привлекли в качестве дармовой рабочей силы к ликвидации библиотеки Фучика) и спросил, что бы ему хотелось сохранить из своего имущества. Фучик назвал ему несколько книг из своей библиотеки и эти пять тетрадей своих записок как самое дорогое сокровище. «Крепкое пожатие руки, искорки, промелькнувшие в глазах, выдали радость Юлиуса, когда мне удалось сказать ему об этом», — вспоминал позднее С. Шпрингл. Так записки Фучика были сохранены и увидели свет в послевоенные годы.

Вот запись о «Страданиях юного Вертера», затем выписки из романов о любви. В семнадцать лет Юлек считал себя влюбленным в веселую и красивую девушку. Майка на два года моложе его. Одной из первых пльзенских девочек она поступила учиться в реальное училище, и у нее было много поклонников среди старшеклассников. Но Юлек не пользовался у нее успехом. Так уж случилось, что она отдала предпочтение его товарищу Вашеку. Мучительное, горькое счастье любви без взаимности. Майка пленила его, хоть он и не желал в том сознаваться.

У Юлека появляются тетради с сонетами. В них ои изливает свои сердечные переживания и тут же подшучивает над ними,

ищет спасения в иронии. В сонетах Юлека нет ни одной страдальческой нотки, ни следа сентиментальности. Они проникнуты мягким юмором и чистым юношеским чувством:

Ах, любил всем сердцем я,
Но прощай, любовь моя,
Я вздыхал, а он смеялся,
Он ласкал, а я терзался.

Ах, любил всем сердцем я,
По прощай, любовь моя.
Я вздыхал, просил, скорбел,
Он же свысока смотрел.
Ах, любил всем сердцем я,
Но другой — любовь твоя.

После окончания училища в 1921 году Юлек, окунувшись в новые впечатления и заботы, постепенно забыл Майку. Впоследствии, когда история первой любви отошла в прошлое, Юлек с улыбкой читал стихи:

Дарит нас дьявол пылом,
Нам ад послал любовь.
Но если б можно было,
Я полюбил бы вновь.

Предпоследние школьные каникулы Юлек провел со своими друзьями — братьями Соукуп и Артуром Штикой в пешем походе через всю Чехию с запада на восток. В природе, казалось ему, все живет только для себя. Но откуда же берется та общая, бесконечная гармония, в которой, напротив, все, что существует, существует для другого, в другом только достигает своего примирения или разрешения — и все жизни сливаются в одну мировую жизнь?

Перед одним из своих путешествий — это было после выпускных экзаменов — Фучик пишет: «За окном дует ветер и идет густой дождь. Поезд мчится по блестящим рельсам. Наконец останавливается. Прощай, мы остаемся! Я открываю самую очаровательную, самую увлекательную, самую прекрасную по содержанию и по форме книгу… Я открываю самую мудрую и поучительную книгу. Я открываю самую вдохновенную книгу. Я открываю большую научную энциклопедию. Я — счастливый человек, ибо иду туда, откуда вышел, иду, чтобы разгадать тайну.

Поезд летит, летит, летит… Я иду по узкой тропинке, вьющейся среди Палавских холмов, по дороге, обсаженной березками, спускаюсь к Индржихову Градцу, залитому вечерним солнцем… Я иду по роскошной долине, по пыльному шоссе, иду сквозь осеннюю сказку, иду и иду. Я не привязан к дому, я по-спартански живу тем, что несу с собой, или тем, что нахожу. У меня нет ничего, кроме ног и головы, — я бродяга, классический образец бродяги… Ненадолго, но бродяга. Вернусь я самым богатым человеком… Я иду открывать мир. Прощайте, страстные, волновавшие меня стихи. Я иду к источнику поэзии. Прощайте, прощайте! Впрочем, нет — всего лишь до свидания!»

Еще раньше, в третьем-четвертом классах, он со своими друзьями с парой крон в кармане обошел пешком многие уголки Чехии и Моравии, восхищаясь Шумавой, Крконошами, Бескидами. Эти путешествия пробудили в нем чувство родины, тот изначальный и безотчетный восторг, охватывающий душу непонятно почему, от одной прелести родной земли.

Как хороша и изумительна по красоте твоя земля! Сколько замков и дворцов, творений знаменитых архитекторов и тысяч никому не известных мастеров! Тихие деревушки, где рождались и мужали мыслители и вожаки грозных крестьянских бунтов, самобытные поэты, композиторы и художники, великие астрономы и педагоги. Какое счастье для человека, если его самые первые, а значит, и самые яркие впечатления, эти богатые запасы на всю грядущую жизнь украшены настоящей близостью к земле, к простому, меткому и жизненосному родному языку. В записной книжке Фучика появляются слова гордости и почти физической любви к своей стране: «…разве эта земля — наша простая земля? Не видишь ты в ней нечто, что зовет и кричит: „Вечно твоей хочу быть, будь же и ты навечно со мной!“ Разве ты не видишь в ней себя?..»

Большое впечатление на Юлека произвело посещение замка Троски (буквально «развалины» — руины замка. — *В. Ф.*), в котором умер герой гуситских войн Ян Жижка. Он всегда выходил победителем на поле боя и завещал, чтобы после смерти с него была содрана кожа и чтобы эту кожу натянули на барабан, который будет созывать на продолжительную битву с врагами. Все пять крестовых походов в Чехию, организованных папой и германским императором, закончились позорным крахом. Героическая история гуситов до глубины души взволновала Юлиуса. Эта история становила и укрепляла нравственный облик народа, была его исторической памятью, праздничными одеждами его души. Все, буржуазия и мещане, отдавали должное Гусу, Жижке, принимали участие в торжествах, посвященных

гуситскому движению и Табору. Но Юлиусу приходилось не раз слышать такие слова: «Слава богу, что гуситство было сотни лет назад. Ведь гуситы были тоже своего рода большевиками». Фучик долго раздумывал над увиденным и написал стихотворение «Руины», написал в монументальной манере поэтов-романтиков эпохи чешского Возрождения. В разговоре Панны и Бабы (так образно назвал народ скалистые утесы, на которых некогда возвышались неприступные твердыни) с человеком вспоминаются песни гуситских воинов и их полководец Ян Жижка. Стихотворение полно веры в творческие силы и способности чешского народа и его славное будущее:

Шел гений, шла вся мощь земли великой,
А та восстала против этой силы.
То был могучий взлет души богемской,
А я взирала хладно, безучастно.
Поняв так поздно, лишь жалеть могу я,
Что не смогла быть родине полезной.
Один лишь раз взошло дерзанья солнце.
Один лишь раз и больше не вернется!
Эхо:
Один лишь раз? И больше не вернется?

Фучик ходит на собрания и лекции объединенного комитета рабочих и учащихся средних и высших учебных заведений. Лекции читались на самые разнообразные темы: «Необходимость объединения молодой интеллигенции», «Введение в теорию социализма». Здесь проводились беседы по изобразительному искусству, диспуты о религии, о политике, излагались программы различных политических партий. Пытливая мысль Фучика упорно ищет ответа на вопросы, которые рождались в спорах тех лет. Читая Масарика и Каутского, он интересовался Флейшнером, Жоресом и модным в то время Ницше. Рабочий «Шкоды», один из основателей коммунистической организации в Пльзене, говорил: «Голова этого парнишки была забита Масариком и Флейшнером, и вопросы его всегда мучили такие, на которые мы не могли ему толком ответить».

Под давлением рабочего класса правительство осуществило в конце 1918 года ряд демократических преобразований: были отменены дворянство, ордена и титулы, узаконены свобода слова, печати, собраний, право на забастовку, введены 8-часовой рабочий день, пособие по безработице. Это на какое-то время успокоило рабочих, привело к спаду революционной борьбы, однако это было затишье перед бурей…

Большинство обещанных социальных реформ, касающихся национализации промышленности, аграрной реформы и демократизации государственных институтов, оставалось пока на бумаге. Буржуазия не собиралась их проводить, собирала силы для решительного наступления и лавировала. Основная масса рабочих не сразу увидела буржуазный характер республики, считала, что отсрочка демократических преобразований вызвана объективными международными условиями и саботажем отдельных лиц, а не самим классовым характером государства. Лидеры социал-демократии — самой сильной политической партии в стране — утверждали, что Чехословакия, по существу, уже не является капиталистическим государством и находится на прямом пути к социализму. Они распространяли иллюзии о преимуществах реформистского пути перед революционным, по которому пошли русские рабочие. Орган социал-демократов газета «Право люду» писала: «Трудящиеся нашей страны должны добиваться осуществления важнейших требований избирательным бюллетенем, а в случае особой неуступчивости классовых врагов у них есть такое средство, как забастовка».

Проходит совсем немного времени, и националистические иллюзии, радужные надежды начинают выветриваться на холодном ветру политической жизни, сменяться разочарованием.

Поднимают свой голос рабочие, особенно таких промышленных центров, как Кладно, Брно и Острава. Широкие массы рабочих переставали верить в «справедливую», «социализирующуюся» республику. Правительство напугано и угрожает, что будет «беспощадно преследовать как врагов родины всех, кто предпримет меры к беспорядкам или насильственному перевороту».

Среди рядовых членов социал-демократической партии растет недовольство политикой лидеров, которых трясина реформизма засосала настолько, что они выступили с заявлением о том, что партия «не имеет и не хочет иметь ничего общего с тактикой русских большевиков и немецких спартаковцев». Весной 1919 года возникает левое революционное крыло. По инициативе Б. Шмераля начинает издаваться еженедельник «Социал-демократ». В программной статье первого номера говорится: «Нашей целью является создание не буржуазно-демократической республики, а республики социалистической». Массовой базой Марксистской левой стала Кладненская организация, руководимая Антониной Запотоцким. Осенью 1919 года левая оппозиция настолько окрепла идейно и численно, что выступила на заседании представительства Чехословацкой социал-демократической партии с первым самостоятельным заявлением.

«Уже давно пора, — говорилось в нем, — пробудиться от националистического угара тем слоям чешского рабочего класса, которые остаются безразличными к своей исторической роли, к тому, чтобы взять власть в государстве не только фиктивно, но реально и полностью…»

В рядах буржуазных партий все чаще начинают раздаваться голоса, требующие применения репрессий против наиболее активных представителей революционного рабочего движения. Ряд буржуазных газет потребовал предания возвратившихся из России коммунистов военно-полевому суду, призывали к физической расправе над ними.

Одним из центральных вопросов, по которому велась дискуссия в рядах социал-демократической партии и шло размежевание сил, стал вопрос об отношении к Советской России, к опыту русской революции, к большевизму.

В июле 1920 года в Москву выехала делегация Марксистской левой для участия во II конгрессе Коминтерна, в составе которой находился делегат от рабочих Кладно Запотоцкий. Делегаты неоднократно встречались с В.И. Лениным, другими представителями РСДРП (б) и зарождавшегося международного коммунистического движения. В.И. Ленин в беседе с членами чехословацкой делегации охарактеризовал основные проблемы и трудности, стоявшие на пути создания массовой коммунистической партии в Чехословакии. Члены делегации вернулись на родину, обогащенные ценным опытом революционной борьбы.

Большое значение для формирования левых сил в социал-демократической партии Чехословакии имели рассказы очевидцев, вернувшихся из Советской России. По решению руководства партии одним из первых в Советскую Россию поехал видный деятель левого крыла социал-демократической партии — Марксистской левой — Б. Шмераль.

После возвращения Б. Шмераль опубликовал в «Право лиду» серию репортажей, в которых рассказал о своих впечатлениях и о личной встрече с В.И. Лениным. В октябре 1920 года он издал книгу «Правда о Советской России», сыгравшую большую роль в идейном и политическом воспитании пролетариата Чехословакии. В ней впервые читатели знакомились с многими положениями ленинизма, с опытом диктатуры пролетариата, ленинским учением о партии, ее стратегии и тактике, методах работы. В предисловии говорилось: «Я пришел из другого мира, пришел другим человеком. То, что происходит в России, огромно, головокружительно, благородно, разумно, необходимо, неодолимо… Новых вещей рождается ряд!» В.И.Ленин, получив

эту книгу, подчеркнул в тексте приведенные слова автора. Свидетельства Б. Шмераля о Стране Советов нашли широкий отклик в Чехословакии. Юлиус жадно читает книгу, и его взор обращается к Советской России.

В это время Фучик подружился с рабочими завода «Шкода», в среде которых он приобрел, как он сам говорил позже, «рабочий нюх». Рабочие оказались людьми энергичными и борцами за свои классовые интересы…

4 апреля 1920 года Фучику выдано удостоверение о том, что он является «членом издательского и редакционного коллектива „Правды“ в Пльзене».' Эта газета называлась так же, как и газета советских коммунистов, выходила с лозунгами на первой полосе «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Кто не работает, тот не ест!», стояла на позициях левых социал-демократов. Редактор Ян Зибар, рабочий «Шкоды», поэт и вдохновенный пропагандист коммунистических идей, подружился с Юлиусом и вскоре предложил ему место референта и редактора по вопросам литературы и театра.

В конце 1920 года после отставки социал-демократического правительства Тусара было сформировано чиновничье правительство во главе с «беспартийным», бывшим представителем высшей австрийской бюрократии Яном Черным. Его главная задача состояла в переходе от обороны к решительному наступлению буржуазии на рабочий класс и Марксистскую левую. В качестве предлога был использован конфликт по поводу Народного дома на Гибернской улице, где находилась партийная типография социал-демократов. Дом являлся, по существу, штабом Марксистской левой. Здесь 21 сентября вышел первый номер газеты «Руде право» («Красное право»). Буржуазный суд по ходатайству правых социал-демократов запретил использовать им старое название «Право лиду».

9 декабря правительство отдало приказ полиции и жандармерии занять Народный дом любой ценой, «даже если бы для этого пришлось шагать через трупы». Чешский пролетариат ответил на акт насилия всеобщей забастовкой. В ней приняли участие около миллиона рабочих. Во многих местах рабочие заняли заводы, революционные комитеты брали власть в свои руки, батраки захватывали богатые поместья, в городе Кладно возникла «советская республика». Правда, Пльзень была единственным промышленным городом республики, где социал-демократам удавалось держать в узде недовольство рабочих. Обстановка в стране накалялась…

В январе 1921 года ученик последнего класса реального

училища Фучик делает обстоятельные выписки из «Манифеста Коммунистической партии». Через три месяца Юлиусу удается наконец впервые прочитать работу В.И. Ленина «Государство и революция». Читал с большим напряжением, возвращаясь по нескольку раз назад.

В мае 1921 года была создана Коммунистическая партия Чехословакии. XIV съезд чехословацкой социал-демократической партии (левой) стал Учредительным съездом КПЧ. Возникновение КПЧ в условиях мощного подъема революционного движения под влиянием победоносных идей Великой Октябрьской социалистической революции явилось событием огромного значения в истории Чехословакии. В становлении партии чехословацких коммунистов неоценимую роль сыграли советы и помощь В.И. Ленина. Б. Шмераль, один из активных организаторов КПЧ, заявил на ее Учредительном съезде: «Мы — больше, чем политическая партия. Мы — авангард новой жизни. Создавая новые отношения, мы хотим создать также новых людей». К этому поколению новых людей принадлежал и Ю. Фучик. Когда в том же месяце в Пльзене из левого крыла социал-демократической партии была создана местная организация КПЧ, он вступил в ее ряды.

Молодая, только что рожденная КПЧ немедленно и решительно встала во главе борьбы масс и наглядно подтвердила, что она является партией нового типа, в корне отличающейся от бывшей социал-демократической партии. На демонстрациях и митингах трудящихся КПЧ призывала массы к борьбе за подлинную свободу, выступала в защиту Советской России от иностранной интервенции. В эту ожесточенную классовую борьбу активно включился и восемнадцатилетний Фучик, только что сдавший выпускные экзамены.

Аттестат зрелости был не блестящий — «хорошо» за поведение, «удовлетворительно» по чешскому и французскому языкам, математике, естествознанию, физике, черчению, «хорошо» по геометрии и только четыре отличные оценки: по истории, географии, физкультуре и по введению в философию.

Реальное училище считалось как бы преддверием политехнического института, где перед Юлеком открывалась карьера инженера. Сколько тяжких разговоров, сколько бурных объяснений с отцом должен был пережить Юлиус, пока не настоял на своем. Как бы благоразумно и дальновидно ни решал за него отец, Юлек сам выбирал свою судьбу, намереваясь поступить в Карлов университет в Праге. Отцу нелегко было расстаться с мыслью о сыне-инженере, к тому же он был недоволен тем, что сын в ущерб своему дарованию и призванию

отдает столько сил и времени такому опасному занятию, как политика.

Постоянные столкновения с властями, полицейские преследования. Какая уж тут может быть серьезная работа в литературе, научная карьера! Мать горевала: сын уже большой и уходит от нее. Она хорошо знала его горячую, порывистую романтическую натуру, его фантазию, отвагу и характер.

БОРЬБА

ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ

Кем только ни был я на этом свете,
И кем бы ни был я — всему был рад.

Ян Неруда

Прожив восемь лет в Пльзене, восемнадцатилетний Фучик возвращается в родной город, в Прагу. Когда он сошел с поезда, в кармане у него всего-навсего две кроны и сорок геллеров, но в чемоданчике — пять заветных тетрадей. Самый главный капитал человека, мечтающего стать литературным и театральным критиком. «Книги и театр открывали мне мир, — вспоминал он, — я искал в них правду и понял, что есть книги, которые говорят, есть, которые лгут, а есть и вообще немые. Мне казалось, что об этом надо сказать, чтобы не было ни лживых, ни немых книг. Я считал это своим долгом в борьбе за лучший мир».

Он шагал по набережной Влтавы и впитывал мелодичный шум влтавских порогов, приглушенную музыку из освещенных кафе и ресторанчиков, первые звезды над большим шумным городом, веселые взгляды девушек. Стройная и крепкая фигура, мужественные черты смуглого лица, большие сверкающие глаза, в которых были то веселые, задорные искорки, то какое-то детское изумление перед окружающим миром, — все это придавало его наружности привлекательность. «Какой красивый город, — думал Юлиус, — какой город!» Романские стены, готические шпили, тонкие витые украшения в стиле барокко на куполах перекликались между собой в музыкальном аккорде точно так же, как скаты дворцовых крыш и кудрявые сады, поднимающиеся по склонам. Сады на террасах — архитектурная особенность Праги — единственные в Центральной Европе. Прага возвышенна и человечна, она прекрасна, она очаровательна. Через Влтаву перекинулись своды Карлова моста, гордо демонстрирующего соединение строгой готической архитектуры с барочными скульптурами. Единственный в своем роде, этот мост означает для Праги то же, что Колизей для Рима, Акрополь для Афин, Эйфелева башня для Парижа. На берегу выступают прелестные старинные мельницы; продолговатые острова раскинулись по Влтаве как плавучие букеты. Юлиус любовался своей Прагой.

Вот и Смихов. Здесь, как и в каждом пражском квартале, своя

выразительность, особые ощущения. Он не замечал, сколько времени бродит по городу. Порой он возвращался на одни и те же улицы и снова останавливался перед уже знакомым зданием. Все вокруг было и знакомо, и как бы ново в родном городе. В памяти сразу же оживали дорогие, овеянные грустью воспоминания детства, растравляли душу болью по ушедшей чистоте и яркости первых впечатлений жизни. Сердце его учащенно забилось, когда он оказался в лабиринте узких улочек и дворов. Здесь и сапожники, и прачки, и мастерская горемыки-художника, и кабачок, здесь споры и ссоры, любовные интриги, политические дебаты, анекдоты, здесь шутками, своеобразной чешской иронией, упорством народ сохранял и отстаивал свой язык, свою душу, свои нравы и обычаи.

Огни большого города, манили его, как волшебные светящиеся глаза, обещая что-то новое, радостное. Он жадно вдыхал всей грудью вместе с бодрым осенним воздухом какие-то сладкие ожидания неведомой ему студенческой жизни.

Прославленный храм науки — один из первых посла Парижского и Болонского университетов Европы — на первых порах подавлял и ошеломлял. Студенческая толпа первокурсников растекается по аудиториям еще неуверенно. В этот день, единственный, всегда памятный, первый студенческий день, рой мыслей проносится в голове: в этом университете бедным студентом, затем преподавателем, одним из первых ректоров был сам Ян Гус! Здесь находился один из центров гуситского движения. За свою более чем шестисотлетнюю историю университет дал миру многих выдающихся ученых, таких, как Ян Есениус, Ян Пуркине, Франтишек Пелцл и др. Юлиус хорошо знал, какую большую роль сыграл университет в восстании чешского народа против Габсбургов в 1618–1620 годах. Бывший в то время ректором Ян Есениус за участие в восстании был казнен на Староместской площади. В университете учился Богумир Шмераль — один из основателей КПЧ.

На философском факультете Юлиус записался на лекции по чешской и зарубежной литературе, по философии и истории искусства. В то время выпускник реального училища мог стать только вольнослушателем, поскольку для полноправного студента необходимо было сдать экзамен по латинскому языку. Больше всего Юлиуса интересовали лекции профессоров Ф. Шальды и З. Неедлы. Усердно штудируя работы Шальды, Юлиус ставил его имя рядом с именем Я. Неруды, хотя он и не мог предполагать тогда, какую роль сыграет Шальда в его судьбе, так же как вряд ли мог оценить сложность и противоречивость натуры этого талантливого человека. Еще будучи выпускником

реального училища, он прочитал его работу «Критика пафосом и вдохновением, отчасти символ веры», уделил ей много места в своем дневнике и часто цитировал: «Критик должен судить — для этого он должен быть человеком цельным и сильным… Судить — больно… Критик — такой же творец, как поэт или любой другой художник…» Для Юлиуса такие слова перекликались с собственными мыслями, стали его спутниками на пути к тому, чтобы стать справедливым и честным.

После выпускных экзаменов Юлиус записал в дневнике эпиграф Шальды к работе «Борьба за завтрашний день»:

> Мои плоды из тех, что слишком долго зреют,
> луга уж зарастут печалью зимних трав,
> туманы по утрам, и воды почернеют,
> чуть станут сладкими — и снег лежит в горах.

В то время Фучик не подозревал, какое символическое значение будут иметь эти слова для него самого. Они стали для него призывом в гораздо более широком смысле, ибо к коммунистическому мировоззрению пришлось пройти долгий и сложный путь.

Крупнейший чешский критик Шальда не был марксистом, но чутко улавливал биение пульса родной культуры. Он был известен мужеством, с которым искал правду и бичевал лицемерие. Жил он уединенно, отшельником. Его лицо запоминалось с первого взгляда: большой сократовский лоб с глубокими морщинами; глаза, глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век; узкие губы были энергично и крепко сжаты, указывая на железную волю, а нижняя челюсть, выдвинутая вперед, придавала лицу отпечаток властности и упорства. Строгий на лекциях, он держался с такой изящной, неуловимой, небрежной и в то же время величавой простотой, говорил сосредоточенно, и лишь изредка его глаза останавливались на ком-нибудь из слушателей, а удар тяжелой трости о кафедру подчеркивал важность той или иной мысли, вроде: «Поэт не смеет быть демагогом, он может быть пропагандистом, должен быть борцом!» или «Новые идеи и величайшая из них — идея социальной справедливости — должны быть завоеваны!»

Вот поднимается на кафедру, чуть склонив свою большую голову, Зденек Неедлы, любимец студентов. Всегда безупречно одетый, с высоким лбом и звучной красивой речью, он снимает очки, протирает их, выжидая, пока установится тишина, потом

обводит глазами аудиторию и неожиданно спрашивает: «Юноши и девушки, зачем вы пришли на философский факультет?» Студенты замирают от неожиданности, а профессор, сам в недавнем прошлом студент этого университета, тем временем начинает говорить о том, что студентов привело в университет желание узнать здесь истину и сделаться защитниками правды. Он говорит о том, что наука, как все святое и великое в мире, требует от человека трудного, самоотверженного подвига.

Ему немногим более 40 лет, а он уже известен как рыцарь науки. В возрасте 25 лет он стал членом Королевского чешского общества наук, а в 30 лет членом Чешской императорской академии наук и искусства. Начав свою научную деятельность на рубеже XIX и XX веков, Неедлы обратился к национальной истории, истории освободительной борьбы чешского народа и национальной культуры, которые им рассматривались как борьба за национальное и социальное освобождение. В то время как реакционные историки стремились развенчать таборитов, он энергично выступал в их защиту, видя в них наиболее радикальную, революционную силу гуситского движения. Не будучи еще марксистом, Неедлы в освещении гуситского движения поднялся на голову выше всех других чешских историков своего времени.

В 1900 году Неедлы приезжал в Россию, чтобы установить контакты с деятелями русской культуры, которую он высоко ценил и неутомимо пропагандировал в своей стране. Во время поездки он побывал и в Ясной Поляне у Л. Н. Толстого.

Неедлы был первым среди чехословацких деятелей науки, понявших международное значение Октябрьской революции и ее влияние на национально-освободительную борьбу чешского и словацкого народа. В своей работе «Борьба за новую Россию» он сравнивал революционную Россию, подвергнувшуюся иностранной интервенции, с Чехией периода гуситских войн.

Ю, Фучик восторгался профессором, считал, что он — фигура исключительная, и сравнивал его с французскими энциклопедистами. Все, кому довелось видеть и слышать З. Неедлы, рассказывали об огромном впечатлении, которое он производил на аудиторию яркими выступлениями и эрудицией. Он обладал редким даром заражать слушателей идеями, передавать им свои чувства и знания. Он не читал сухих «академических» лекций. Его выступления были живыми, увлекательными, и их трудно было записывать, ибо в простом записывании фактов исчезало главное, что вносило душу в его изложение, — единство мысли и чувства, художественный эффект воссозданной им картины и тонких оттенков эмоций, которыми

было пронизано его изложение. Нередко во время лекций он садился за рояль и свои слова подкреплял музыкой, импровизированным концертом. Он не упускал случая в своих лекциях остановиться на важнейших культурных и общественно-политических проблемах, заставлял думать, переживать, соглашаться или спорить с ним. Его называли «последним будителем и первым коммунистом среди чехословацкой интеллигенции», «красной вороной» Карлова университета.

Он любил приглашать студентов к себе домой и вел с ними там откровенные разговоры. Дома он был еще свободнее, чем на кафедре. В тесный шумный круг собирались те, кто начинал сотрудничать с его боевым журналом «Вар» («Кипение»), который стал издаваться с декабря 1921 года. Во вступительной статье этого «журнала по вопросам культуры и политики» Неедлы изложил программу действий: «Фронт против фронта — это приказ времени. Фронту банкиров, помещиков и капиталистов надо противопоставить широкий фронт трудового народа». Но для этого надо пробуждать чешский народ, давать ему веру в конечную победу, работать терпеливо, упорно и решительно. «Как наши будители работали от Читателя к читателю, от слушателя к слушателю, так должны работать и мы». Фучик сразу разглядел, что «Вар» является «типом журнала действительно прогрессивного, не скрывающего своих симпатий к коммунизму».

Дружную, непринужденную атмосферу Каулихова дома воскресил позднее В. Незвал в «Стихах из альбома», посвященных семидесятилетию З. Неедлы:

Тридцать лет прошло с тех пор, как в зале
Дома Каулихова для нас
Вы шедевры старые играли,
И летел, летел за часом час…
Да, того, что пережил когда-то,
Не вернуть, не пережить опять,
Поясняя сложные сонаты,
Вы учили мир преображать.
«Оперы, симфонии и польки…
Дело тут не в музыке одной».
Вижу ваших слушателей. Волькер
Как живой стоит передо мной.
Помню «Вар» на Спаленой, где все мы
Собирались в тесный шумный круг.
Поколению людей богемы
Протянули руку вы, как друг.

Разумеется, были профессора, которые не восхищали Фучика. Но в течение пяти лет он достаточно регулярно посещал все лекции, на которые записался. А их было много: на третьем курсе — 51 час в неделю: лекции по чешской литературе, по современному русскому роману, по сравнительной литературе, прикладной философии, лекции Неедлы о Сметане, лекции Шальды «Систематическая история французской литературы 19-го столетия». Но неверно было бы думать, что он только и делал, как иссушал свой ум университетской наукой.

Он пробует себя в журналистике: в 1922–1923 годах опубликовал в пльзенской «Правде» около двадцати статей по вопросам театра и литературы. Правда, резонанс этих выступлений был невелик. Свои взгляды на творчество отдельных чешских писателей он отстаивал и на семинарах в университете, хотя считалось чем-то неслыханным вступать в спор с преподавателями. Один из университетских коллег Фучика, Земан, вспоминал, какие бурные споры затевали Фучик и словацкий коммунист Урке на литературоведческом семинаре, который вел профессор Гисек. Считая свои воззрения чуть ли не святыми для студентов, Гисек приводил в пример творчество Петра Безруча, автора «Силезских песен», как доказательство того, что чешская национальная поэзия всегда органически сочетается с поэзией социальной, что героями этой поэзии были мелкие ремесленники, торговцы, чиновники, то есть мелкая буржуазия. Профессор был немало удивлен, когда Фучик сказал, что это полуправда, что Безруч был поэтом не мелкой буржуазии, а поэтом порабощенного народа: голосом крестьян Бескид, рабочих Остравы, горняков, плотников, горничных, голосом пролетариата, который был для него народом. Выступление Фучика вывело из себя профессора. «Расхождения между Фучиком и Гисеком, обнаружившиеся в 1924 году, проявились и через много лет, — вспоминал Земан. — Во времена оккупации Фучик вел революционную борьбу в подполье, а Гисек стал министром просвещения в правительстве протектората».

В бумагах профессора Якубеца сохранилась курсовая работа Фучика «1799–1804 годы в романе А. Ирасека „Ф.Л. Век“», написанная зимой 1925 года. Юлиуса взволновала поднятая Ирасеком тема дружбы чешского и русского народов, картина восторженной встречи в конце 1799 года легендарного русского полководца Суворова и его чудо-богатырей в Праге, только что совершивших швейцарский поход. Писатель показал, что победа русского народа над Наполеоном способствовала росту национального самосознания чешского народа.

Экзамен по-латыни Фучик сдавать не стал и потому числился вольнослушателем, «вечным студентом». Он так и не стал сдавать государственные экзамены и, естественно, не получил диплома. Дело было не в отсутствии у него лингвистических способностей, ведь он хорошо знал русский, немецкий и французский языки, а скорее в том, что он никак не мог побороть себя, заставить зубрить мертвый латинский язык, не дающий ему никакой практической пользы. Вся его страстная натура восставала против школярского отношения к жизни, над которым так гениально смеялся Гёте в своем разговоре Мефистофеля со студентом, закончившемся словами: «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо».

Среди пражских студентов в 20-е годы наблюдалось бурное политическое брожение. На арену борьбы вместе с отцами, завоевавшими национальную независимость, выходят сыновья. Они начинают свой путь в необычном, расколотом мире, реагируют на все со всем пылом молодости. По вечерам молодежь собирается в пражских ресторанчиках и маленьких кафе. Взгляды одних обращены к Москве, других — к Парижу, Лондону. Чуть ли не у каждого свои готовые решения «домашних» и мировых проблем. Максимализм и самоуверенность молодости уживаются с сомнениями и растерянностью перед реальной, а не книжной действительностью. Возникают самые разные художественные и политические общества и клубы с громкими названиями и программами. Всюду споры до изнеможения. Впоследствии многие из пражских студентов отреклись от того, что проповедовали: одни стали благонравными гражданами, другие пытались сохранить верность прекраснодушному, но сильно потрепанному, бесплодному «трактирному радикализму», третьи «взялись за ум», приспособились к существующему режиму… Среди тех, кто тянулся к социализму всей душой, был Фучик.

— Я твердо верю, — говорил друзьям запальчиво Юлиус, — что коммунизм призван истребить боль, зло, неправду, то есть все некрасивое, бесформенное, низменное.

Фучик быстро приобщился к политической жизни, стал членом коммунистической организации в пражском районе Старые Страшницы, неизменным участником всех демонстраций и митингов. Друзья Фучика вспоминали не раз, как он влетал к ним в комнату и, взволнованный, запыхавшийся от быстрого бега, уже в дверях кричал:

— Бросай все, идем!

Это значило: готовится митинг, политическая демонстрация или чье-нибудь выступление. И они шли. На Вацлавскую площадь, на Карлин, на Жофин, на Пршикопы, в Люцерну, в Национальный

театр, к парламенту или на Стрелецкий остров, где рабочие Праги впервые праздновали в 1890 году праздник 1 Мая.

Юлиусу и его друзьям не раз доставалось от полицейских дубинок. Но это их не смущало. На то и борьба! Фучик часто выступал на различных собраниях, митингах, был искусным оратором. Остроумие Фучика, умение не только не терять присутствие духа, а, напротив, воспламеняться, находить нужное слово, яркую метафору и сравнение блестяще выдерживали экзамен. Его популярность в кругах прогрессивного студенчества Праги растет, у него становится все больше друзей.

На этот период приходится большое событие в личной жизни: он знакомится с Марией Ваничковой — веселой, голубоглазой студенткой философского факультета. На лекциях они сидели рядом, вместе учились, на демонстрациях шли плечо к плечу. Когда Ваничкова, или, как ее ласково называли друзья, Ваничка, Ваня, уезжала домой, к своим родителям в Опочно, а Юлиус оставался в Праге или у своих родителей в Пльзене, он ежедневно писал ей нежные письма, полные страсти и нескрываемой тоски по ней.

Вскоре партия стала поручать ему ответственные задания. Однажды он выступал на митинге вместе с Антониной Запотоцким. Запотоцкий говорил о том, что народ представлял себе не такую республику, когда громил Австро-Венгрию и выходил с оружием в руках на баррикады, дороговизне и безработице, о капиталистах, фабрикантах, помещиках, которые не хотят отказываться от своих эксплуататорских привилегий. Затем на трибуну поднялся Фучик и от имени передового студенчества говорил о нищете и плохих социальных условиях жизни студентов, высокой плате за обучение, о том, что права студентов незаконно урезаются и молодая интеллигенция не может найти себе применения.

В 1925 году по инициативе коммунистов создается Общество экономических и культурных связей с Новой Россией. Его возглавил Неедлы. В лекциях, в выступлениях, в печати, в беседах члены общества правдиво информировали общественность о положении в Советском Союзе, знакомили ее с выдающимися произведениями советской социалистической культуры. Тем самым оно помогало разоблачать антисоветскую клевету, распространявшуюся, в частности, различными белоэмигрантскими группами, осевшими в Чехословакии. О том, как росли симпатии к Советскому Союзу среди чехословацкого народа, свидетельствовали сотни резолюций с требованиями признать Советский Союз и установить с ним дипломатические отношения.

В середине ноября 1925 года проходили парламентские выборы. Правительственные партии использовали все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы добиться победы. Они подключили государственный аппарат, прессу и другие средства пропаганды, давали всевозможные обещания, использовали методы подкупа. Их борьба была направлена прежде всего против коммунистической партии. Летом 1925 года был инспирирован антикоммунистический «шпионский» процесс, с помощью которого намеревались дискредитировать КПЧ. Аресты коммунистов, конфискация пропагандистской литературы стали обычным явлением. КПЧ использовала предвыборную кампанию для пропаганды среди трудящихся своей революционной программы, для борьбы против буржуазной демагогии.

За неделю до выборов КПЧ собиралась организовать в Праге демонстрацию трудящихся в честь годовщины Октябрьской революции. На Вацлавской площади соорудили несколько трибун. На одной из них председательствовал и открывал митинг Фучик. На этих выборах коммунисты добились большого успеха: они получили около одного миллиона голосов и 41 депутатский мандат. Каждый седьмой-восьмой избиратель голосовал за коммунистов. КПЧ стала после выборов одной из самых сильных массовых партий в республике.

Как и многие другие студенты, Фучик сам зарабатывал себе на жизнь. Родители помогали ему, но Юлиус был весьма щепетилен в этом отношении и не хотел доставлять им лишние хлопоты. Прибыв в Прагу, он в течение четырех месяцев вел приходно-расходную книжечку, где отмечал свою наличность, вернее хроническое безденежье. Приходилось нередко брать у друзей взаймы. Когда у Юлиуса и Марии денег на обед не было, что случалось нередко, они надевали свою лучшую одежду и отправлялись «пообедать в городе», откуда возвращались не раньше чем могло закончиться мнимое посещение ресторана. На самом же деле, купив немного шпекачек и пива, они пристраивались где-нибудь перекусить, а затем бродили по городу.

До весны 1923 года он работал младшим служащим в Государственном статистическом управлении. Иногда он отлучается в рабочее время но своим делам, на митинги и собрания, а это уже смертный грех для служащего такой конторы. Его уволили.

После неудавшейся «чиновничьей карьеры» в статистическом управлении Фучик сменил много профессий: был учителем, спортивным тренером, поденщиком на прокладке шоссейной дороги под Прагой. Здесь его ждала суровая жизненная школа. Он

не раз вспоминал слова своего учителя Шальды: «Идите в гущу простого народа, как говорится, в низы. Для своего поэтического становления вы приобретете там больше, чем от чтения двадцати журналов самого различного толка. Научитесь ненавидеть болтовню и использовать и любить слово как взрыв жизненной силы, как эквивалент поступка… Послушайте-ка часок-другой, и вы будете излечены от пустой декоративности, от всякого грима, помад, духов и прочего лживого смрада». Да, думал Фучик, Шальда прав, жизнь изобретательнее любой литературы, и в прочитанных книгах не было ни таких злодеев, ни даже благородных героев, которых не превзошли бы живые люди.

Однажды Юлиус стал свидетелем такой сцены: худенький белобрысый мальчик, подмастерье столяра, не удержал своими ручонками тяжело нагруженную вещами тележку, и она полетела под откос. Увидев, что вещи пострадали, хозяин стал жестоко избивать мальчика. «Я за него заступился, — пишет Фучик в одном из писем в 1924 году. — Полицейский, выяснение личности и множество всякой ерунды. А посреди улицы стоял этот мальчик, запряженный в ремни тележки, как конь, налетевший на трамвай. Страшно перепуганный, бледный от боли и совершенно апатичный к несправедливости, он весь трясся, потому что не совсем осознавал, что было и что еще будет. А будет то, что его прогонят от мастера и изобьют дома, затем наступит безработица. У такого ребенка сразу столько горя, что трудно себе даже представить. Он мог бы утонуть в своих собственных невзгодах. И опять ты видишь, что означает для нас, для всех — работа».

С рабочими Фучик чувствовал себя легко: он быстро умел завязывать разговоры, между ними не было никакой дистанции. Он один из них, прост, скромен, не хвастался своим образованием, внимательно выслушивал их рассказы о работе и жизни. Он узнавал множество историй о том, как предприниматели выжимали путем скрытых сверхурочных работ дополнительную прибыль из рабочих или с помощью умышленных неясностей в условиях оплаты обманывали рабочих при расчете, о несчастных случаях на производстве по вине предпринимателей. Он видел не только нужду, произвол и беззаконие; видел он и то, как помогают друг другу рабочие люди.

«Как-то я гостила у нашей тетки в Праге, на Виноградах, — вспоминала Вера, сестра Фучика. — Юлек, похвастав, что получил „неслыханный гонорар“, пригласил меня в ресторан. Перед этим он сделал мне необычный подарок: познакомил с известным поэтом Витезславом Незвалом. Незвал прочитал мне свои новые

стихи и поцеловал руку. Первый мужчина, поцеловавший руку!

В таком приподнятом настроении я шла с Юлеком по Вацлавской площади. Как назло, на каждом шагу попадались нищие. Это портило праздничное настроение, и я отворачивалась. Брат заметил мои „маневры“ и тут же дал нищему 5 крон. Я не выдержала:

— Юлек, ты, наверное, ошибся? Это же пять крон!

— Ну и что, Верушка! Он должен сидеть здесь целый день, чтобы собрать себе на обед. Все эти люди могли бы отлично работать. И хотели бы. Но негде. Позор нашей стране!

Однако деньги он разменял и всю дорогу продолжал их раздавать. Когда по пути в ресторан мы зашли в редакцию, Юлек обшарил карманы. Увы, ничего. Семидесяти крон как не бывало! Брат немного смутился и занял деньги у товарищей, чтобы все же выполнить свое обещание.

Я была уверена, что Юла на Вацлавской площади делал это все под настроением, поддавшись эмоциям. Но когда мы возвращались из ресторана, он долго и серьезно говорил со мной. О том, откуда взялись нищие и безработные в такой богатой стране, как наша. О том, что нужно сделать, чтобы навсегда избавиться от жизни, основанной на несправедливости и ограблении миллионов людей…»

В середине двадцатых годов Прагу охватило небывалое оживление. Слишком много было кровопролитий на фронтах и лишений в тылу. Людей охватила горячка — скорее нагнать упущенное! Все куда-то заспешили, задуматься стало некогда. Световые рекламы вспыхивали и гасли, на экране мелькали лица кинозвезд, демонстрировались ревю с танцовщицами, с жонглерами и акробатами. В автомобилях всех марок, типов и размеров, на лодках, лыжах люди догоняли убегающее время, свою молодость, утраченную во время войны. Лихорадка наслаждения охватила все города Европы, но Прага после падения австро-венгерской монархии перегоняла всех, как выскочка и нувориш.

Это было время, когда на предпринимательском небосклоне взошла и ярко засветилась «звезда» обувного короля Томаша Бати. Буржуазная пропаганда на все лады рекламировала его как хрестоматийный пример бедняка, благодаря своей энергии и таланту достигшего безграничного богатства и могущества; интеллигенция превозносила его как воплощение идеала «сверхчеловека». Это был делец действительно большого размаха. В моравском городке Злин, в этом недавнем медвежьем углу, он построил великолепно оборудованные заводы; там он применил методы сверхсовременной эксплуатации. Даже инженеры,

управляющие, бухгалтеры никогда не были спокойны. Батя любил устраивать телефонные авралы во втором часу ночи, когда ему вдруг приходила в голову какая-нибудь новая техническая идея, и он собирал на совещание весь руководящий персонал своего предприятия. На конвертах, в которых выдавали рабочим заработную плату, было написано: «Научитесь делать деньги из вашего тела». Его называли или «хозяин» или «миллионер». Это слово произносилось с благоговением и так, словно речь шла о чем-то легендарном, а если сказать «капиталист», сразу ясно, что это нехороший человек. Слово «капиталист» было бранным и, если угодно, зловещим словом. Томаш Батя любил афоризмы, и в витринах его магазинов можно было найти самые разнообразные сентенции: «Моя обувь не натирает мозолей», «Будем веселыми!», «Не читайте русских романов — они лишают вас радостей жизни».

Фучика не ослепляли витрины магазинов. Однажды он после посещения пражской оптовой ярмарки с иронией записал в своем блокноте: «Ходишь среди людей. Тебе весело от того, что здесь так оживленно, ты радуешься тому, что жизнь и торговля здесь бьют ключом. Господин Шкода демонстрирует не пушки, а плуги, автомобили и станки. Господин Х подчеркивает экономическую выгодность своего патента, а господин У даже вещает что-то о социальной значимости. Ты видишь, как далеко шагнули культура, прогресс, и радуешься. Радуешься тому, что господин М продает Болгарии спальные гарнитуры, а господин Н — Англии великолепные ванны; радуешься тому, что радуются они и что курс кроны растет. Ты берешь рекламы, которые протягивают тебе со всех сторон, и радуешься их остроумию, краскам… Но вот ты останавливаешься перед гастрономическим ларьком и вздрагиваешь, когда над самым твоим ухом кричат: „Горячие сосиски! Горячие сосиски с горчицей, прошу!“ Внезапно чувствуешь, что ты голоден; видишь, с каким презрением или насмешкой осматривают тебя господа торговцы, которые чувствуют, что на тебе не наживутся; вспоминаешь о своих стоптанных ботинках и обтрепанных брюках, ощущаешь горькую нищету. А вокруг тебя дорогие шубки и лакированные туфли, роскошные платья и различные лакомства. И ты перестаешь радоваться, потому что тебе становится больно от безмерной людской глупости… Эти ищут покупателя и отчаянно сражаются с конкурентом за каждого, у кого есть Деньги, те — связей, хотя бы с австралийскими дикарями или эскимосами. И это в то время, когда в стране тысячи людей оборваны, голодны и лишены работы. О, как весело на пражской ярмарке! Все на ней есть! Не хватает только зкспонатов нищеты».

Фучик выражает уверенность, что придет время такой гигантской ярмарки, на которой «будет демонстрировать плоды своего труда все человечество и где не будет голодной публики, попавшей сюда по случайным бесплатным билетам. На эту ярмарку придут благородные люди, белые и чистые, которые с материнской гордостью будут любоваться творениями рук своих…».

КРИТИК И РЕДАКТОР

Я беден был, но силу ощутил,
Пошел вперед. Потом прибавил

шагу,
В душе почуял гордость и отвагу
И стал подросток мужем, полным

сил.
В вопросе скромный, гордый при

ответе,
Не продающий чести для наград…

Ян Неруда

В канун рождества 1922 года на сцене Пражского театра имени Тылы в Нусле была показана премьера пьесы Волькера «Высочайшая жертва» в постановке режиссера Индржиха Ронзлы, художника неуемной энергии. Это было время, когда опера имела своего Сметану, а драматургия не могла найти своего Тыла; все говорили о кризисе театра, репертуар был пестрый и крайне неравноценный, режиссура слабая, художественный уровень спектаклей невысокий. И вот как гром среди ясного неба появился спектакль «пролетарского театра» с новым типом героев, с новым пониманием единства сцены и зрительного зала. На сцене — трагическая судьба молодой, интеллигентной девушки революционерки Сони, решившей ценою собственной жизни отомстить полицейскому комиссару за убийство пятидесяти рабочих. Рабочие и студенты затаив дыхание ловили слова, волновавшие их романтикой революционной борьбы. Вместе с ними в неказистом зале окраинного театра находились автор и начинающий, никому не известный театральный критик Фучик. Он глубоко переживал мучительную драму молодой героини, решающейся на роковой шаг и трепещущей при мысли о

«высочайшей жертве». «У грядущего мира — гипнотический взгляд, и он устремлен на меня, — писал Фучик, — не хочу просто умереть — хочу чего-то большего… Надо чем-то жертвовать в жизни, чтобы жизнь не кончалась с тобой». Он повторил слова Бетховена «Es muß sein» — «Да будет так!», ставшие эпиграфом пьесы, и добавил: «Но где этот мир, чей взгляд обладает такой гипнотической силой? Здесь, в городе, куда выходит мое окно, шумят черные толпы чумазых людей с мозолистыми руками, здесь — корни нового, великого и единого мира, которому сегодня пожертвовали себя Соня, Филипп и Петр, а завтра отдадим свои жизни все мы, люди старого мира. И не потому, что захотим этого, а потому что придется…»

В пльзенской газете «Правда» Фучик публикует восторженную рецензию. В своеобразной, очень динамичной и полной глубоких противоречий пьесе он разглядел появление революционного искусства, «первое достижение пролетарского театра».

Один из зачинателей чешской поэзии социалистического реализма, Иржи Волькер был на три года старше Фучика, но значил для него больше, чем любимый поэт. Первый сборник стихов поэта «Гость на порог» произвел на Юлиуса глубокое впечатление: «У меня был такой обычай. Каждый год я начинал символически. Книга, открывающая год, была для меня символом, программой. Программа, символ — это означало заглянуть в библиотечку испытанных поэтов и начать Нерудой, Чехом и Махаром, поэтами, которых мы хорошо знаем, которые всем известны. Каждый интеллигент считает своим долгом… и т. д. И вдруг — незнакомое имя. Какой-то Волькер. Кто знал его год назад? А сколько людей уже знают его теперь?..»

Фучик был прав. Еще вчера И. Волькера действительно никто не знал как поэта. Когда в 1919 году студент первого курса Карлова университета Волькер принес свои первые стихи в журнал «Червен» («Июнь»), маститый искушенный поэт, самый крупный тогда авторитет в чехословацкой поэзии С.К. Нейман забраковал их, заметив шутливо, что малина должна еще дозреть (в стихотворении упоминалась малина). А всего несколькими годами позже тот же Нейман, очарованный его новаторскими стихами, назовет Волькера «самым глубоким лириком и самым обнадеживающим эпиком коммунистической поэзии», у которого «нет соперников». Взлет таланта поэта был настолько стремительным, а средоточие творческой энергии и большой поэтической культуры настолько редким, что за три-четыре года деятельности в своей короткой жизни он стал классиком родной литературы и оказал огромное влияние на целое поколение чехословацких литераторов.

И. Волькер рассматривал поэзию как «предвосхищение завтрашнего дня», и в июне 1920 года в статье «Революционеры» писал: «Сегодня — это эпоха чудес. У людей появляются новые глаза. Они сжигают все старые взгляды так быстро, что это даже больно. То, что мы видели вчера, нас воспламеняет и открывает много такого, что мы раньше не видели. Наступает эпоха нового зрения. Это знают все на передовом посту — они знают и больше. И руки будут причастны к новому зрению („руки“ у Волькера, как и у других чехословацких поэтов его времени, — символ действия. — *В. Ф.*). Настанет великое перемещение… И это открывание вещей, веками привязанных к определенному месту, во имя новой свободы духа называется революцией. У нас еще революции не было. В России она уже совершилась. И с такой славой, что мы все слышим ее. Мы знаем, что она придет, потому что мы ждем ее».

Фучику было очень близким волькеровское ощущение и восприятие жизни, противоположное индивидуализму, одиночеству, проникнутое радостью единения с людьми, радостью борьбы за счастье. Произведения поэта захватывали целиком Фучика, воплощали его представления о новом, революционном искусстве.

В Волькере Юлиус увидел «самого опытного в социальном отношении» поэта и второму сборнику его стихов «Час рождения» посвятил большую статью «Книга поколения». Уже в этой ранней работе намечаются некоторые существенные и принципиальные особенности последующей, зрелой литературно-критической деятельности Фучика. Он рассматривает каждое литературное явление в свете большой исторической перспективы, определяя его место в истории народа и борьбе за лучшее будущее. Поставив вопрос о дальнейших путях развития революционного искусства, Фучик видит в стихах Волькера идейные искажения целого поколения, поколения войны и революции.

В начале 20-х годов в Чехословакии сложилось сильное революционно-социалистическое течение в литературе. Осенью 1920 года возникло объединение молодых революционно настроенных писателей и художников «Деветсил», куда вошли Ярослав Сейферт, Карел Тенге, а позднее — Иржи Волькер, Витезслав Незвал, Владислав Ванчура, Бедржих Вацлавек и другие литераторы и публицисты. Кафе «Народное» на Национальном проспекте было резиденцией «Деветсила». Здесь велись ожесточенные споры и дебаты об архитектуре, о политике, о театре, о современной живописи, о критике и об истории искусства.

В Коммунистическую партию Чехословакии вступают такие

крупные поэты и писатели, как С.К. Нейман, И. Ольбрахт, И. Волькер, М. Майерова, Й. Гора. Партию во всем поддерживает З. Неедлы, хотя формально он остается вне ее рядов. Иржи Волькер пишет один из самых ярких манифестов нового литературного движения «Пролетарское искусство», сыгравший важную роль в развитии чешской социалистической литературы. «Мы сегодня хотим бороться и выражать в искусстве идею и жизненную мудрость рабочего класса, единственного класса, который имеет перспективу роста, — писал Волькер в одной из своих статей. — Мы действуем так во имя коммунизма, будучи умом и сердцем убеждены в том, что коммунизм сегодня единственно честное, жизнеспособное и способное к практическим действиям направление человеческих усилий».

Волькеровская программа пролетарского искусства явилась той теоретической основой, опираясь на которую делал Фучик свои первые шаги на поприще литературной и театральной критики. Юлиус излагает свое кредо так: «Сейчас возможна и правильна одна-единственная тенденция пролетарского искусства — быть революционером». Фучик познакомился и подружился с молодыми писателями и поэтами, преимущественно своими ровесниками, которые вскоре войдут в первый ряд писателей Чехословакии, бывал на вечерах, в клубах, в литературных кафе. Среди его новых друзей Витезслав Незвал — молодой поэт, выпустивший сборник стихов «Мост», Константин Библ — застенчивый поэт, побывавший на фронтах мировой войны, выпустивший сборник стихов «Дорога к людям», Карл Конрад — остроумный и находчивый, с которым Фучик редактировал студенческий сатирический журнал «Три» («Колючка»), Ярослав Сейферт — паренек с Жижкова, выпустивший сборник революционных стихов «Город в слезах», Ладислав Новомеский, редактор словацкого марксистского общественно-литературного журнала «ДАВ», Карел Тейге, признанный вождь и теоретик «Деветсила», судивший обо всем, пользующийся непререкаемым авторитетом.

Давно ли чешская критика сетовала на недостаточную масштабность «малого народа», не дающую якобы простора для развития литературы мирового уровня? И как бы неожиданно и внезапно на литературном горизонте Чехословакии взошло целое созвездие дарований. Ярослав Гашек, С.К. Нейман, И. Волькер, Й. Гора, К. Библ, И. Олъбрахт, М. Майерова, В. Ванчура почти одновременно заблистали всеми гранями таланта. Чехословацкая литература выходила на мировую арену. Это было, конечно, явление удивительное, но глубоко закономерное. Тем, кто сетовал на «малые масштабы», Карел Чапек, решительно

отвергавший подобные рассуждения, остроумно заметил, что «масштабы Афин, где говорил Софокл, не особенно превосходили масштабы, например, нынешней Пьязени». Чехословацкая литература уже в XIX веке имела прочные связи с мировой литературой, усваивала достижения русского реалистического романа, но время для собственных экспериментов и открытий никак не наставало. И только после мировой войны, после очистительной грозы революции 1917 года острота ощущения эпохи, настоятельная потребность осмыслить будущие судьбы молодого чехословацкого государства, понять главное направление исторического развития, видеть жизнь человека в широких связях вдохнули особую жизнь в литературу, придав ей масштабность проблематики и остроту мыслей и чувств. Ведущий чехословацкий революционный писатель С.К. Нейман еще в 1920 году сказал: «Мы боролись за свободную Чехословацкую республику, и знайте, если не победит международный революционный социализм, наш народ сделается вассалом международного капитала и в ближайшей войне наша республика будет растерзана». Эти слова были не только гениальным пророчеством проницательного ума, сумевшего разглядеть скрытое за завесой будущее. Это было и ощущение духа современности, точным восприятием основного направления исторического развития.

В центре внимания писателей и поэтов была, естественно, не только общественно-историческая тематика. Литература откликалась на самые разные стороны бытия, ее тематический спектр был достаточно широк и разнообразен. Тема социальной справедливости становится ведущей. Нельзя сказать, что в чешской литературе не было до этого обращений к жизни рабочего класса, к социальной тематике. В социал-демократических газетах и в семейных календарях для рабочих печаталось немало продукции с «социальной» тематикой. Известно, как Я. Гашек пародировал такую литературу, где социальный переворот изображался как чудо, как обманчивая иллюзия. В этой продукции пролетариат, не имея перед собой никакой революционной перспективы, только и делал, что сетовал, терпел лишения, стонал, но при этом бездействовал. «Сплошные тяготы жизни, сплошные слезы, — писал Гашек, — сплошное хныканье — и это читается преимущественно рабочими! Такая литература воспитывает из них плаксивых баб, единственное утешение которых — воспоминания, слабая надежда на то, что когда-нибудь все же настанет какая-то заря. А покамест их жены, по словам тех же поэтов, „дают миру новых рабов…“»

«Час рождения» И. Волькера — это не только рассказ о тяжелом положении рабочего в буржуазном обществ, но и призыв к революционному преобразованию мира. «Мадонна рабочего квартара» Й. Горы — это уверенность поэта в том, что единение людей труда, пролетарская революция — залог будущей справедливости. Пролетарские писатели и поэты чутко прислушивались к подземным толчкам нарастающего народного гнева, видели в рабочем классе силу, способную осуществить мечту о лучшем, более совершенном и справедливом общественном порядке. И как бы внезапное восхождение на литературном горизонте целого созвездия талантов возвещало о вступлении в борьбу могучих сил, представлявших по-разному все оттенки передовой общественной мысли того времени.

* * *

В 1923 году Фучик знакомится со студенткой Высшей коммерческой школы в Праге Густиной Кодержичевой.

«Я сильно сомневалась в том, — вспоминает Густа, — что этот совсем молодой человек мог быть театральным критиком, просто придумал, чтобы показаться интересным. И одет он был в светлый костюм, на ногах — сандалии. Театральные критики — солидные господа и, конечно, в черном… Да и комнатка его совсем не похожа на ту, в которой мог бы жить хоть сколько-нибудь выдающийся человек. Два маленьких окна, словно близко посаженные глаза, вид на железнодорожную насыпь, крашеный пол, нет даже крошечного коврика. В одном углу — изразцовая печка, в другом — умывальник, между окнами — столик с вазочкой, несколько книг. Платяной шкаф, кровать, два стула, на стене репродукция. И все. Никакой библиотеки, которая говорила бы о том, что здесь живет пишущий человек».

Из всех студенческих друзей Юлиусу ближе всех Иван Секанина — близкий друг Иржи Волькера, большой весельчак, любитель попеть народные песни и поиграть на гитаре в кругу друзей-студентов. Весной 1923 года он привел Фучика в редакцию прогрессивного журнала «Социалист» и познакомил его с редактором Властимилом Бореком, с которым Юлиус быстро подружился. У Борека часто собирались прогрессивные студенты, литераторы, левые политические деятели. Душой этой компании был хозяин, сравнительно молодой человек, но с политической биографией, насыщенной важными событиями, крутыми поворотами. Начинал Борек политическую деятельность в составе анархистских групп, активно выступавших в предвоенные годы

против милитаризма. За участие в антивоенных демонстрациях его неоднократно арестовывали. После образования Чехословацкой республики он стал главным редактором газеты «Ческе слово» («Чешское слово») — органа Чехословацкой социалистической партии. В 1923 году анархист Шоупал совершил покушение на министра финансов Алоиса Рашина. Воспользовавшись этим, буржуазия провела в парламенте «Закон об охране республики» как орудие для борьбы против «коммунистической опасности». Группа депутатов, членов Чехословацкой социалистической партии, выступила в парламенте против этого закона. Их поддержал главный редактор «Ческе слово». Всех их исключили из партии, и они основали с марта 1923 года журнал оппозиции социалистической партии «Социалист». Идейно-политическая платформа журнала была близка коммунистам, и в 1925 году эта группа бывших социалистов вошла в КПЧ.

Бореки жили в только что отстроенной вилле в фешенебельном районе Праги на Виноградах, и Фучик в сентябре 1924 года снял у них комнату. Полуподвальное помещение с окнами в сад надолго стало его убежищем. Юлиус поселился вместе с Марией Ваничковой. Родители Марии не должны были об этом знать, но Юлек поделился замыслом с той, кому он доверял во всех важных делах, — с матерью. Он писал Ваничковой: «Я рассказал о нашем решении маме. Она пришла в ужас. Но она верит в мою разумность и порядочность. Вот, видно, в чем разница между „моими“ и „твоими“. Думаю, что „твои“ считают тебя неразумной…» Молодые люди руководствовались собственными моральными принципами и чувствами, считали официальный брак мещанским предрассудком. В этом в то время не было ничего необычного. К тому же, думали они, разве не моя? ет добровольный, свободный союз двух любящих людей быть более чистым, благородным и романтическим, чем супружество, освященное формальностями и условностями официального брака? На этой квартире они жили до конца двадцатых годов, здесь Фучик начал старательно собирать многотомную прекрасную библиотеку, тратя почти все свои сбережения. «Социалист» был первым журналом, платившим Фучику гонорары за статьи. Писал Юлиус рецензии на пьесы и книги.

Летом 1923 года Фучик публикует в «Социалисте» две статьи по вопросам литературы и искусства: «Около театра» и «Реакция газетно-журнальная, проистекающая от глупости, подлости и ничтожества». В них он обрушивается на все, что тормозит развитие культуры. Он бичует реакционную культуру как «культуру» в кавычках, в которой заинтересованы и буржуазные

политики, и литературные ремесленники, и призывает вести борьбу не только против политической реакции, но и против серости в искусстве, которая калечит, по его мнению, даже самую передовую живую мысль, против ремесленничества и подхалимства, которые убивают и развращают культуру.

Все, кто знал Фучика, отмечали, что у него не было расхождений в высказываниях в кругу друзей, в кулуарах театра, редакции и на страницах печати. Принимая приглашения от различных газет и журналов, он руководствовался одним: сможет ли он свободно излагать свои взгляды? Он был еще студентом первых курсов, когда ему в 1924 году было сделано выгодное предложение от пльзенского журнала «Прамен». Многие на его месте не преминули бы воспользоваться заманчивым предложением, но Фучик подумал прежде всего о том, не будут ли от него требовать того, что противоречит его марксистским взглядам. В письме от 16 сентября 1924 года он пишет: «Редактор „Прамена“ Вахек попросил меня написать для второго номера статью о пьесах, которые игрались в минувшем сезоне пражскими театрами… Он пишет, что был бы очень рад, если бы я давал в „Прамен“ рецензии на постановки хотя бы одного пражского театра, и что, вероятно, еще об одном будет писать Фишер… Я, конечно, не бросился ему на шею, а прежде всего спросил, насколько я буду свободен в суждениях. Он ответил, что для начала так процентов на пятьдесят. Мол, читатели привыкли к „Прамену“, в достаточной мере консервативному, и поэтому его нельзя сразу превратить в стопроцентный радикально-прогрессивный журнал. Короче говоря, каждое слово выдавало в нем умеренного социал-демократа. Это могло оказаться камнем преткновения. Я написал ему, что не могу стеснять себя, что хотя я и буду помнить о том, что не все мои читатели коммунисты, однако не забуду и того, что сам я коммунист».

Осенью 1925 года выходит первый номер «журнала для студентов и рабочих» — «Авангард». В состав редколлегии входили Шверма, Фучик, Секанина, Клементис, Вайскопф, Анчик и еще два-три члена Костуфры — Коммунистической студенческой фракции. Журнал смелый, по-студенчески боевой. На его страницах печатались статьи о марксизме и задачах интеллигенции, подвергались критике реакционеры от науки и культуры, отдельные члены «Деветсила», которые отходили в своем творчестве от идей коммунизма. Полный революционного энтузиазма, журнал был так же беден, как и все революционные журналы республики. Ему с трудом удавалось достать деньги на бумагу и типографию. О гонорарах не могло быть и речи. Редакционного помещения не было, и друзья собирались в

Страковой студенческой академии. Фучик приходил сюда с Ваничковой. Один из них, официант и литератор Здена Анчик, написал шуточные куплеты:

Прямоугольник комнаты. Букет белых столов.
Вместе уселись влюбленные и друзья. Полдень. Голод.
Глядят из-за столов просящие глаза,
Тут приказывают, там нервно ругаются,
Этот взгляд — уверенный, этот — нетерпеливый
и настороженный…

Юлеку — суп, а тебе — мороженое, Ваня?
Альдик сегодня обедает… Откуда у него деньги?
Павле нужен прибор. Сейчас. Подожди минутку. Ладно?

Так, как я служу вам,
Я хотел бы служить всем людям.
Другого пока не умею.
Все, что умею, — сделаю, все, что должен, отдам.
Я хотел быть поэтом,
Потому и служу в кафетерии этом!

Члены редколлегии взяли на себя функции распространителей журнала, и не раз можно было видеть их у входа в академию или в Дом студентов, предлагающих «Авангард» читателям, Фучик написал за год пять статей, все — о литературе. Пока что он еще не касался политики и писал о том, что знал лучше всего, в чем чувствовал себя уверенно. У него уже значительный опыт журналистской работы.

После политических потрясений и экономических кризисов процесс стабилизации капитализма в Чехословакии в 1923–1924 годах сопровождался наступлением политической реакции. Обескровленное тяжелыми поражениями, рабочее движение медленно, с трудом собирало силы. Социал-демократы изо всех сил стремились идейно разоружить пролетариат, увести его с пути классовой борьбы. Молодая компартия переживает кризис: правые оппортунисты тянут ее назад, в лоно социал-демократии, а группа, подверженная «детской болезни левизны», тянет ее на путь политического сектантства. Молодая революционная литература на перепутье. Вместе со спадом революционного рабочего движения отступает волна революционной поэзии. Душевное смятение, пессимизм проникают в стихи многих поэтов. Участились случаи ренегатства. Оно становится чем-то вроде «духа времени» в литературной жизни. Франтишек Галас,

недавно прославлявший революцию, выступил со стихами о том, что «пушки Октября» заржавели.

Со спадом революционной волны начинает деградировать «Деветсил». Отдельные его члены все больше отходят от идей пролетарского искусства. Вначале модным, а затем главенствующим литературным течением становится «Поэтизм» — эксцентричное авангардистское течение, проповедующее экспериментаторство в области формы. Златоусты поэтизма, особенно Тейге, блистая филологической эрудицией, стали толковать только о том, что самая страшная опасность для искусства — это возврат к реализму и омертвление в догматизме, что поэзия требует соответственного уточнения и преображения самого поэта и его места в жизни. Они очутились как бы в плену своей ложной теории, в которой очень сузили назначение и возможности поэзии, оставляя идеологическую борьбу для других сфер духовной деятельности (политика, публицистика), которыми они сами же порой одновременно занимались. Они увлекались эстетическим «эпикуреизмом», оказались в своем поэтическом творчестве в опасной близости с «чистой» поэзией. При всей своей внутренней разноголосице и частью видимых, частью скрытых противоречий поэтизм отходил от традиций пролетарской поэзии начала 20-х годов, делал уступки развлекательному искусству. Это не оставалось не замеченным в буржуазном лагере, где пресса охарактеризовала поэтизм как «путь поколения от революции к водяным лилиям», как «искусство сидеть на двух стульях, марксистском и индивидуалистическом». Фучик называл такие оценки поэтизма «твердокаменно-филистерскими», хотя нельзя не отметить, что среди буржуазных критиков были люди, занимавшие реакционные идеологические позиции, но не лишенные литературной эрудиции.

В 1924 году революционная литература понесла тяжелую утрату — умер Иржи Волькер. Ему было только двадцать четыре года. Острая дискуссия о его творческом наследии отразила напряженную идеологическую борьбу на литературном фронте, вскрыла серьезные разногласия, назревшие в среде левой интеллигенции. Ровно через год после смерти поэта в брненском журнале «Пасмо» («Нить») появилась анонимная статья с вызывающим названием «Хватит с нас Волькера!». Статья утверждала, что Волькер вовсе не является новатором, прокладывающим новые пути развития поэзии. Он замыкает собою принадлежащее прошлому и исчерпавшее себя направление «тенденциозных поэтов», это был, в сущности, «плохой поэт», не сумевший создать что-либо новое в области

художественной формы. Вдохновителями статьи считали поэта Франтишека Галаса и критика Бедржиха Вацлавека, бывших соратников Волькера по «Деветсилу». Сразу же после ее появления в печати, словно по сигналу, буржуазная пресса поднялась против наследия умершего поэта. Одни осуждали автора «Часа рождения» за то, что он будто бы был близок декадентам, другие — за то, что он был от них очень далек. Левацкая «пролеткультовская» критика заявляла, что он был слишком буржуазен для того, чтобы стать пролетарским поэтом, а критики из декадентского лагеря кричали, что он был недостаточно буржуазен для подлинного художника. В напряженной атмосфере усиления политической реакции и активизации всяческих буржуазных течений и группировок в области культуры идейное значение похода, начатого журналом «Пасмо» против Волькера, выходило далеко за границы литературных споров. Это была борьба против революционного пути развития литературы, против принципов зарождавшегося в Чехословакии социалистического реализма. Недавно еще близкие Волькеру поэты Сейферт и Библ отмалчивались. Хранил молчание и Тейге. Его молчание поощряло противников Волькера и парализовало его недостаточно устойчивых, колеблющихся друзей. Против тайных и явных врагов поэта выступили С.К. Нейман и Неедлы. Вместе с ними на защиту традиций революционной поэзии выступил Фучик.

Темпераментная статья Фучика «Ликвидация „Культа“ Волькера» была напечатана в журнале «Авангард» и стала его лучшим критическим выступлением тех лет. Она выделялась тонким анализом сложных процессов литературной жизни, широтой и смелостью обобщений, полемическим блеском, характерным для его зрелой критической деятельности. «Не читайте Волькера, который не принадлежит вам, — обращается он к буржуазному обществу. — Почитайте лучше Незвала, который ваш. Читайте Сейферта, который перешел к вам. Читайте „Пасмо“, „Диск“ и „Пражские сатурналие“ (деветсиловские журналы. — *В. Ф.*)». На этот период приходится мучительный поиск Фучиком своего места в литературной среде, где произошла перестановка сил. «Деветсил» перешел на позиции поэтизма.

На какое-то время Юлиус попадает в магнетическое поле поэтизма. В еженедельнике «Нова свобода» («Новая свобода») Шальда дал весьма лестные оценки поэтизму, трактуя его не как уход от жизни, а, напротив, путь к ней. Мнение Шальды было дорого, ведь именно он боролся за признание поэзии Волькера. Но главное, что повлияло на решение Фучика вступить в 1926

году в «Деветсил», было творчество таких талантливых представителей поэтизма, как Незвал, Библ, Сейферт, Конрад, которое обогащало воображение и чувства людей, дарило радость. Фучик видел, что сквозь пеструю ветошь манифестов и деклараций, сквозь мимолетные лозунги проступало главное — само развитие литературы и искусства, не желавших считаться с односторонними положениями тех или иных теорий и критиков. Дело было не в принадлежности к определенной группировке, а в отношении к жизни, новой действительности. Его симпатии вызывали смелые эксперименты в области формы — метафоричность, ассоциативность, звуковая инструментовка стиха, сближение, как ему казалось, поэзии и журналистики.

У разных представителей поэтизма результаты переоценки старого и поисков нового были разные: одни искатели в своих творческих поисках, освобождаясь от того, что потеряло соль и цену, и мечтая об обновлении форм познания, культуры, искусства, преодолевая собственные заблуждения, сумели связать свои художественные искания с задачами реальной борьбы за новую жизнь, за революционное пересоздание мира. Другим этого было не дано, и в этом была их трагедия. Она предопределила судьбы некоторых даже высокообразованных и одаренных людей, достойных лучшей участи, нежели та, что их постигла. Это видно на примере лидера «Деветсила» Карела Тейге. Он все более и более нигилистически относился к национальному и мировому культурному наследию, считал его устаревшим хламом, теряя почву под ногами, уходя все дальше и дальше от жизни народа. В 30-е годы он скатился на позиции троцкизма и антисоветизма.

Влияние поэтизма сказывалось какое-то время на творчестве Фучика: в ряде его театральных рецензий появились тенденции теоретизирования, отрицания классического наследия, однако он не стал ортодоксальным сторонником поэтизма. Трезвый взгляд на вещи толкал его уйти от безжизненных теорий и бездейственного созерцания, не останавливаясь перед своего рода переоценкой только что приобретенных ценностей. И после вступления в «Деветсил» он продолжал писать статьи для журнала «Авангард», который был известен своим критическим отношением к поэтизму. Малейшую возможность он использует для того, чтобы высказать свои симпатии и верность реалистическому направлению.

Журналистское крещение Фучик получил в 1926 году, когда Клуб современных издателей «Кмен» («Клуб модэрних накладателу». — *В. Ф.*) решил выпускать одноименный журнал. Журнал «Кмен» был задуман как рекламное литературно-критическое обозрение отечественных и зарубежных книг,

готовящихся к изданию членами товарищества, в которое входили 26 издателей, в основном некоммунисты, и на него возлагались серьезные коммерческие надежды. Один из издателей, Карел Янский, понимал, что для процветания журнала, успеха дела прежде всего нужен талантливый редактор, и предложил на это место Фучика. Единственным препятствием были политические убеждения будущего главного редактора, но работодатели рассчитывали, что на этой должности молодой коммунист Фучик изменит свои убеждения. Не раз случалось, когда молодой студент, полный революционного пыла, постепенно утрачивал его, как только открывалась возможность приобрести «тепленькое местечко». А «Кмен» открывал для него многообещающее материальное обеспечение.

Лестное предложение Фучик принял со сложным чувством; наконец-то он станет у руля солидного журнала, но какова будет его направленность? Дадут ли ему возможность осуществить задуманное?

Действовал он изобретательно и гибко, не вступая в конфликты с издателями, но и не идя на компромиссы со своей совестью. Главное для него — пропаганда хорошей современной книги, информация о событиях, имеющих непреходящее значение. При этом он руководствовался тем тонким и верным чутьем правды и красоты, которого почти ничем не заменишь. Он чувствовал, как расширяются его познания литературного мира того времени, как накапливается опыт журналиста и литературного критика. Широкий резонанс вызвали его рецензия на роман Марии Майеровой «Лучший из миров», статья «Шестидесятилетие Петра Безруча» и материалы к пятидесятилетию Елены Малиржовой и другие.

Подбирая авторов, Фучик отдавал предпочтение писателям, поэтам и критикам из «Деветсила», привлек к сотрудничеству в «Кмене» Константина Библа, Витезслава Незвала, Курта Конрада, Марию Майорову, профессоров Неедлы, Шальду.

Фучик сумел превратить «Кмен» в серьезный информационно-литературный журнал, на тридцати двух страницах которого выступали передовые деятели чешской литературы 20-х годов. Уже в первом его номере Йозеф Гора писал о Карле Томане, Йозеф Чапек — о юмористической повести Ванчуры «Причуды лета», А.М. Пиша — о романе Горы «Голодный год».

Фучик ввел обширный раздел, посвященный культурной жизни за рубежом. В этой рубрике писали тринадцать человек, один моложе другого. Им было по двадцать лот, а самому старшему двадцать шесть лет. Здесь постоянно были

представлены сообщения из Советского Союза, статьи Фучика о влиянии Великой Октябрьской социалистической революции на чешскую культуру и искусство.

С большим душевным подъемом он — самый молодой из коллектива авторов — включился в работу по подготовке юбилейного сборника объемом около 600 страниц «Десять лет диктатуры пролетариата». Статья «Октябрь и чешская литература» писалась под глубоким впечатлением от пребывания Владимира Маяковского в Праге. Для Фучика это был незабываемый день…

Маяковский приехал в Прагу по приглашению Общества культурного и экономического сближения с новой Россией. 26 апреля 1927 года в большом зале Народного дома на Виноградах, рассчитанном на тысячу мест, состоялось выступление, о котором долго говорили пражане как о большом событии в жизни города.

Фучик знал наизусть многие стихотворения поэта, но, когда Маяковский начал читать свои стихи, у него захватило дух от неожиданности. Выйдя на сцену сбоку и сделав строевой шаг с левой ноги вперед, Маяковский громко сказал, словно подавая самому себе команду:

— Раз-з-з!

Но это не был счет шагов, а первый слог его знаменитого «Левого марша»:

«Раз-ворачивайтесь в марше! Словесной не место кляузе. Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер».

Это была его программная вещь, и он с особой силой чеканил ее твердый революционный ритм, точно гвозди вколачивал в голые доски сцены:

«Левой! Левой! Левой!»

Потом он прочитал отрывки из поэмы «150 000 000».

Фучик был ошеломлен. Ему казалось, что русский язык — это язык колоколов. И вот эти колокола зазвучали из уст этого великана и разбушевались с особым неистовством в замкнутом, хотя и огромном, набитом до отказа, зале. Для этого поэта и для его голоса любое пространство было мало. Слова стали металлом, слова стали приказами, песнями. Они громыхали маршем, гремели орудийными залпами:

Мы
Эдисоны
невиданных взлетов,
энергий
и светов.
Но главное в нас, —

и это
ничем не заслонится, —
главное в нас —
это наша
Страна Советов,
советская воля,
советское знамя,
советское солнце.

Слова гремели как кузнечный цех, как фабрика, как орган, стеклянные подвески на тонких люстрах дрожали и дребезжали. Овациям не было конца, Фучик сказал своим друзьям:

— Именно таким я себе и представлял революционного поэта!

В своей статье, написанной к 10-й годовщине Октября, он пишет: «Отношение к русской революции является для нас мерилом силы личности и ее способности трудиться в современном мире».

Деятельность Фучика стала для реакционеров бельмом в глазу, и они подняли тревогу. Первым выступил редактор реакционной газеты «Народны листы» Мирослав Рутте. Он обрушился на «Кмен», обвинив его в «трактирном юморе» и, что более важно, в «коммунистической тенденции, которая вырисовывается все яснее благодаря деятельности его редактора». Рутте подсчитал, что «примерно треть всего текста либо посвящена коммунистам, либо написана коммунистами», и, естественно, к этому «общество не может остаться безразличным».

Это был открытый вызов, и Фучик не только принимает его, но и подливает масла в огонь: «Господин Рутте думает, что к сотрудничеству в журнале я привлекаю только коммунистов. Он в этом ошибается. Я выбираю сотрудников в той мере, какой имею возможность выбирать, — не по их политическим убеждениям, а по степени их таланта. И господин Рутте не является сотрудником „Кмена“ не потому, что он национальный демократ…»

Работать стало значительно сложнее. После полемики с Рутте он чувствует себя в «Кмене» все более несвободно, все более неуютно.

В 1928 году к 100-летию со дня рождения Л. Н. Толстого Юлиус подготовил для печати материалы о его творчестве: отобрал несколько ленинских статей о Толстом, тогда еще не переведенных, отрывки из воспоминаний друзей В. И. Ленина о его отношении к Толстому. Получилась интересная книга, к

которой Фучик написал предисловие и подробные комментарии. Она была напечатана в «Малой библиотеке ленинизма», выпускавшейся Коммунистическим издательством в Праге. Знакомство с трудами В. И. Ленина, его оценкой наследия Толстого, методологией анализа кричащих противоречий мировоззрения и творчества великого писателя имело для Фучика, как он сам об этом не раз говорил, неоценимое значение. Ленин не отделял Толстого-художника от Толстого-мыслителя, не противопоставлял и не сталкивал их. В кричащих противоречиях Толстого он видел отражение реальных противоречий эпохи подготовки народной революции в России. В последующей литературно-критической деятельности Фучик будет руководствоваться ленинским положением о том, что «исторические заслуги судятся не потому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно со своими предшественниками».

Шире становится круг интересов и тем Фучика. Он не ограничивается работой в «Кмене», рецензиями на книги и театральные постановки, начинает выступать как политический публицист.

В октябре 1928 года в Праге стоял солнечный осенний день. В центре города по шумному перекрестку на Поржичи струился поток пешеходов, машин и трамваев. За оградой строительства высотной гостиницы «Центрум» на углу Бискупской улицы шумели бетономешалки.

Вдруг раздался странный, непонятный звук.

На перекрестке в несколько секунд образовалось вавилонское столпотворение, грохот мешалок и гул строительства разом смолкают. Там, где еще минуту назад высилось семиэтажное бетонное здание, — лишь груда кирпича, железа и дерева в сером облаке пыли.

Паника. Испуганные крики. Проходит минута, вторая — и улица оглашается ревом клаксонов. Пожарные, полиция, врачи, солдаты. Начинаются спасательные работы. Вскоре откапывают первый обезображенный труп.

За ним второй, третий, десятый… У Фучика редкое качество всегда быть первым на месте происшествия, на какое-то время опережать других. И сейчас он первый среди журналистов на месте катастрофы. Он ежедневно приходил на место катастрофы, наблюдал за спасательными работами, расспрашивал свидетелей… Газета «Руды вечерник» («Красная вечерняя газета») вышла с документальными фотографиями и подробным

сообщением о катастрофе и ее причинах — «экономности» господина строителя Якеша, о недостатке цемента в растворе, «рационализации» труда наизнанку. Через несколько дней Фучик написал репортаж под названием «Сорок шесть. Повествование репортера из истории капитализма в 1928 году» и опубликовал его в журнале «Рефлектор» («Прожектор»).

«Наивные парии!

Ради спасания товарищей вы сгибались под тяжестью бетонных плит, падали от усталости, калечили себя в руинах и плакали, когда ваша помощь была отвергнута. Вы не смогли сказать жене рабочего, которая в отчаянии разыскивала среди развалин своего мужа, что его уже давно отвезли в морг, вы молчали, чтобы не лишить отваги тех, кто вам помогал. О, как вы были наивны, вы все, думая, что под кошмарными развалинами дома остались только ваши товарищи!

Нет! Под ними еще остались миллионы, принадлежащие якешам, пражакам, моравцам, уграм, фабрикантам и банкирам, и необходимо было прежде всего спасти эти миллионы…

Двенадцать хмурых осенних дней, двенадцать ночей, пронизанных лучами прожекторов, прошли грустной процессией над гигантской поржичской могилой.

Теперь она уже огорожена деревянным забором, за которым „могильщики“ спешно спасают уцелевшие кирпичи и доски пана Якеша. Экономия прежде всего!

Сколько убитых? Полиция говорит — сорок шесть.

Неподалеку от забора ходит простая деревенская женщина. Черный платок, черная кофта. Женщина больше не плачет и с отчаянным упорством ждет своего мужа, который не вернулся и „не был найден“. Сторожа гонят ее прочь. Приближаться к загородке — большому деревянному гробу — нельзя.

Следы катастрофы ликвидированы. На Бискупской улице за дощатым забором высятся груды спасенных кирпичей. Несчастная женщина бессильна перед законом: „Посторонним вход воспрещен!“

Рядом, в полицейском участке, лежат мертвые…

Сорок шесть…

Так говорят.

Девятерых рабочих хоронили в Праге. Девятнадцать — в предместье. Многолюдные похороны. Демонстрация! Красные знамена, призывы к мести, свист полицейских дубинок».

Похороны погибших, в которых приняло участие около 100 тысяч пражских рабочих, вылились в мощную демонстрацию пролетариата.

Капиталистическая рационализация производства усилила дифференциацию в рабочем классе. Внедрение новой техники и форм организации труда увеличивало прослойку высококвалифицированных рабочих и технического персонала. В этих слоях, получавших сравнительно высокую зарплату, усилилось влияние реформистских лидеров, заявлявших, что забастовки и другие формы классовой борьбы теперь являются пережитком. Они требовали, чтобы спорные вопросы между рабочими и предпринимателями решались путем переговоров в «надклассовых» государственных органах. Их новейший лозунг: «Не Маркс, а Батя!», они внушают рабочим, что у тех сейчас общие интересы с хозяевами. В этих условиях правительство, возглавляемое лидером аграрной партии Швеглой, усилило антидемократический курс.

Антонин Швегла был один из наиболее изворотливых политиков чешской буржуазии, опасным противником революционного движения и рабочего класса. На фоне цветистых демагогов, дипломированных юристов, к которым относилось большинство чешских буржуазных деятелей, он, с неотесанными манерами, внешностью деревенского прасола, суконно-бюрократическим языком, выглядел весьма непритязательно. Однако за ним была репутация мастера политического лавирования и интриг. Под его руководством правительство целеустремленно и настойчиво проводило курс на ликвидацию социальных завоеваний трудящихся и ограничение буржуазно-демократических свобод, укрепление армии, других органов государственногоаппаратаугнетения. Инспирированные антикоммунистические процессы, полицейские налеты на секретариаты коммунистических организаций вошли в практику. Мелкобуржуазные партии развернули кампанию с целью спровоцировать «движение», которое потребовало бы роспуска КПЧ. Перед выборами в Национальное собрание (парламент. — *В. Ф.*) в ноябре 1928 года правительство закрыло на месяц все коммунистические газеты и журналы. В это трудное для партии время Фучика осенила блестящая идея.

— Есть люди, которые близки нам, но им мешает созерцательность натуры или политическая инертность, — говорит друзьям Фучик.

— Что же ты предлагаешь?

— Нужно дать им заряд активности. Протянуть руку. Важен первый правильный шаг.

Даже его друзьям его идея казалась или слишком «дерзкой», или неосуществимой. Фучик решил просить Шальду предоставить его «Творбу» («Творчество») в распоряжение коммунистической

партии. Чтобы высший судья чешской литературы, университетский профессор отдал свой журнал коммунистам, да еще в момент, когда их печать запрещена? Дать им возможность вести предвыборную кампанию? Никто не верил в успех затеи Фучика, но он знал своего учителя, его редкостное чувство справедливости.

В квартире-кабинете Шальды с огромным количеством книжных полок Фучик стал излагать свою просьбу. Обычно Шальда любил слушать его, спорить с ним, но сегодня у профессора был серьезный и строгий вид, а глубокая складка на переносице орлиного носа не предвещала ничего хорошего. Возраст учителя и ученика определялся одними цифрами, но в разном сочетании: Шальде шел шестьдесят второй год, Фучику — двадцать шестой. Учитель был критиком-гражданином, ученик — критиком-коммунистом: как многое их связывало, и как многое разделяло… В 1927 году Шальда пригласил Фучика в качестве соредактора «Творбы», нового журнала по проблемам критики и искусства, основанного, год назад. Крупнейший из чешских критиков, человек очень взыскательный, увидел в юноше одаренного литературного критика, как увидел он в свое время в С.К. Неймане поэта «грандиозной, чистой мечты». Шальда обратил внимание на своего самого способного ученика еще раньше, в 1926 году, когда предложил ему писать для «Творбы». Фучик написал довольно пространную статью о комедиях Шальды «Поход против смерти» и «Ребенок». Последняя пьеса была принята весьма противоречиво. Буржуазная критика обвинила автора в том, что он «заигрывает с левыми», что он написал якобы натуралистическую пьесу на актуальную тему абортов, при этом даже не разобравшись в теории наследственности.

Фучик в своей статье отверг все нелепые обвинения в адрес автора. В то же время, когда многие полагали, что ученик напишет портрет писателя, не пожалев розовых красок, ведь речь идет о том, кого Фучик глубоко и искренне почитает, о его учителе, и, наконец, главном редакторе и владельце журнала, Юлиус сделал вывод о том, что произведения Шальды «не достигают уровня Шальды». Учитель не обиделся, ему, видимо, импонировала смелость, самостоятельность суждений, искренность ученика. Он был человеком широких взглядов и не прощал только одного — бесплодия мысли. В это время он помог ему съездить во Францию. Военное ведомство отказывалось пустить Фучика за границу, так как он еще не отслужил в армии, но после вмешательства Шальды ему удалось получить заграничный паспорт. Вернувшись на родину, Фучик написал

увлекательный очерк о борьбе французских рабочих, который был опубликован в коммунистическом журнале «Рефлектор»…

Затянувшееся молчание нарушил Шальда:

— Ладно, — вымолвил он наконец. — Допустим, я соглашусь. Но я должен остаться владельцем и ответственным редактором «Творбы» — иначе журнал сразу же запретят.

— Это верно, — ответил Фучик.

— Но вы ведь захотите, чтоб я не вмешивался в дела журнала, так? Вы будете печатать то, что угодно вам, А преследовать будут меня и арестуют меня, так?

— Может случиться и так. Наступило тягостное молчание.

— А знаете, — сказал вдруг Шальда, — именно поэтому я так и поступлю. Я еще не слышал, чтобы арестовали университетского профессора, надо бы попробовать. Я дам вам «Творбу». Но при одном условии: чтобы вы, Фучик, были редактором. Меня же означьте как издателя.

Так за четыре недели до выборов КПЧ приобрела еженедельник, поручив Фучику возглавить его.

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Мы родились под бури грохотанье,
К великой цели пламенно стремясь,
Проходим шаг за шагом испытанья,
Лишь пред своим народом преклонясь.

Ян Неруда

4 ноября 1928 года должен выйти первый номер «Творбы», теперь уже «еженедельника по вопросам литературы, политики и искусства». Первый номер собирался с быстротой невероятной… Теперь Фучик весь в журнальных делах: шутка ли — подготовить за пару дней номер, от которого во многом будет зависеть, возможно, судьба всего начинания и его личная! В обращении от редакции Фучик подчеркнул, что «Творба» должна быть мостом между интеллигенцией левой ориентации и рабочим классом. «Мы не создаем новый журнал. Мы преобразовываем газету, основанную Ф. Кс. Шальдой, в такой рабочий еженедельник по вопросам культуры, чтобы продемонстрировать тесную взаимозависимость обоих лагерей и связь обоих фронтов».

И по содержанию и по оформлению журнал не был похож на своих предшественников. Почти весь первый номер был посвящен годовщине Великого Октября. Авторами статей были его друзья, сотрудничавшие в «Кмене», и редакторы запрещенных газет «Руде право» и «Руды вечерник». На титульном листе второго — протест пяти крупнейших деятелей чешской науки и литературы: З. Неедлы, Ф. Крейчи, Ф. Шальды, А. Сташека, Й. Махара — против ограничения свободы печати. Символично, что протест появился спустя всего несколько дней после того, как пышно отмечалось десятилетие Чехословацкой республики.

«Второе десятилетие своего господства, — говорилось в нем, — наше правящее общество начало печальной акцией: закрытием неугодных ему журналов. К сожалению, это не случайность, а проявление системы, духа реакции, позорнее и опаснее которой еще не знала чешская культура… Мы пережили страшные годы старой австрийской монархии. Но даже она никогда не решалась так угнетать нашу духовную жизнь, как это

делается сейчас в Чехословацкой республике. Австрийская цензура была способна на многое, но только чехословацкая смогла запретить произведения Неруды, Врхлицкого и даже Микулаша Алеша!

Делается это под предлогом борьбы с социализмом и коммунизмом. В действительности же это прежде всего трусливое отступление мещанства с позиций элементарного либерализма прошлого столетия…»

Статья наделала много шуму и горячо обсуждалась в разных уголках страны. Шутка ли сказать: порядки в «свободной» и «гуманной» республике сравнивают с порядками в ненавистной в недалеком прошлом Австро-Венгрии. И кто это делает? Ладно бы коммунисты — от них всего можно ожидать. И буржуазия и «непартийная» печать в растерянности: надо как-то реагировать, как-то заглушить протест, критику, обвинения, но как это сделать? Не причислить же всех пятерых к коммунистам? Наконец буржуазная пресса нашла выход и обвинила их в том, что они «защищают коммунистов», и в том, что они подписали документ в «нетрезвом виде», не зная, что им подсунули. Разразился скандал. Пять деятелей науки и культуры возмутились цинизмом и политическим ханжеством буржуазной печати. Они заявили на страницах «Творбы», что защищают не коммунистов, а свободу печати, то есть одно из основных положений Конституции Чехословацкой республики. «Двум коммунистическим газетам („Творбе“ и „Рефлектор“. — *В. Ф.*), — писала они, — противостоят пятьдесят газет их противников — официозов и полуофициозов, газет аграрной партии, национально-демократической, социалистической, газет клерикальных… Неужели же такая когорта не в силах защитить нынешнее государство от двух коммунистических газет? Неужели же и в самом деле два этих издания сильнее всех остальных, вместе взятых?»

Фучик недолго был в качестве главного редактора двух журналов. Теперь работа в «Творбе» захватила его целиком, и для «Кмена» у него не оставалось времени. К тому же после полемики с Рутте издатели все больше связывали ему руки, опасаясь, что в такое время, когда по всему фронту идет наступление реакции на коммунистическую печать, снова появятся обвинения журнала в «коммунистической тенденции». Много терпения и настойчивости пришлось проявить ему, чтобы перед уходом из журнала уговорить его издателей опубликовать статью «Прощание с „Кменом“.

„Этим номером я заканчиваю свою редакторскую работу в „Кмене“. Приступая к руководству „Кменом“, я представлял себе

журнал информационного типа, имеющий прочную основу, издательский характер которого проявлялся бы в самой общей форме: в пропаганде хорошей современной книги… Я не столь скромен, чтобы не видеть, что „Кмен“ частично выполнил эту программу. Выполнил в такой мере, что можно было видеть, какие цели он перед собой ставит. Но было несколько причин, в силу которых „Кмен“ не вышел за рамки обычной ординарности. Эти причины заключались не только в издательской технике, но и обусловливались внешними факторами. Но как бы это ни толковали, ординарность остается ординарностью. С этим нельзя долго мириться без ущерба делу. Поэтому я отказался от редактирования журнала, которое осуществлял с большим желанием и любовью, хотя и не вполне свободно“.

Уходя, он не мог не хлопнуть дверью. „Уходя с этой работы, хотел бы поблагодарить всех сотрудников, авторов, наборщиков, читателей журнала. Выражаю свою благодарность также господину Рутте и господам Веселому и Новаку, газетам „Вечер“, „Лидове листи“, „Народ“ и т. д. Своими нравоучениями о том, что „тот, кто платит, тот и заказывает музыку“, вы дали мне богатый материал для изучения вопроса о „независимости“ буржуазной литературы и „свободе“ слова при капитализме“. Статья Фучика была расценена как политическое выступление, острое, хотя и вежливое. На этот период падают и личные неурядицы, разлад е Марией. Одаренная, умная, не без пристрастия к изысканности, Ваничкова привыкла быть средоточием внимания окружающих, и ей хотелось сделать Юлиуса блестящим, преуспевающим, заметным.

— Все твои таланты, Юлек, тянут тебя в разные стороны. Ты распыляешься и ничего не достигнешь, — все чаще и чаще говорила она Фучику.

Ему больно было осознавать, что Мария могла одно время примыкать к революционному студенчеству и даже выступать с точки зрения „ортодоксального марксизма“, но все это оказывалось лишь увлечением, хотя и делалось вполне искренне и, с желанием. Устал он слушать от нее разговоры о „самоусовершенствовании“, красивые, но пустые слова о демократии, свободе, равенстве.

— Да пойми же ты наконец, — перебивал ее Юлиус. — Мы умеем красиво мечтать о том, как хороша будет жизнь через сто лет, и никому не приходит в голову простой вопрос: да кто же сделает ее хорошей, если мы будем только мечтать? Я хочу еще немного посражаться, прежде чем старым подагриком засяду у теплого семейного очага!

Споры эти были вроде бы и безобидными, но каждый раз

после них наступало охлаждение: куда-то улетучивалась былая теплота, чуткость, взаимопонимание, доверие. Вскоре они окончательно разошлись, и пути их больше не скрещивались.

Вышло уже десять номеров „Творбы“, и нужно было закрепить ее за партией. Фучик подготовил заявление пражскому управлению о том, что Шальда передает „Творбу“ в собственность Фучика, и направился к профессору. Шальда выслушал его и сказал: „Давайте сюда“, пробежал глазами текст и поставил свою подпись. Так, начиная с 5 января 1929 года в журнале стало значиться: „Издатель, владелец и ответственный редактор Юлиус Фучик“. Фучика связывала старая дружба с казначеем Пражского краевого комитета партии Властимилом Гакеном, получавшим добровольные взносы от состоятельных помощников партии, и у „Творбы“ финансовых затруднений не было. Когда „Творбу“ выпускал Шальда, она представляла собой обозрение событий культурной жизни и предназначалась для узкого круга читателей. Теперь читателями самого популярного среди прогрессивной общественности журнала становились тысячи рабочих. Фучик стремился к тому, чтобы передовицы, политические и критические статьи, репортажи, комментарии, рефераты и фотографии создавали в каждом номере целостную, реалистическую картину определенного момента политической борьбы в Чехословакии и в мире. „Творба“ реагировала на события быстро, причем не ограничивалась только информацией, а всегда глубоко ее анализировала, с тем чтобы ориентировать читателей и убедительными аргументами подводить их к правильной оценке событий.

Особые хлопоты доставляла цензура. Уже второй номер пестрел белыми пятнами. Под названием еженедельника как ироническое свидетельство буржуазной свободы печати читатели увидели надпись: „После конфискации — второе, исправленное издание“. Эта надпись будет появляться часто. Цензура вымарала во втором номере четыре места: два — из статей Фучика. При Шаль-де „Творба“ два года выходила без конфискации и без „побелки“, когда из-за вычеркивания цензурой отдельных фраз, разделов и целых статей в газете появляются белые полосы. При Фучике в „Творбе“ уже к 1930 году было подвергнуто конфискации 87 процентов вышедших номеров, более ста мест, около трех тысяч строк текста. Чтение „Творбы“ в государственных учреждениях и казармах было строго запрещено.

В феврале 1929 года состоялся исторический V съезд КПЧ, избравший новое руководство во главе с Клементом Готвальдом. Работа съезда продолжалась шесть дней, в целях конспирации она

проходила в разных местах Праги: открытие съезда в Либени, заседания второго дня проходили в Национальном доме на Виноградах, третьего — в Карлине, четвертого — в Голешовицах, пятого и шестого — на Смихове. Первые сообщения о съезде появились в газетах только спустя три дня после окончания его работы. У штурвала партии, взявшей твердый курс на поворот от оппортунистической пассивности к большевистской активности, встали молодые: Готвальду 32 года, другим членам руководства ЦК еще меньше. Две трети членов нового ЦК партии составляли рабочие. Реакционные политики смеялись над воззванием „карлинских мальчишек“, как они издевательски их называли, не предполагая, что КПЧ вступила в новый период своей истории — период политической зрелости.

Курс нового руководства КПЧ встретил яростное сопротивление. Двадцать шесть коммунистов-депутатов и сенаторов под руководством Болена и Илека сделали антипартийное заявление, в котором обвинили руководство КПЧ в „ультралевой“ политике. С манифестом против компартии выступили семь известных писателей-коммунистов, за что они были исключены из ее рядов: С.К. Нейман, Г. Малиржова, М. Майерова, И. Ольбрахт, В. Ванчура, И. Гора, Я. Сейферт. Впрочем, многие из писателей, подписавших манифест, вскоре поняли, что совершили необдуманный, поспешный шаг, поддавшись эмоциям, и вскоре они вернулись в КПЧ.

Не проходило и дня, чтобы социал-демократическая „Право лиду“ не предсказывала близкий конец КПЧ, не печатала статьи под огромными заголовками, типа „Коммунистическая партия разваливается“, „Братоубийственная война в коммунистической партии“ и т. д. Сколько противоречивых оценок, лозунгов и мнений, в которых тонко переплеталась правда с ложью, предстало перед теми деятелями культуры, кто не искушен в тонкостях политической борьбы, плывет иногда по течению, слепо отдаваясь настроению. Пока не размякла и не раскисла интеллигенция, надо было выразить принципиальную позицию в отношении „манифеста семи“.

За короткое время, оставшееся до выхода очередного номера, Фучик обсудил с товарищами и написал ответный манифест. Его подписали двенадцать молодых поэтов, писателей, критиков, художников, публицистов из рядов „Деветсила“: Витезслав Незвал, Франтишек Галас, Бедржих Вацлавек, Ладислав Новомеский, Владимир Клементис, Карел Конрад и др. „Манифест двенадцати“ провозглашал:

„Мы убеждены, что подлинное развитие современной культуры зависит от развития революционного рабочего

движения и победа ее обусловлена победой рабочего класса. Мы убеждены, что только коммунистическая партия должна и может быть вождем революции, а вместе с тем и носительницей всех наших стремлений в области культуры, И вот сегодня, именно сегодня, когда мы совершенно ясно видим, как возрастает революционная энергия партии, сегодня, когда она наконец находит силы, чтобы освободиться от всякой беспринципности, именно сегодня выступают семь писателей, семь наших товарищей и занимают позицию, которую никогда не должны были бы занимать… Семь писателей использовали свой литературный авторитет для попытки атаки на партию, партию, которая для нас означает жизнь и которая до сих пор означала жизнь и для них. А если так, то они изменили не только себе, они изменили тому делу, которому все мы должны ревностно служить“.

…Первые шаги в борьбе за выполнение генеральной линии V съезда были весьма трудными. Многие партийные организации сильно ослаблены, и их необходимо создавать заново. Обыски в секретариатах партийных организаций и квартирах членов партий стали повседневным явлением. Десятки верных последователей революционной линии партии были арестованы.

В „Руде право“ на место дезертиров приходят новые молодые журналисты. Среди них Фучик. Ему были поручены литературно-художественный отдел, культурное обозрение, воскресное приложение и фельетоны.

Редакция находилась на четвертом этаже невзрачного серого дома в пражском районе Карлин, где располагался ЦК КПЧ, а рядом и типография, где печаталась партийная периодика. Готвальд заходил в редакцию почти каждый день. Молодой, полный кипучей энергии, кряжистый, с крепкой фигурой и сильными руками рабочего. Он говорил, что партия стремится избавиться от пустозвонства, от громких фраз и абстрактных лозунгов.

Двадцать первого декабря 1929 года Готвальд впервые вышел на трибуну парламента и, не обращая внимания на злобные выкрики правых депутатов, произнес речь:

„Вы нас не сломите, вы нас не купите!

…Трудящийся народ поймет, что нужно и можно полностью покончить с вашим режимом путем установления диктатуры пролетариата.

Придет время, когда пролетарии экспроприируют банки и прогонят фабрикантов и спекулянтов, когда сельскохозяйственные рабочие и крестьянская беднота

экспроприируют землю у крупных помещиков, когда угнетенные народы нашего государства свергнут своих угнетателей!

Тогда вам будет не до смеха!“

Речь, произнесенная Готвальдом, была одной из самых впечатляющих за всю историю парламента, где до этого хорошим тоном считалось отсутствие у ораторов резких политических выражений. Он говорил чеканными фразами, и каждое слово било прямо в цель:

„Мы поведем борьбу, каких бы жертв она нам ни стала, поведем ее упорно, целенаправленно и не прекратим до тех пор, пока не уничтожим ваше господство… Да, мы ездим в Москву учиться, а знаете чему? Мы ездим в Москву для того, чтобы научиться у русских большевиков, как свернуть вам шею. А вы знаете, что русские большевики мастера это делать“.

В партии повеяло свежим ветром. Фучик безоговорочно принял большевистскую линию съезда. С этого времени и до конца своей жизни он боролся вместе с Готвальдом. Его образ он запечатлел в рассказе о выступлении Клемы (так рабочие называли Клемента Готвальда. — *В. Ф.*) на VI съезде партии в 1931 году. Фучику было поручено написать репортаж о съезде, который вышел под названием „Съезд фронта“. Он писал:

„Из леса поднятых рук под гром аплодисментов поднимается внушительная фигура рабочего вожака. В его широкой улыбке — радость от встречи с друзьями и презрение к врагу. Весь съезд приветствует его, не торжественно, а по-товарищески — дружно и радостно.

Он говорит. Не читает сухой доклад, а в течение пяти часов ясно и просто рассказывает о кризисе капиталистического мира, о строительстве социализма в Советском Союзе, о нищете пролетарских масс и о единственном пути, который может вывести из нее…

Кончает. Смущенно улыбается. Его широкая улыбка — это улыбка рабочей солидарности и превосходства над врагом“.

„Творба“ превращается в боевой штаб прогрессивной интеллигенции и играет важную роль в разработке и пропаганде принципов нового, революционного искусства. На ее страницах развернулась большая дискуссия о дальнейших путях развития искусства, „дискуссия поколения“, как ее потом назвали. Поводом послужила статья художника И. Штырского, где утверждалось, что искусство чешских авангардистов находится в упадке и что причина этому — их стремления „сидеть на двух стульях“, то есть сочетать служение искусству с симпатиями к революции, тогда как искусство требует изоляции художника от общественной борьбы.

Против подобных взглядов выступили Фучик, Нейман, Урке, Штолл и другие. В этот период вокруг фучиковской „Творбы“ собирается сильная группа критиков-марксистов. Они доказывали, что художественное творчество вне политики не существует. В „Творбе“ закалялось иежвоенное творческое поколение. Здесь не только известные авторы: Эдуард Урке, Курт Конрад, Ладислав Штолл, Бедржих Вацлавек, Ян Шверма, Витезслав Незвал. Фучик постепенно сосредоточивает вокруг журнала и младшее поколение — Йозефа Рыбака, Иржи Тауфера, Франтишека Колара.

Имя главного редактора становится известным за пределами Чехословакии. Центральный орган Международного бюро революционной литературы — „Вестник иностранной литературы“ — в 1930 году называет его ведущим пролетарским критиком в Чехословакии. „Именно Фучику, — отмечал журнал, — принадлежит заслуга собирания революционных сил чешской литературы уже на новых, классовых основах. В прошлом году редактируемый им журнал „Творба“ провел большую дискуссию о роли писателя в современную эпоху, дискуссию, на которой были осуждены аполитичность писателя и теории „чистой“ функциональной поэзии“.

В конце 20-х годов в Чехословакии вспыхнула своеобразная война со Швейком. Критика и литературоведение не питали с самого начала особой благосклонности к роману Гашека. Мещанским вкусам, воспитанным на слащаво-сентиментальной литературе, был чужд откровенный показ изнанки жизни, его острый юмор, переходящий в сатиру. С таким совершенством были высмеяны Швейком все понятия буржуазного мира, его патриотизм, его справедливость и мораль, что буржуазное общество скорее должно было воевать против Швейка, чем его приветствовать. И теперь в нем увидели опасного типа, который не только разлагал австро-венгерскую армию, но не остановился в своей разрушительной деятельности, и поэтому со страниц журнально-газетной критики полилась хула, чтобы нейтрализовать его влияние, осуждать как дурной пример. Официальная критика раздувала версию об авторе романа как о низкопробном литераторе, который потрафлял площадным вкусам. Роман был изъят из школьных и армейских библиотек. Писатели-коммунисты Ольбрахт и Фучик первыми по достоинству оценили Гашека. Ольбрахт назвал его гениальным, Фучик еще в 1926 году подвел итоги читательской анкеты в газете „Трибуна“ на тему „Годится ли чтение Швейка на необитаемом острове?“ следующими словами: „Швейк — это

самое совершенное лекарство против мизантропии, чем он существенно отличается от всех других книг“. Теперь, спустя два года, в статье „Война со Швейком“ он писал: „Швейк — тип маленького нереволюционного человека, полупролетаризованного провинциала, который встречается на войне лицом к лицу с капиталистической государственной машиной. Он поражен и дезориентирован тем, что ему преподносится как государственная необходимость… И такой вот Швейк начинает играть роль гениального балбеса, он пассивно лоялен и доводит до абсурда все приказы, законы и интересы государства, которому он служит“. Фучик пророчески писал, что „Бравый солдат Швейк“ станет когда-нибудь хрестоматийным произведением и преподаватели истории будут на нем демонстрировать разложение класса буржуазии и буржуазной армии, которая была ее последним козырем».

Фучик принимает самое непосредственное участие в создании пражского «Освобожденного театра». Ранней весной 1927 года два молодых студента Иржи Восковец и Ян Верих поставили в небольшом театрике веселое обозрение «Ревю из жилетного кармана», где высмеяли обывателей, ура-патриотов и снобов. Два молодых клоуна сразу стали популярными. Их импровизации, гротесковая режиссура Иржи Гонзла, очаровательные песенки Ярослава Ежека громко заявили о рождении театра нового направления. Вызывающим было и его название: «Освобожденный». Фучик чувствовал себя в этом театре как дома. Двери за кулисой всегда были для него открыты. Он приходил сюда, когда хотел рассеяться и повеселиться, послушать шутки и песенки или же когда его преследовала полиция и ему нужно было «исчезнуть».

«Фучик не ходил в „Освобожденный театр“ из-за Гонзла, Ежека или меня, — вспоминал Верих. — Ходил из-за нас всех в театр, который он любил, и помогал в его становлении. С первых дней театра он был и его зрителем, и его критиком. Слова Фучика в рецензиях и в беседах с нами всегда были конкретны, точны, убедительны. Он говорил с ними всегда по существу дела и при этом не переставал быть сердечным, открытым и дружеским. У него органичным было то, чего недостает многим критикам: он критиковал за ошибки, чтобы помочь, а не унизить, хвалил, чтобы подбодрить, а не лебезить».

В первой же статье о театре Фучик горячо приветствовал Восковца, Вериха и Ежека. Он искренне радовался каждому удачному их выступлению, но, когда в угоду развлекательности театр утрачивал социальную остроту и свежесть первых спектаклей сменялась блеском помпезных буффонад, Фучик

бескомпромиссно критикует, бьет тревогу («Эта крупная банкнота в чешском театральном искусстве разменена на мелочь»), тактично помогает актерам.

На примере «Освобожденного театра» Фучик показывал, как выросла общественная потребность в создании неофициальных театров, которые отбросят балласт официальных буржуазных сцен, создадут драматическое, насыщенное жизнью зрелище.

В 1930 году был национализирован Национальный театр в Праге. Многие приветствуют этот шаг. Фучик придерживается другого мнения. Этот театр, первая сцена страны, был особенно дорог Фучику. Интересна история создания театра. В фундамент здания при закладке театра в 1868 году были положены камни, привезенные из разных мест страны, связанных с борьбой чехов за национальную самостоятельность. Особенно славным был путь камней с горы Жижков. Их погрузили на большую крестьянскую повозку, разукрашенную цветами, хвоей, лентами и знаменами. Десятитысячная процессия отправилась в путь. Не было ни одного селения, где бы она не останавливалась, не было человека, который не проводил бы ее хоть немного. Всюду ее торжественно встречали и засыпали цветами и венками. Это было действительно прекрасное шествие в сиянии чудесного весеннего дня, шествие, которое, по словам очевидцев, олицетворяло весну нации.

Церемония закладки происходила при огромном стечении народа, съехавшегося не только со всех концов Чехии, но и из России и других славянских стран. «После 1860 года идея создания Национального театра означала, собственно говоря, величайшую политическую идею того времени, идею политической независимости нашего народа», — писал Зденек Неедлы. Национальный театр, на фронтоне которого написано «Народ себе», был торжественно открыт в 1881 году постановкой оперы Б. Сметаны «Либуше». Однако через два месяца он сгорел. «Если бы слезы, пролитые чешским народом при известии о пожаре попали в огонь, — писал Ю. Фучик, — они загасили бы его». Но народ не только оплакивал большую утрату. Были собраны средства на восстановление этого национального достояния, и через непродолжительное время — 18 ноября 1883 года — в зрительном зале возрожденного театра вновь зазвучали фанфары из «Либуше». Национальный театр начал новую жизнь.

И вот теперь Фучик писал в «Творбе», что исходить надо не из идеи национализации этого театра, а из того, что представляет собой государство, осуществляющее ее. «Разве у такого государства два лица: одно — в отношении к преступлениям и другое — в отношении к театру? Нет!» — отвечал Фучик и

доказывал, что буржуазное государство получило возможность направлять его деятельность, что означает потерю контроля над театром со стороны широкой общественности или специалистов. «Национальный театр заполняют теперь только разные полковники швецы да святые Вацлавы („Полковник Швец“ и „Святой Вацлав“ — реакционные буржуазные пьесы. — *В. Ф.*), которым и не снилось, что такое сила (а тем паче сила творческая), — они просто ошметки искусства».

Фучик уделял также большое внимание прогрессивному театру «Д-34», руководимому Э.Ф. Буриавом. Уже первый спектакль по пьесе, Кестнера «Жизнь в наши дни» Фучик приветствовал как большое событие в культурной жизни страны. Он писал, что молодые создатели нового театра «сумели поставить произведение на ноги и дать пощечину тем, у кого сознание неудержимости жизни наших дней находится в противоречии с предрассудками, столь же характерными для них, как изречения на стенных ковриках для мелкобуржуазных кухонь. Они это сумели… Не было ни грима, ни осветителей, артисты сами меняли в рефлекторах цветные стекла, но, несмотря на это, фиолетовое освещение было тусклым, как кабаретная любовь, красный свет жег подлинным огнем бунта, а скамейки, нарисованные на шекспировских плакатах, казались настоящими парковыми скамейками, на которых сидят влюбленные и спят безработные. Актеры? Трудно говорить об актерах „Д-34“. Молодой паренек играл пана Шмидта, но, может быть, он и не играл, может быть, это был сам пан Шмидт; я иногда встречал этого пана Шмидта на Колониенштрассе… Наконец-то появился театр наших дней».

В октябре 1929 года вспыхнула забастовка северочешских шахтеров. Она началась на шахтах «Анна» и «Ондржей», где горняки выступили против невыносимых условий труда и преследований рабочих-активистов. Пока на этих двух шахтах штыками и прикладами загоняли шахтеров в подъемные клети, забастовка перекинулась на другие шахты и охватила соседние районы Лом и Духцов. Через две недели остановились двадцать четыре шахты, полторы тысячи шахтеров прекратили работу. В Ломе было введено чрезвычайное положение. Сюда приехал Фучик, посланный редакцией «Руде право». Вся пресса, включая газеты социал-демократов, устроила заговор молчания вокруг стачки горняков. Ни общественность, ни даже сами шахтеры не знали, что же происходит в Северной Чехии. И вдруг появляется репортаж Фучика из Лома:

«Быстро бежит время в краю труда, не знающего ни дня ни ночи. Мелькают дни, которые не могут вместить события,

переливающиеся через край. И в водовороте этих дней живет репортер, отправившийся в северозападную Чехию (три часа, всего три часа езды поездом от Праги!), чтобы увидеть край, охваченный пожаром борьбы, неведомую страну, в которой живут совершенно особые люди.

Не требуйте от него, чтобы он только созерцал. Не требуйте, чтобы он изображал равнодушие, которого нет. Прошло десять лет, прежде чем люди отважились изобразить войну в литературных произведениях и придать этим произведениям хотя бы видимость объективности. События на севере Чехии оставляют глубокий след в каждом, кто является их свидетелем, овладевают всеми чувствами и мыслями.

Это не забастовка.

Это — война…»

Заговор молчания сорван. Правительство юлит, оправдывается, но уже ничего скрыть нельзя. Но и писать о забастовке Фучику уже не дают. Вместо обещанного продолжения «Творба» опубликовала заметку, в которой Фучик сообщал, что карандаш цензора безжалостно делает «белые следы» и нельзя сказать даже слово «штрейкбрехер». «А писать лирические пассажи о законченной красоте северочешского края шахт не имеет смысла. Мы найдем иной способ рассказать читателям „Творбы“ правду об одном из самых крупных и самых поучительных боев рабочих, который когда-либо у нас был».

Фучик решается на необычный и смелый шаг. В разгар забастовочной борьбы он прямо на месте стал издавать нелегальную газету «Стачка», выходившую также на немецком языке, — в расчете на рабочих немецкой национальности. Стеклограф приходилось чуть ли не ежедневно перетаскивать из подвалов шахтерских домиков одного поселка в другой: из Лома в Литвинов, оттуда в Теплице, Хомутов. В газете краткие сообщения с отдельных шахт, решения забастовочного комитета, сведения об арестах, призывы расширить забастовку, бороться со штрейкбрехерами и социал-демократами в профсоюзах, пытавшимися принудить шахтеров отступить от своих требований. Издание газеты и листовок перепугало пражские власти. Жандармы рыщут повсюду, обыскивают квартиры шахтеров, трактиры, осматривают вещи коммунистов — работников профсоюза, их руки — нет ли на них следов типографской краски, но обнаружить место, где печатается «Стачка», так и не смогли. У Фучика много помощников. Среди них и Густа, приехавшая вместе с ним в Лом. Она печатала тексты на машинке, бралась за самые опасные поручения, под носом у жандармских патрулей выносила пачки свежих газет и листовок,

спрятанных под пальто. Еще в феврале, когда Густа работала стенографисткой на V съезде КПЧ, Юлиус как бы заново познакомился с ней, и теперь их пути больше не расходились.

«Годами мы работали вместе, — вспоминал Фучик, — по-товарищески помогая друг другу. Она была моим первым читателем и критиком, мне было трудно писать, если я не чувствовал на себе ее ласкового взгляда. Все годы мы вели борьбу плечом к плечу — а борьба не прекращалась ни на час, — и все годы рука об руку мы бродили по любимым местам. Много мы испытали лишений, познали и много больших радостей, мы были богаты богатством бедняков, тем, что внутри нас…»

Все шесть недель, пока длилась забастовка, Фучик находился в Ломе и вместе с рабочими принимал участие в забастовочных пикетах около заводов. Однажды жандармы задержали его вместе с Я. Шзермой, прибывшим к шахтерам на митинг. Обоих подозревали в том, что «Стачка» — дело их рук, но в портфелях у них ничего но нашли, а на руках ни пятнышка типографской краски — работали они в резиновых перчатках. Хотя забастовка окончилась поражением, она свидетельствовала о росте боевой решимости горняков.

Первый арест, первое заключение в тюрьму. Это случилось в конце января 1930 года. Ночью кто-то забарабанил в дверь комнаты Юлиуса, раздался резкий мужской голос: «Полиция».

«Реакция Юлы меня поразила, — вспоминала об этом Густа, — без малейшего волнения он заявил, что и не подумает открывать, так как не совершил ничего такого, что давало бы право полиции врываться к нему ночью, как к преступнику. Пусть приходят днем. Мы услышали ругань и удаляющиеся шаги и подумали, что, получив отпор, они уходят. Но тут раздался шорох за окном: к стене приставили лестницу, и кто-то полез по ней. Но лестница оказалась коротка. Полицейским оставалось убраться ни с чем, что они и сделали, — кроме одного, которому пришлось всю ночь торчать за дверью. Только в семь часов утра Юла впустил его. Полицейский „вежливо“ поздоровался и тотчас именем закона арестовал Юлу. Юла посочувствовал полицейскому, что тот всю ночь сторожил его, как золотой запас республики, спросил, почему же он не явился днем. Полицейский злобно проворчал, что они уже несколько раз приходили днем, но не заставали его».

Полицейский увел Юлиуса не в полицейское управление, а в пражскую тюрьму Панкрац, где его приговорили к десятидневному заключению. Полиции очень хотелось проучить Фучика за его участие в забастовке горняков, но у нее не было для этого юридических оснований. Поэтому подняли старое

«дело», в котором значилось, что 6 мая 1929 года во время одной из демонстраций Фучик выкрикивал на Вацлавской площади лозунг: «Да здравствует Красная Армия!»

Из тюрьмы он пишет: «Милая Густа. Ну вот я и влип, но дело вовсе не худо… Вызвался быть уборщиком, но они, видно, смекнули, что эдак я, пожалуй, многое тут разнюхаю, — отказали… Я здесь всего три дня, а уже приобрел вид тюремного жителя, как говорят мои коллеги. Компания наша состоит пока из четырех коммунистов (один из Польши, бежал от тюрьмы), одного хулигана (избил отца) и двух воров». Соседу Фучика по камере, медвежатнику, трудно было понять, из-за чего коммунисты попадают в тюрьму. Взять хотя бы его: «сработает кассу», спрячет деньги, отсидит свой срок, а потом на воле пользуется денежками. К тому же ему заранее известно, сколько ему «припаяют». Смеясь, Юлек говорил ему:

— Ты вот «сработал» только одну кассу и говоришь, что получишь четыре года. А как ты думаешь, сколько получу я за то, что хочу открыть кассы всех капиталистов в Чехословакии?

Седьмого апреля 1930 года в Праге должны были демонстрироваться два фильма Сергея Эйзенштейна — «Генеральная линия» и «Десять дней, которые потрясли мир». В кинозале «Фаворитфильма» собрались крупнейшие представители чехословацкой культуры. Собрание организовано Левым фронтом, Обществом экономического и культурного сближения с Новой Россией. Люди сидят на полу в проходах. Вокруг кинозала усиленные наряды полиции.

Перед началом сеанса полицейский сообщает, что демонстрация фильмов запрещена. По залу прокатывается волна возмущения, присутствующие в знак протеста стали хлопать в ладоши.

— Вы же интеллигентные люди, разойдитесь! — кричит полицейский. Фучик вышел вперед.

— Просмотр разрешен, — заявил он. — Были выполнены все необходимые формальности. Ваше требование незаконно.

Между тем в зал вошли еще несколько полицейских. Присутствующие стали расходиться. Раздавались возгласы: «Мы протестуем! Позор!»

Фучика арестовали за «нарушение общественного порядка» и отправили в полицию, где он просидел трое суток. В протоколе полицейского архива есть показания вахмистра Яна Шохмана: «… задержанный не выполнял моего приказа разойтись и подбивал к этому людей вокруг себя. В результате этого я был вынужден его арестовать». В «Творбе» Фучик опубликовал протест деятелей

культуры против цензуры и провокации полиции, которая беспощадно подавляет свободу творчества в искусстве и науке и запрещает самые выдающиеся произведения мирового искусства. Протест поддержали одиннадцать культурных организаций, редакции четырнадцати журналов, семьдесят три деятеля искусства и науки.

Общественно-политическая деятельность занимала все время Фучика, и любимой работе литературного и театрального критика он мог отдавать только ночи. Его политические репортажи и статьи двадцатых и тридцатых годов составили после войны два тома, причем многие из них вообще не вошли в сборники его избранных произведений.

А ведь он мечтал заниматься только литературой. Шальда предрекал ему большое будущее, прочил ему университетскую профессорскую карьеру и не раз вздыхал: «Жаль, что этот юноша сбежал от меня в политику». Фучик, шутя, говорил позднее, в годы войны, что вынужден был в жизни выбирать между двумя возлюбленными, одна из которых была более красивой, а вторая — более необходимой. «Я отдал предпочтение той, которая была нужнее, — сказал он, — но после войны я ее, наверное, покину. Стану литературоведом».

Не распылял ли силы Фучика изнурительный труд журналиста, не мешал ли развитию его литературных способностей? Думается, что на эти вопросы ответил сам Фучик. В своем завещании он написал о Неруде то, что мог бы сказать о себе: «Некоторые критики, даже критики с таким ясным умом, как Шальда, считают помехой для поэтического творчества Неруды его журналистскую деятельность. Нелепость! Именно потому, что Неруда был журналистом, он смог написать такие великолепные вещи, как „Баллады и романсы“ и „Песни страстной пятницы“ и большую часть „Простых мотивов“. Журналистика изнуряет, может быть, заставляет разбрасываться, но она же сближает автора с читателем и помогает автору в его поэтическом творчестве. В особенности это можно сказать о таком добросовестном журналисте, как Неруда. Неруда без газеты, которая живет день, мог бы написать не одну книгу стихов, но не написал бы ни одной, которая пережила бы столетия так, как переживут их все его творения».

В СТРАНЕ, ГДЕ ЗАВТРА ЯВЛЯЕТСЯ УЖЕ ВЧЕРАШНИМ ДНЕМ

О человечество! Сон твой

столетний,
Сон о рассвете, сон о свободе
Близок к свершенью: проблеск

рассветный
Брезжит с Востока — ночь на
исходе!

Ян Неруда

В апреле 1930 года Фучик направился в Советский Союз в составе рабочей делегации, приглашенной на празднование пятилетнего юбилея чехословацкой коммуны «Интергельпо», находившейся в далекой киргизской степи. Делегатов выбирали на рабочих собраниях. Прага назвала рабочего ЧКД Йозефа Червенку, моравские земледельцы — крестьянина Алоиса Догнала, строители Закарпатья — Йозефа Штрауса, остравские горняки — жену шахтера Гелену Шнайдерову. Оставалось пятое место. Шахтеры Лома и Моста единодушно отдали его Фучику, которого хорошо узнали во время недавней забастовки. Шахтеры наказали Фучику в письме: «Смотри хорошо! Ходи всюду с открытыми глазами. Ты должен увидеть у них успехи и трудности. Мы хотим учиться у них. Нам все нужно в этой школе, успехи и недостатки». Просьба выдать им заграничные паспорта была отклонена «по соображениям общественной безопасности», и делегация приняла решение переправиться через границу нелегально, без виз в кармане.

До Берлина добрались благополучно, но пребывание здесь неожиданно затянулось. Четырнадцатого мая Фучик пишет из Гамбурга: «Мы не смогли выехать ни в четверг, ни в пятницу. Выехали только через неделю. И слава богу, что выехали. 18 дней, проведенных в Германии, — это больше чем достаточно. Зато теперь мы вознаграждены. Берлин, Гамбург, Дания, Швеция, Ленинград… Правда, если все продлится в восемнадцать раз

дольше, чем мы предполагали (ведь в Германии мы должны были провести один день), то я не вернусь в Прагу и через пять лет. Меня все уже принимали за почетного гражданина города Берлина. Я действительно мог бы здесь быть гидом. Надеюсь, мне не придется сделаться специалистом по Гамбургу». Здесь Фучик встретил своего приятеля по университету и по работе в журнале «Авангард» писателя Ф.К. Вайскопфа. Теперь он главный редактор прогрессивного журнала «Берлин ам морген». Вместе с ним и другими немецкими коммунистами Фучик тайно, по ночам, расклеивал на улицах первомайские плакаты и революционные лозунги, а 1 Мая принял участие в демонстрации. В памяти берлинского пролетариата еще свежа была кровавая расправа, учиненная над демонстрантами год тому назад. Тридцать три рабочих пали тогда на баррикадах в берлинском районе Веддинг. И на этот раз двухсоттысячная колонна рабочих была окружена на площади плотными рядами полицейских, вооруженных до зубов.

В рабочем предместье выступал Эрнст Тельман:

— Товарищи, выше знамена! Кулаки вверх! Слава павшим — в бой, живые!

Больше двух часов наблюдал Фучик шествие рабочих. На жилом доме из красного кирпича, у которого он стоял, висела табличка с надписью:

«1 мая 1929 года у этого дома были убиты два коммуниста».

В Гамбурге чехословацкая делегация поднялась на борт советского парохода и направилась в Ленинград. Фучик смотрел на морской горизонт и думал о цели своего путешествия — о том неизвестном «шестом континенте», куда, как он писал четыре года назад, «едут… Колумбы из Западной Европы не только для того, чтобы открыть новую землю посреди великих морей, но чтобы открыть целый новый мир посреди множества форм правления и общественного устройства старого мира… Каждая поездка в Москву — это путешествие первооткрывателей, и их дневник не менее интересен, но при этом гораздо более значителен, чем дневники тех, кто, скажем, овладел неприступной вершиной».

Четыре дня делегаты были в Ленинграде. Здесь, размышлял Фучик, все началось. Выстрел «Авроры» возвестил всему миру, что начался, говоря словами Ленина, «величайший, труднейший в истории переход» — переход от капитализма к социализму.

Из Москвы Фучик пишет домой:

«Мы в восторге. Москва — замечательная. Ленинград — совершенно город рабочих. Все бедно — богатство строится…»

Да, советские люди жили еще бедно. Фучик не мог не

заметить отсутствия некоторых товаров в магазинах, скромную одежду москвичей, длинные очереди в магазинах. Он по-своему находит этому объяснение: «Советский Союз должен стать страной промышленности, а для этого нужны, во-первых, машины, во-вторых, машины и, в-третьих, опять-таки машины».

В стране совершались огромные перемены. Это было время первой пятилетки, время создания промышленности и коллективизации сельского хозяйства. Облик старой России менялся на глазах, страна превращалась в передовую промышленную державу. Это было время очередной антисоветской истерии на Западе. Папа Пий XI призывал к крестовому походу против большевистских еретиков. В одной из крупных французских газет появилась статья русского белоэмигранта, миллионера Рябушинского, под многозначительным заголовком «Необходимая война».

Газета чехословацких социал-демократов еще вчера давала «мудрый совет»: «Пусть те, кто восхваляет диктатуру пролетариата, поедут посмотреть на нужду и рабство в стране, где она существует. Пусть поговорят с русскими рабочими, те им скажут — если, конечно, за спиной у них не будет стоять агент ГПУ, — как они жаждут освобождения из большевистского рая. Пусть, если им не нравится наша демократия, съездят туда и поглядят, а потом, когда вернутся, честно расскажут правду… если только они не умрут там с голоду».

Это было время резких контрастов и созидания новой жизни…

«Таков Советский Союз тридцатого года, — писал Фучик. — Самые отсталые методы труда наряду с самыми современными машинами. Канаты и бревна рядом с мощными подъемными кранами. Керосиновая лампа наряду с крупнейшими в мире электростанциями. Трактор рядом с деревянным плугом. Верблюд и железная дорога».

Огромное впечатление на Фучика произвела Москва, шумная жизнь столичного города. Все в ней будто летело вперед — веселые толпы молодых рабочих на улицах, красные трамваи, автобусы, с трудом пробирающиеся сквозь поток пешеходов на перекрестках, большие грузовики. Ломались старые здания, передвигались дома, расширялись улицы. Москву асфальтировали: везде стояли котлы с асфальтом. Около асфальтовых котлов грелись беспризорные, но уже готовилась картина «Путевка в жизнь» о конце беспризорщины.

Воздвигались вышки, похожие на крепостные башни деревянных укреплений: это были шахты метро. На улицах Москвы яркие плакаты и лозунги:

«За два года по добыче нефти мы выполним пятилетку на 80 %».

«Ты враг своих детей, если не посылаешь их в школу».

Яркое впечатление произвело на чехословацкую делегацию посещение цирка. Его никак нельзя было сравнить с цирком из брезентовых полотнищ на площади против дома инвалидов в Праге. Это было нечто другое: шло ревю Владимира Маяковского «Москва горит». Десятки мастеров цирка и спортсменов участвовали в этом представлении, захватывающие сцены которого воскрешали октябрьские события 1917 года. Когда в финале в ослепительном свете прожекторов взвились красные знамена и на манеж, тесня охваченных паникой врагов, рысью выехала группа акробатов-наездников в красноармейской форме, зрители приходили в неописуемый восторг. В это же время на экране под куполом цирка замелькали кадры документальных фильмов, повествующих о революционных событиях, гражданской войне и о современном промышленном и сельскохозяйственном строительстве.

Во всех концах страны вставали новые промышленные гиганты — Днепрострой, Тракторострой, Магнито-строй, Турксиб, Волгострой. Равнодушных не было, пятилетка — кровное дело всех и каждого! Надо всем властвует человеческий труд, свободный и равный.

Энтузиазм,
разрастайся и длись
фабричным
сияньем радужным.
Сейчас
подымается социализм
живым,
настоящим,
правдашним.

Из Москвы с Казанского вокзала делегация отправилась в поезде дальнего следования «Москва — Красноводск». Путь в Рязань, а оттуда через Сызрань, Самару и Оренбург дальше на юг, в Среднюю Азию.

Ехали целую неделю. Часто железная дорога проходила мимо какого-нибудь колхоза, и Фучику все казалось как в нравоучительном рассказе, автор которого признает только черное и белое. «Черное мы видели справа: крошечные единоличные хозяйства, плохо обработанная земля, целые поля, лежащие нераспаханными, маленькие, пригнувшиеся к земле

избушки крестьян. Но когда мы поворачивались налево, когда мы смотрели в противоположное окно вагона, мы уже видели тракторы, видели богатые всходы, новые здания, амбары, новые поселки. Там был колхоз».

Начались бескрайние азиатские степи. Юлек радостно, прямо по-детски рассмеялся, увидев впервые верблюда: это древнее мудрое животное тащило арбу с бочкой, заменяя лошадь, а рядом шел человек в тюбетейке, как в сказках из «Тысячи и одной ночи». Но он не только любовался восточной экзотикой. В поезде он познакомился с ленинградским геологом и девушкой-казашкой. По-разному сложилась жизнь этих людей. Но Фучик раскрывает общее в их духовном облике и судьбе — героизм, рожденный великой идеей. «Мы знаем, что каждый метр в глубь земли, к залежам нефти — это шаг вперед, на шаг мы ближе к социализму», — говорит геолог, объясняя, почему семьдесят советских рабочих и специалистов добыли нефть там, где ранее отступила перед трудностями английская экспедиция. «Мы читаем Ленина. Я ведь уже член комсомола», — с гордостью говорит девушка-комсомолка. Об этих людях Фучик напишет очерки «Флакон одеколона» и «Комсомолка из Кзыл-Орды».

После двух суток поездки по степи пейзаж вдруг резко изменился: Фучик увидел вдали «белый Александровский хребет, нагорье, растянувшееся на несколько сот километров. Мы не потеряем его из виду в течение всего времени нашего пребывания в Киргизстане. Белые облака на белых ледниках — для нас в этом есть что-то таинственное, и это очень красиво».

30 июня, около двенадцати часов, в канцелярии коммуны «Интергельпо» затрещал телефон. Звонили из Арыси: в два часа дня приедет делегация из Чехословакии. Это было неожиданностью. Ведь делегацию ждали два месяца назад — к Первому мая.

Встреча была исключительно сердечной… «На вокзале толпы рабочих. Наши земляки, свободные рабочие из Чехословакии, лица русских, киргизских, узбекских, украинских товарищей. А над ними красные транспаранты, красные знамена.

Знаете ли, сейчас мы вам не можем точно описать, как мы выбрались из поезда, как мы вдруг неожиданно оказались посреди шумной радостной массы людей, как перед нами вдруг возник стол, превратившийся в импровизированную ораторскую трибуну.

Теперь мы можем признаться, как мы были тогда растроганы. Не тем, что нас торжественно встречали, но тем, какой свободной, радостной была эта встреча, как вольно все здесь себя чувствовали, все — и мы в том числе.

Нас приветствовали. Выступали представители „Интергельпо“, киргизского правительства, партии, заводских рабочих, Красной Армии; мы отвечали. Мы не будем воспроизводить здесь эти речи. Незачем в стотысячный раз показывать вам, как выглядит цензурная конфискация на страницах этой газеты. Сначала мы говорили, правда, еще под некоторым влиянием собраний в ЧСР, словно за спиной у нас стоял полицейский комиссар, напоминая о тюрьме. Но потом мы с восторгом вспомнили: ведь мы в свободной стране, здесь мы свободны!

Звучат последние приветствия и поздравления.

Сводный интергельповский и красноармейский оркестр играет гимн пролетариата „Интернационал“».

Вместо недели делегация задержалась во Фрунзе почти три. Фучика интересовало все, что отражало борьбу старого и нового, зарождение и победа ростков социализма в экономике и культуре Советского Востока, борьба с неграмотностью, с обычаем давать калым за девушек, то есть попросту продавать их. Своими глазами ои видел, как Советская Киргизия идет от феодализма к социализму. Везде, где побывала чехословацкая делегация — на партийных собраниях, на встречах с трудящимися, с сотрудниками редакций республиканских газет, в горкоме партии, — везде местные представители делились замыслами, идеями, планами, целью которых будет полное преодоление вековой отсталости народов Востока, создание национальной экономики, повышение культурного уровня.

Делегаты присутствовали на шестой областной партийной конференции. Фучик, приветствовавший конференцию от имени Чехословацкой компартии и газеты «Руде право», говорил о международном единстве пролетариата: «…Съезды и конференции проводятся не только здесь, в Советском Союзе, они проводятся и за границей, где коммунистические партии также проверяют свою работу, которая проходит под знаком поддержки западным пролетариатом строительства социализма в СССР, помогая выполнять пятилетку и тем самым укрепляя Советский Союз, победа которого является решающей победой и заграничного пролетариата…»

Яркое впечатление оставило у Фучика посещение горсовета Фрунзе, где гости подробно интересовались вопросами городского хозяйства, строительства, структурой Совета. Делегации были вручены депутатские книжки. Свой депутатский билет номер 189 — маленькую красную книжечку, на обложке которой золотыми буквами было написано «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», Фучик хранил как драгоценную реликвию.

«Папа, мама и все близкие! — пишет Фучик родным в Пльзень. — Чувствую себя замечательно. Ем за четверых, совершенно не ощущая никакой разницы между Средней Азией и Средней Европой. Только климат здесь несколько иной. Сегодня было 48 градусов. Мой загар соответствует этой температуре. Если я проведу здесь еще месяц, то даже специалист не отличит меня от киргизов. Я абсолютно счастлив. Встречают нас прекрасно. Мы во Фрунзе уже 14 дней и пробудем еще 5, хотя первоначально рассчитывали всего на 5. Нас не хотят отпускать, и самим нам уезжать не хочется. Когда тебе, Либугде, кто-нибудь будет болтать о здешних ужасах, запомни, что над тобой бесстыдно издеваются».

В летнем лагере Киргизской конной дивизии Фучик принял участие в военном параде на большом учебном плацу. Ему выдали почетное удостоверение кавалериста и красноармейскую форму: белую гимнастерку, темно-синие галифе и белую полотняную фуражку с красной пятиконечной звездой. (В этой форме Фучик появился в буржуазно-чопорной Праге после возвращения на родину. — *В. Ф.*) Сияющий, он пытается скрыть свое волнение шуткой:

— Я и Красная Армия родились в один и тот же день. Мои собратья по перу подшучивают надо мной, говоря, что я присвоил себе монополию в любви к Красной Армии.

Его внимание привлекали легенды и сказки, киргизские народные песни: одну он даже выучил наизусть. Фучик посетил театр во Фрунзе. Это был незабываемый вечер. Театр был построен за два с половиной месяца под руководством строительного рабочего из «Пнтергельпо». На сцене Фучик увидел черный концертный рояль на двух ножках, третью заменял стул. Московский пианист сидел за роялем и играл Листа. Было слышно, как в гамме отсутствует нота до.

Лист без до.

«Можно представить себе смятение пражских любителей музыки, если бы что-либо подобное случилось в Праге, — думает Фучик. — Они бы не слышали Листа, они слышали бы только отсутствие до. А здесь этот Лист, хорошо исполненный Лист. Отсутствие одной струны в рояле здесь никому не мешает».

На этом примере Фучик довольно быстро найдет нужную ему тональность для описания советской действительности, когда какая-нибудь одна искрометная многозначная, предметная деталь расцвечивает весь материал. Горький однажды сказал: «Брать надо мелкое, но характерное и сделать большое и типичное». Очерки Фучика о Средней Азии показывают это. «Они не испугались ни отсутствия струны до, ни двух ножек у рояля, не

испугались ни 99 процентов неграмотности, ни труднодоступность горных юрт, и везде, не только на сцене города Фрунзе, но и высоко в горах Тянь-Шаня, повышают культуру всего народа», — писал он в очерке «Лист без до».

Фучик ознакомился с хозяйством «Интергельпо», его интересовала история возникновения коммуны, его успехи и проблемы.

Основателем коммуны был чех красноармеец Рудольф Маречек. В годы революции и гражданской войны он сражался в горах и степях Киргизии. Здесь познал жизнь среднеазиатских народов и полюбил этот край. В октябре 1922 года Советское правительство приняло решение, которое давало возможность группам иностранных рабочих и крестьян переселиться в Советский Союз и принять участие в экономическом и культурном строительстве первой социалистической страны в мире. КПЧ поручила Маречеку организовать переезд чехословацких колонистов в СССР. В октябре 1923 года в Тбилиси начал работать чехословацкий кооператив. Строили завод по ремонту сельскохозяйственных машин (56 ремесленников из города Сланы, недалеко от Праги).

В апреле 1925 года в Киргизию из словацкого города Жилина прибыл специальный поезд с тремястами двадцатью переселенцами. Они организовали сельскохозяйственно-промышленный кооператив «Интергельпо». Позже в СССР появились и другие чехословацкие коммуны: «Кладненская», «Словацкая» и «Рефлектор». Ядро колонистов составляли преследуемые рабочие-коммунисты, безработные, а также словацкие и венгерские революционеры, бойцы венгерской Красной Армии. У «Интергельпо» были свой герб и своя эмблема, изображающая трех рабочих, несущих на своих плечах земной шар. Равнинная местность между центром города Фрунзе и вокзалом, где предполагалось построить жилые и промышленные объекты коммуны, была в ту пору пустырем, поросшим ковылем, полынью и осокой. Переселенцы с женами и детьми нашли на первых порах убежище в полуразрушенном бараке, где до этого жили австрийские военнопленные. Киргизия по своей территории почти в полтора раза больше Чехословакии. Но население в ней в то время было едва ли в полтора раза больше, чем в одной Праге. Казалось, что люди здесь затерялись среди гор. Раскинувшийся в зеленой долине реки Чу город Фрунзе был тогда глиняным и пыльным городом: в центре его шумел базар, мимо тополей и арыков тянулись, покачиваясь, как лодки на волнах, караваны верблюдов.

Колонистам приходилось преодолевать тысячи трудностей.

Они были двоякого рода: и внешние (нехватка жилья, тропические болезни — в первый же год умерло от малярии восемь детей, стихийные бедствия и т. д.), и внутренние (разногласия и противоречия в коммуне, подрывающие ее единство и трудовой энтузиазм). Среди переселенцев были и любители приключений, мечтавшие лишь о деньгах. Те, кто надеялся на быстрое и легкое обогащение, не выдержали суровых испытаний и дрогнули. Нашлись даже изменники и вредители. Летом 1926 года, когда появились первые плоды работы всего коллектива, в коммуне от рук вредителя вспыхнул пожар. Сгорели столярная и слесарная мастерские: убытки составили 75 тысяч рублей.

Но коммуна пережила это испытание. Переселенцы из Чехословакии продолжали прибывать. Там, где некогда стояли глиняные дома, вырос белый городок. Ровные, широкие улицы, высокие тополя вдоль арыков, и в их тени, среди богатых садов, белые односемейные домики, большое здание школы, нового клуба. Загудела сирена текстильной фабрики, вступили в строй паровая мельница, кожевенный завод, предприятия пищевой промышленности. Такой увидела коммуну делегация чехословацких рабочих. Фучика и его друзей коммунары засыпали вопросами, настойчивыми, серьезными и шуточными:

— Как там у нас? Что говорят об «Интергельпо»? Это правда, что в стране уже триста пятьдесят тысяч безработных? Насколько сильна сейчас партия?

В «Интергельпо» Фучик чувствовал себя свободным и счастливым. По вечерам, когда багряный диск солнца катился к закату, а бескрайняя степь дышала жаром, как раскаленная печь, Фучик подолгу сидел с друзьями в саду у небольшого белого домика и слушал рассказы коммунаров. Его записная книжка быстро пополнялась. В пятилетней истории «Интергельпо» Фучик видел будущую историю всего чехословацкого трудового народа. Из ранее бесправных пролетариев вырастали гордые, уверенные в своих силах советские граждане. Да, говорил он себе, и мы когда-нибудь будем строить в нашей стране свое будущее, находя счастье в успехах и плодах своего труда, и плоды эти будут принадлежать только тем, кто заслужил это.

Газета «Советская Киргизия» 25 июня 1930 года опубликовала автограф и текст написанного Фучиком по-русски обращения к трудящимся Киргизии:

«Строителям социалистической Киргизии прощальный привет от делегации чехословацкого пролетариата, всем товарищам, которые строят социалистическую Киргизию, которые дали нам возможность увидеть своими глазами это великое дело,

прощальный привет. Мы ехали в страну, о которой буржуазные сказочники рассказывали как о дикой экзотической стране. Но мы попали в страну, темпы строительства которой значительно выше, чем в самых передовых „наицивилизованнейших“ странах капиталистического Запада. Единая кровь течет в жилах пролетариата Киргизии. Единая воля и творческая сила сплачивают его своей энергией. Трудящиеся Киргизии зарядили нас. То, что мы получили здесь, у вас, мы повезем всему пролетариату Западной Европы. Спасибо вам за все. Мы обещаем, что не прекратим своей работы до тех пор, пока великая стройка социализма не начнется у нас, в будущей Чехословакии».

После трехнедельного пребывания в Советской Киргизии чехословацкая делегация направилась в Казахстан. Дорога шла через труднопроходимые горы Курдая и бескрайние степи. По пути Фучик написал Густе коротенькое письмо:

«Большой привет, путница, любящая бродить по горам. Сейчас я как раз смотрю с высоты 3400 метров на долину и голые горные склоны и вспоминаю те маленькие и красивые холмики, которые называют Крконошами. Здесь же горы немного превышают 4600 метров, но подняться до вершины я не могу: солнце уже постепенно клонится к закату, мне пора спускаться вниз, где ждет автомобиль и вся делегация. Здесь я один, только в нескольких сотнях метрах подо мной видны киргизские юрты, где два часа назад меня так славно угостили. Девочка, никогда я не чувствовал себя таким свободным, как здесь. Тут прекрасно, и то, что я вижу в СССР, превосходит самые смелые мои предположения. Передай всем привет и скажи, что за то, что я здесь увидел, стоит бороться».

До гостиницы в Алма-Ате, где делегации предстояло жить, не доехали. Алма-атинские текстильщики, узнав о прибытии делегации, выехали встречать ее в пятидесяти километрах от города. Рабочие ждали до самой ночи — и дождались. Отвезли делегатов к себе на фабрику и там в одиннадцать часов вечера устроили собрание, затянувшееся до глубокой ночи.

На следующий день делегация была принята руководителями строительства Туркестано-Сибирской железной дороги, с которыми беседовала о состоянии строительства и значении Турксиба для Средней Азии.

Через шесть дней делегация приехала в Ташкент. Здесь она посетила механический завод Главхлопкома, кожзавод № 4, Красновосточный завод, фабрику «Красная Заря», хлопководческий совхоз-гигант «Пахта-Арал», расположенный там, где была Голодная степь. Раньше про нее говорили: «Птица пролетит — крылья опалит. Человек пройдет — ноги обожжет».

Прорезали степь оросительными каналами, напоили ее, дали жизнь столетиями пустовавшей земле. Фучик смотрел на плантации, где цвел розовым цветом, созревал хлопок. На шелководческой ферме он увидел, как выращивают целые леса тутового дерева — шелковицы для гусениц шелкопряда.

В Ташкенте малярия заставила Юлиуса слечь в постель, но через несколько дней его записная книжка снова наполняется множеством сведений об истории, мятежах в царское время, о бегстве жителей в Китай, где они превращались в рабов, о борьбе с басмачами… Это был настолько интересный, богатый материал, что Фучик не мог охватить его за одну поездку и решил во что бы то ни стало побывать здесь еще раз:

«Говорят, есть в Риме колодец, обладающий волшебной силой.

Если напьешься воды из него, полюбишь Рим глубокой любовью, снова и снова будешь к нему возвращаться. Так рассказывают люди, которые любят легенды.

Не знаю, вода из какого арыка Средней Азии могла бы годиться для такой легенды. Во всех арыках там вода мутная, такую поэты не воспевают в любовных песнях, да и у арыков там более серьезные дела: нужно напоить хлопковые поля, оазисы в степях, тутовые деревья, карагачи, которые дают тень, яблони, цветы. И пить из арыков не особенно приятно. Пока не привыкнешь, со страхом считаешь дни, требующиеся для того, чтобы тифозные бациллы начали действовать.

И все-таки ты, однажды пройдя по советской Средней Азии, полюбишь эту землю глубокой любовью, снова и снова будешь к ней возвращаться. Не вода, а люди имеют здесь такую притягательную силу, и это не волшебство, а сила рук их оказывает на тебя такое действие.

Жизнь здесь растет на твоих глазах».

Фучик неохотно уезжал из Средней Азии. Он полюбил этот край, полюбил не только его дикую, девственную природу, высокие, до небес горы, зеленые долины и бескрайние степи, не только его тысячелетнюю древнюю культуру и восточную экзотику базаров, мечетей и храмов, но главное — его талантливый народ, пробужденный Октябрем к новой жизни.

«Наша делегация, — писал Фучик в газете „Правда Востока“, — прибыв в Среднюю Азию, была поражена колоссальнейшим размахом строительства. В то время как капиталистические страны поражены острой безработицей (миллионы безработных пролетариев вынуждены буквально влачить жалкое существование), Советский Союз благодаря социалистической стройке не только ликвидировал безработицу,

но фактически еще больше нуждается в обученных и подготовленных кадрах. Наше пребывание в Средней Азии убедило нас еще в том, что европейское местное население республики рука об руку, без проявлений шовинизма и национализма строит, индустриализирует, коллективизирует этот огромный край».

Темпы, темпы, темпы. Это бросалось в глаза всюду, где побывала делегация в Средней Азии, и на обратном пути; в Самаре, Сталинграде, в Ростове-на-Дону, в Харькове, а затем снова в Москве и Ленинграде. «Кипи, ломая скалы, ударный труд», — пели в то время. На десять месяцев раньше срока вошел в строй Сталинградский тракторный завод. Свой первый трактор рабочие завода направили в подарок XVI съезду партии. Москва устроила посланцам завода торжественную встречу на всем пути от вокзала до Большого театра, где заседал съезд.

Завод «Ростсельмаш» оставил у Фучика неизгладимое впечатление: он мог выпускать в 1,5 раза больше сельскохозяйственных машин, чем все заводы царской России. В Харькове делегация побывала в детской коммуне имени Ф.Э. Дзержинского, которой заведовал А.С. Макаренко.

Фучик твердо решил, что о Советской стране он напишет книгу, когда вернется домой. В Москве он принял участие в организованной журналом «Вестник иностранной литературы», редактируемым А.В. Луначарским, анкете «Какова будет ваша позиция, если империалисты развяжут войну против Советского Союза?». На этот вопрос ответили многие прогрессивные деятели культуры на Западе. Фучик в письме в редакцию отвечал: «Сейчао я как раз езжу по Советскому Союзу и собственными глазами вижу чудеса пролетарского энтузиазма. Вижу гигантское строительство социализма. Вижу, как вы пересаживаете страну на автомобиль, а крестьянина на трактор. Вижу, как под рукой диктатуры пролетариата расцветает богатая, но отсталая Средняя Азия. И теперь лучше, чем когда-либо, я вижу, что первый наш долг — не допустить нападения обанкротившихся капиталистов на Советский Союз».

Наступил день отъезда на родину.

ПРАВДА, КОТОРАЯ УЧИТ

Вот я на родине и все ж тоскую,
Хотя вокруг все хорошо знакомо.
Хожу я по местам, любимым
с
детства,
Но странно: кажется, что я не дома.

Ян Неруда

Друзья и товарищи единодушно отмечали перемены в нем: окрыленность и стремительность. У Фучиков была та атмосфера непринужденности и простоты, какая с первых же минут пребывания гостя заставляет его отрешиться от скучных условностей и почувствовать себя здесь своим человеком.

— Похоже, ты все время там пил шампанское, — шутили друзья, оглушенные его бесконечными рассказами. — Тебя точно подменили в Средней Азии.

Ему задавали все новые и новые вопросы.

— Да оставьте вы его в покое, — просит Густа. — Я его и разглядеть еще не успела как следует. Правда, Юлек?

— Разглядишь на фотографиях, — улыбался он широкой открытой улыбкой, загорелый до черноты. — Сидеть и нежиться дома мне некогда, меня заждались в «Творбе».

Уже через два дня после возвращения делегатов «Руде право» поместила сообщение о том, что они будут выступать с отчетом на открытом собрании в Народном доме на Виноградах. Собрание организовал Союз друзей СССР — массовая организация, созданная в 1930 году по инициативе КПЧ. Подготовительный комитет, в который входили Б. Шмераль, И. Секанина, Ю. Фучик, так формулировал цели организации: «Ознакомить трудящиеся массы с правдой о СССР и организационно объединить их для всеобщей защиты Советского Союза против нападок империалистов».

Организаторам и активистам движения за чехословацко-советскую дружбу было нелегко. Фучик почувствовал это сразу же на первом собрании, которое открыл Ян Шверма.

— Сегодня уже не стоит вопрос, удержится или нет власть Советов. Сегодня диктатура пролетариата распространяется и на другие страны… Одним из средств борьбы империалистов против СССР является ложь. Более 12 лет по всему миру растекается грязный поток самых бессмысленных небылиц, вымыслов и клеветы о жизни и стремлениях рабоче-крестьянского государства. Тысяча рабочих все еще верят в эту ложь. Совершенно необходимо, чтобы трудящиеся массы узнали правду об СССР.

Две тысячи граждан, которые пришли приветствовать вернувшуюся из СССР делегацию и одновременно проститься со следующей группой рабочих, уезжающих в Москву, слушают затаив дыхание. Под бурные аплодисменты новая делегация принимает наказы от представителей пражских и других заводов. Один из делегатов, уезжающих в СССР, не успел закончить свое выступление. Встал полицейский комиссар и объявил собрание закрытым.

Поднялась буря негодования:

— Долой фашизм! Долой диктатуру буржуазии! Слово берет Фучик. Но говорить ему не дают. В зал ворвалась дюжина полицейских молодчиков. Его насильно стаскивают с трибуны и объявляют собрание закрытым. Фучик не отчаивается. В газете «Руды вечерник» он публикует свой репортаж «Из дневника чехословацкой делегации в СССР» (затем последовало еще семнадцать статей с путевыми впечатлениями), и через четыре дня после разгона собрания в Народном доме он собирается выступить на крупном митинге пражских рабочих в центре города у Пражшной Враны. Но полицейский комиссар, прервав вступительное слово А. Запотоцкого, запретил собрание. На сей раз полиция, оцепив весь район, действовала еще более решительно. Произошло кровавое столкновение. Начальник пражской полиции Долейш как только мог старался сорвать лекции о Советском Союзе.

Только 18 августа на собрании кооператоров Фучику удалось выступить, правда, в присутствии пяти полицейских комиссаров в зале, нескольких десятков шпиков и семи полицейских взводов, окруживших здание в этом тихом уголке города на Славянском острове.

Фучик говорил просто, доходчиво и убедительно. Он обладал способностью заставить слушателя чуть не осязать тот предмет или лицо, о котором он говорил. В Праге безмерно чтут хорошо сказанное слово. И Фучик любое явление, о котором он говорил, умел повернуть неожиданной и яркой стороной.

Заканчивая двухчасовое выступление, он сказал, что иногда

можно отвлечь внимание каких-нибудь делегаций шумом приемов, оркестров и речей, но в данном случае это было немыслимо.

— Мы прожили в СССР почти четыре месяца, проехали более 16 тысяч километров на поезде, на пароходе, в автомобиле, на лошадях, верблюдах и пешком. На каждом из этих 16 тысяч километров мы видели глубокие их следы пятилетнего плана великих работ. Мы побывали в Казахстане, в Киргизстане, в Узбекистане, в отдаленных уголках Средней Азии, где до сих пор не была ни одна заграничная делегация. Если бы советские рабочие покрывали потемкинскими деревнями пятилетки только эти 16 тысяч километров, чтобы ослепить фальшивым блеском чехословацкую делегацию; если бы они заложили основы индустриализации отсталой Киргизской республики и обводнили Голодную степь только ради прекрасных глаз пяти граждан Чехословакии, они проделали бы для столь незначительной цели достойную и основательную работу.

Фучику был устроен восторженный прием. Митинг закончился пением «Интернационала». Сразу же после собрания к нему подошел полицейский комиссар и спросил:

— Из вашей лекции, пан редактор, явствует, что вы были в Советском Союзе. Так это или нет?

— Я весьма польщен тем, господин комиссар, что не только рабочие, но и вы с большим вниманием прослушали мое выступление и правильно его поняли.

Ужаленный полицейский решил захлопнуть расставленную, как ему казалось, ловушку:

— Раз так, то возникает вопрос, каким образом вы попали туда без паспорта и без визы?

— Я не отрицаю, что был в Советском Союзе без заграничного паспорта. Я ездил туда изучать экономические, социальные, а также культурные условия жизни и вернулся в Чехословакию в начале августа 1930 года. Больше я ничего не скажу…

Третьего сентября Фучик был арестован, но и в полицейском управлении он твердо держался на своем. На допросах говорил обо всем, но только не о том, что интересовало полицейские власти. Положение Фучика осложнялось еще тем, что полиция «подняла старое дело», обвиняя его в совершенном полгода назад «публичном подстрекательстве к совершению воинского преступления, что подпадает под § 15 Закона об охране республики». Случилось так, что на одном из собраний, когда Фучик говорил: «Мы будем бороться против империалистической войны и всегда сумеем превратить империалистическую войну…» — в зале раздался выкрик: «В гражданскую!» Вместе с адвокатом

Иваном Секаниной Фучик объяснял упрямо следователю, что он имел в виду совсем другое:

— Я хотел сказать, что империалистическую войну мы превратим в оборонительную.

В декабре 1930 года его приговорили к четырем месяцам тюремного заключения (из них один месяц на хлебе и воде) и денежному штрафу в тысячу крон. Исполнение приговора откладывалось, и Юлиус продолжал выступать с лекциями и беседами.

Его имя приобретает среди рабочих все большую популярность, его приглашают на собрания, встречи, беседы не только в Праге, но по всей Чехословакии. Сыщики ходят за ним по пятам, а полицейский комиссар, как «ангел-хранитель», всегда в президиуме, если собрание разрешено. В этих условиях Фучик проявляет изобретательность, чтобы избавиться от «опеки», обойти рогатки цензуры. Однажды Фучика попросили выступить на собрании рабочих-строителей в Новых Высочанах. Полиция узнала об этом, окружила строительную площадку, а несколько шпиков тщательно осмотрели леса и помещения. Но найти докладчика им не удалось. Сирены возвестили о наступлении полдня. Начали стекаться рабочие. Из толпы в белом комбинезоне каменщика вынырнул Фучик. Он вспрыгнул на леса, рабочие сомкнулись вокруг него плотным кольцом, и собрание началось. Полицейский комиссар попытался было разогнать собравшихся, но, натолкнувшись на сопротивление рабочих, отказался от своего намерения…

Фучик постоянно в разъездах. Однажды его пригласили рабочие завода «Шкода» в городе Пльзень, и он с большим волнением и внутренним трепетом направился в город, где прошла его юность, где он рос, мужал, познавал мир. Одно только его тревожило: мэр города правый социал-демократ, и полицейские власти постараются «не ударить в грязь лицом» перед пражскими властями, загладить вину за то, что в свое время они «недосмотрели» за учеником реального училища. Предположение Фучика оправдалось. Как только он вошел в трактир, где было намечено собрание, полицейский комиссар (по иронии судьбы бывший однокашник Фучика) заявил:

— Собрание запрещено, пан редактор! Ничем не могу вам помочь!

— Хорошо, — спокойно сказал Фучик. — Закон есть закон. Но раз уж я оказался в городе пивоваров, я не могу не воздать должное замечательной продукции. Не возражаете?

Возражать было трудно, почти невозможно. На стене красовалась надпись: «Здесь начали варить и пить пиво раньше,

чем Колумб открыл Америку». Пиво с давних времен было у чехов любимым народным напитком. Изготовлялось оно в точном соответствии со строго установленными правилами, за соблюдением которых следили не менее строго и своеобразно. Вызывали кандидата в пивовары в ратушу и приказывали, чтобы он принес с собой пробу сваренного им пива. Эту пробу разливали на отполированную дубовую скамью, а самого пивовара в его «форменных» кожаных штанах сажали на это разлитое пиво. И должен он был сидеть, пока пиво не высохнет. Потом ему приказывали встать, и если скамья поднималась вместе с ним, то это была его удача. В противном случае его обвиняли мошенником и секли розгами на той же скамье.

Фучик подсел к одному из столиков и вступил в разговор с рабочими. Он объяснил им свой замысел, как обвести вокруг пальца полицию. Комиссар и полицейские застыли в дверях, готовые вмешаться, если кто-нибудь откроет собрание. Но в зале ничего подозрительного не происходило. Рабочие потягивали пиво, оживленно беседовали, и только за одним столом внимание было устремлено на Фучика, рассказывающего что-то вполголоса. Через некоторое время он переходил к другому столу, к третьему… Полицейские не торопились. Можно и подождать — добыча не уйдет. Ведь наверняка упрямство пражского редактора и интерес местной публики возьмут верх, и собрание будет открыто. Прошло несколько часов, но собрание никто не открывал. Полицейский комиссар сопел, кряхтел, вздыхал, чертыхался. До него долетали обрывки фраз:

— В Донбассе открыты дворцы и театры для детей, сам бывал в них.

— За услуги врача и место в больнице ничего не нужно платить. Даже за сложную операцию.

— В университетах детям шахтеров выдают стипендию.

— Выпьем же, друзья, за то время, когда и у нас все будет так же, как и у русских товарищей! Я обещал им, что такие времена настанут!

Полицейский комиссар подошел к Фучику и сказал:

— Если вы рассчитываете на то, что наложенный запрет на собрание будет отменен, то вы глубоко ошибаетесь.

— Спасибо за информацию, господин комиссар, — улыбаясь, ответил Фучик, — но собрание только что закончилось.

В конце сентября Фучика призвали в армию для прохождения срочной службы. К службе в армии он относился без энтузиазма и, будучи студентом, каждый год подавал прошение об отсрочке и получал ее. Год назад он не подавал прошение, но призван не был. Один раз вышло, почему бы не попробовать снова?

Пунктуальность не была сильной чертой Фучика, и он надеялся, как говорится, на авось.

Повестка окружного военного комиссариата застала его врасплох: именно теперь он как раз готовил большой цикл своих лекций.

«Наверно, потому я сейчас им и понадобился», — подумал он и не ошибся в своих догадках. Начальник пражской полиции Долейш не преминул обратить внимание военных властей на «подрывную деятельность редактора Фучика, опасного коммунистического агитатора».

Стоя в строю новобранцев на просторном военном плацу в городе Тренчин в Словакии, Фучик размышлял о своей будущей судьбе: «Любопытно, вот стоят испуганные новобранцы, глядят недоверчиво, исподлобья, они все такие разные, у каждого свое особое лицо. А не пройдет и полгода муштры, как они превратятся в безликую массу, в послушных солдат, которых можно направить куда угодно, даже стрелять в бастующих рабочих. Ну что же, послужим, посмотрим, как это делается».

Но произошло недоразумение. Начальство ли поверхностно ознакомилось с личным делом Фучика, или предписания пражской полиции застряли где-то в почтовом пути, как бы то ни было, произошло невероятное. При сортировке новобранцев Фучика как человека «с законченным гимназическим образованием» направили в офицерское училище в городе Кошице.

Но проучился он недолго.

Не прошло и недели, как в канцелярии было созвано экстренное совещание офицеров.

— Господа офицеры, — сказал таинственным голосом начальник училища, — произошла пренеприятная история. Слушайте внимательно, господа. Пренеприятная история, нелепая оплошность, черт бы ее побрал. Представьте себе, в нашем училище занимается коммунистический агитатор, редактор газеты «Руде право» Юлиус Фучик!

При этих словах офицер из отделения разведки и контрразведки запыхтел и проглотил какую-то невысказанную фразу. В комнате сразу воцарилась такая напряженная тишина, что слышен был легкий хрип начальника училища, который страдал одышкой.

— Ввиду большой опасности, которую Фучик представляет для нашего училища и для всей армии, необходимо предпринять некоторые шаги…

Офицеры выслушали длинную лекцию о «подрывных элементах», о воинской дисциплине, о послушании и долге

офицеров стоять на страже благонадежности армии. На другой день слова начальника повторяли с таинственным видом командиры рот на собраниях командиров взводов, а те, в свою очередь, передавали их командирам отделений. Поползли слухи и разговоры среди курсантов, дошли они вскоре и до самого Фучика. Теперь он знал, что дни его пребывания в офицерском училище сочтены, но и при всей своей фантазии он никак не мог предположить, что развязка выльется в фарс, словно разыгранный по роману Гашека.

Началось с того, что его вызвали на медицинскую комиссию, хотя всего только несколько дней назад врач, осмотрев новичка, засвидетельствовал его «годность к строевой службе». Несомненно, что бравому солдату на медицинской комиссии было тяжелее, чем курсанту Фучику. Ведь его, как известно, обследовали три врача, принадлежавшие к трем противоположным научным лагерям. Среди многих каверзных вопросов ему задавали и такие, как: «Сколько будет, если умножить двенадцать тысяч восемьсот девяносто семь на тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят три?» Фучика обследовал только один врач. Он молча, с двусмысленной улыбочкой заполнял графы истории болезни, нисколько не смущаясь тем, что его диагнозы — чистейшая выдумка: «Очаг в верхней части левого легкого, пораженная правая сторона, неврастения, расширение сердца». После этого в полдень, когда личный состав обедал, Фучика вызвали в канцелярию, и начальник училища строгим официальным тоном заявил:

— Курсант Фучик, ввиду тяжелого заболевания вы не можете продолжать занятия и должны немедленно отбыть обратно в Тренчин. Через 45 минут отходит ваш поезд. Сейчас же соберите свои вещи и отправляйтесь на вокзал до возвращения личного состава из столовой. Ясно? О готовности доложите командиру роты. Можете идти.

Это был поистине необычный приказ: ни волокиты, ни рапортов, ни протоколов, просто убирайся, да поскорее! Фучик играл свою роль до конца и сделал все для того, чтобы опоздать на дневной поезд и вечером распрощаться с товарищами так, как он хотел.

В письме Густе он писал:

«Не мог даже послать тебе весточку из Кошице, и вот я снова в Тренчине. Быстрота, с которой меня вышвырнули из офицерского училища, достойна восхищения. Прощание удалось на „лаву! Семена я здесь все-таки посеял“».

…Через несколько дней командир 17-го пехотного полка в Тренчине читал личное дело Фучика и подчеркнул красным

карандашом там такие слова: «Временно не годен из-за катара верхних легких. Дать ему годовой отпуск, после чего снова послать на комиссию. Обратить внимание врачей на секретную бумагу… Комиссии следует учесть его политическую неблагонадежность…»

Так, в начале ноября Фучик снова появился в Праге в качестве запасного солдата, находящегося в «длительном отпуске», и сразу же включился в активную лекционно-пропагандистскую деятельность. Третьего ноября он выступал на собрании в Народном доме на Панкраце. Получив на следующее утро донесение об этом, начальник полиции Долейш был поражен:

— Как, разве Фучик не в армии?

Он диктует секретарше письмо военному комиссару в Кошице с грифом «Совершенно секретно»:

«Согласно секретной информации, известный редактор коммунистического журнала „Творба“ и весьма активный деятель коммунистического движения Юлиус Фучик… призван с 1 октября 1930 года для прохождения действительной военной службы в одной из неизвестных нам воинских частей округа Кошице.

Прошу сообщить, начал ли вышеупомянутый Фучик отбывать воинскую повинность, был ли он демобилизован или получил отпуск, ибо установлено, что 3 ноября 1930 года он выступал на собрании коммунистов в Народном доме на Панкраце. Согласно другим секретным донесениям перед призывом в армию Фучику было поручено вести антимилитаристскую пропаганду среди новобранцев и сообщать о настроениях в воинских частях коммунистическому центру в Праге».

Начальнику полиции нельзя было отказать в стремлении вскрыть более глубокие взаимосвязи там, где он видел антигосударственную деятельность. Здесь, как видно из этого письма, его фантазия расцветала пышным цветом.

Ответ на это письмо пришел не сразу, а только через пять недель, когда бумаги прошли все воинские инстанции. В нем сухо говорилось, что Фучик «на основании врачебного освидетельствования уволен в долгосрочный отпуск».

— Надо раз и навсегда положить конец этой опасной деятельности редактора Фучика, — строго сказал Долейш, прочитав донесения о его новых выступлениях.

— Вы должны заставить замолчать этого новоявленного Марко Поло, за-мол-чать! Понятно? — кричал он в телефон подчиненному, несообразительность которого усиливала его гнев. — Как? Это уж ваша забота… Придумайте что-нибудь, да

только с умом… предупреждаю… У них в руках, к сожалению, еще находится печать… И потом — настроение толпы. Сейчас, перед выборами, надо действовать осторожно, да, осторожно, люди слишком раздражены…

Фучик вскоре почувствовал «опеку» со стороны полиции. 13 ноября после выступления на Славянском острове при выходе из здания его арестовали. У Фучика при себе был портфель с материалами для очередного номера «Творбы», и когда он хотел передать его Ивану Секанине, полицейский агент ударил Юлиуса резиновой дубинкой по руке. В течение недели Фучик тщетно добивался допроса, находясь в «серой, промозглой от холода» камере-одиночке. В ушах у него стояли слова полицейского:

— Здесь, по крайней мере, вы отдохнете. Ведь у вас теперь столько докладов об этой большевистской России…

С ним обращались как с преступником, но Фучик не стал слабее, мягче, податливее. Выйдя на свободу, он в первом же номере «Творбы» на фоне символической черной тюремной решетки опубликовал открытое письмо-протест начальнику пражской полиции Долейшу: «Нам кажется несколько странным, что именно в то время, когда не проходит ни одного дня без нескольких собраний, посвященных Советскому Союзу, вы принимаете валом в свой санаторий людей, которые, возможно, и утомлены докладами о СССР, но не имеют ни малейшего желания отдыхать от своей работы и неоднократно были просто ошеломлены вашей заботливостью.

Вы, господин начальник, знаете, что огромный интерес к Советскому Союзу прямо зависит от условий, в которых живет чехословацкий пролетариат, что рабочие не только слушают, но также и учатся. А вы думаете, что этому воспрепятствуете, если посадите в тюрьму докладчика. О святая простота! Правде об СССР уже не зажмете рта. Правда о Советском Союзе разрушает все ваши препятствия и учит, учит, и как учит!

Ваши старания напрасны, даже если вы делаете гораздо больше, чем ваш предшественник. Очень низким был уровень методов этого вашего предшественника. Вы носите фамилию Долейш (по-чешски „долейш“ — ниже. — *В. Ф.*), но это не обязывает вас стремиться еще более катиться вниз, господин начальник полиции».

Начался поединок с полицией. Как ни старался Фучик уберечься, «не нарываться на конфликт с законом», его постоянно привлекали к ответственности. Любое высказывание, положительно оценивающее политическое или экономическое положение в СССР, рассматривалось полицией как выпад против республики. Судебные иски следовали один за другим, и

приводной листок Фучика вскоре заполнялся записями о длительных и кратковременных «отсидках».

За выступление в городе Костелец Фучика приговорили к четырехмесячному заключению. Фучик говорил два часа. Слушатели были внимательны и любопытны: как обстоит дело со страхованием в Советском Союзе, как с лесным хозяйством, что такое фабрики-кухни, как дела с тракторами и, главное, о Красной Армии. Хотя положение в Европе, казалось, не вызывало серьезных опасений и дипломаты, эти «оптимисты по профессии», говорили о столетнем мире, слушатели-рабочие знали о больших военных заказах «Шкоды», о подготовке к войне.

При этих словах полицейский комиссар закрыл собрание и написал донос, что Фучик подстрекал чехословацких граждан дезертировать в Красную Армию. В донесении обращалось внимание также на то, что «по некоторым высказываниям» докладчика он (полицейский комиссар) пришел к убеждению, что «в населенных пунктах тайно устраиваются запрещенные сходки, на которых обсуждается подрывная программа коммунистов. Вероятно, подобные сходки происходят по всей Чехословакии по приказу Москвы». И на этот раз Фучику инкриминировалось нарушение Закона о защите республики.

За выступления, посвященные СССР, Фучика приговаривали к девяти с лишним месяцам заключения. В его защиту неоднократно выступала газета «Руде право». В августе 1931 года она писала: «Арест товарища Фучика вызывает в пролетарской общественности большой и понятный отклик, так как товарищ Фучик был очень хорошо известен по многим лекциям и собраниям, где он рассказывал о жизни и современном положении в СССР. И этот отклик получил особую окраску именно потому, что товарищ Фучик был арестован и взят под следствие за слова, которые он произносил на этих лекциях и собраниях».

В то время одним из наиболее активных антисоветчиков был редактор бульварной газеты «А-Зет» Франтишек Клатил. Он выдавал себя за «знатока» советской жизни. В отличие от махровых антикоммунистов Клатил нет-нет да и признавал некоторые неоспоримые успехи советской экономики, чтобы снискать популярность у рабочей аудитории и с большей убедительностью проводить мысль о том, что Октябрьская революция — это чисто русское явление, что чехословацкий пролетариат пойдет к социализму другим, «эволюционным» путем и что для Чехословакии, промышленно развитой страны, революция и диктатура пролетариата неприемлемы.

Фучик понимал, какой вред приносят эти искусные подделки

под истину, выросшие на почве интереса к Советской стране, и решил разоблачить демагогию Клатила. В газете «Руде вечерник» от 16 сентября 1931 года появилось обращение:

«Все, кто интересуется СССР: рабочие-социал-демократы и национальные социалисты! Приходите сегодня, в среду, в семь часов вечера, в виноградский Народный дом! На этом собрании вы сами решите, кто говорит правду об СССР — редактор газеты „А-Зет“ Ф. Клатил или рабочие-делегаты?»

Зал Народного дома был в тот вечер заполнен до отказа. Слушатели теснились в проходах между рядами, у дверей и на эстраде, возле председательского стола. Собрание открыл Иван Секанина. Он предоставил слово Клатилу. Но национал-социалистического редактора на собрании не оказалось. Вместо него на трибуну вышел Фучик, который заявил, что… заменит Клатила. Он, мол, хорошо знает его статьи о Советском Союзе и с удовольствием окажет ему дружескую услугу. Фучик стал излагать взгляды и аргументы Клатила, умело пересказывая содержание его газетных статей о СССР. И хотя эти статьи в своем большинстве были знакомы слушателям и многие из присутствовавших в зале рабочих верили в написанное, в «исполнении» Юлиуса аргументы Клатила приобретали настолько гротескно-комический характер, что через несколько минут случилось неожиданное для самого Фучика. Несколько рабочих, побывавших недавно в составе делегаций в СССР, поднялись с мест и громко стали перебивать Юлиуса, опровергая вымыслы Клатила. Они попросили Фучика поделиться собственными впечатлениями об увиденном, рассказать о жизни в далекой Средней Азии. Собрание затянулось на четыре часа.

Через несколько дней Фучик пришел на собрание в Чаковицы под Прагой, где Клатил выступал на заманчивую тему: «Взоры пролетариата всего мира обращены к спасителю Европы — России». Присутствие Фучика связывало руки Клатилу, ему нужно было и выполнять «социальный заказ» своей национально-социалистической партии, и в то же время не оттолкнуть от себя рабочих, не уронить престиж «знатока» советской действительности. После выступления Клатила началась дискуссия. Первым выступил Юлиус. На собраниях национал-социалистов полицейских не было, и такую благоприятную возможность Фучик упустить не мог. У него были с собой, как всегда, фотографии из Советского Союза, на которых запечатлены гигантские новостройки, новые фабрики и заводы, колхозы, школы и больницы. Он сразу пустил их по залу. Клатил провел в СССР всего несколько дней как турист, и ему трудно было прокомментировать фотографии, когда к нему обращались

рабочие. В зале гул растревоженного улья. Фучик и рабочие наступали на Клатила, но у редактора «А-Зет» иссякли все аргументы, и он просто-напросто сбежал.

На другой день Фучик опубликовал в газете «Руды вечерник» открытое письмо:

«Клатил, не удирай! Я принимаю вызов!

Наконец-то, господин редактор „А-Зета“, мне удалось услышать ваши россказни о СССР. Для этого мне пришлось ехать в Чаковицы! Знаю, что вы оказались там в трудном положении. Перед вами сидели люди, познавшие СССР немного глубже, чем вы, и имевшие возможность говорить всю правду, следуя своему глубочайшему внутреннему убеждению. Они не боялись, что это повредит им в личной жизни, так как им это уже повредило; они говорили без оглядки на буржуазию, служить которой не желают. За полчаса вы были вынуждены признать гораздо больше того, что было написано вами за последние три недели в ваших иллюзорных статейках. Верю, что после этого вам было особенно трудно сидеть на двух стульях.

Мне жаль вас, но вы зашли слишком далеко. Вы шумели, как трус, который хочет обезопасить себя хотя бы в данную минуту. Вы заявили, что не боитесь рабочих-делегатов и какого-то там господина Фучика, мол, пусть он приезжает на ваши выступления в Пльзене, Остраве или Кладно, и вы покажете ему, где раки зимуют. Это был вызов, господин Клатил, между тем вы, к сожалению, исчезли с такой поспешностью, что уже не слушали моего ответа. Приходится поэтому отвечать вам в письменной форме.

Я принимаю, господин Клатил, с восторгом принимаю ваш вызов и буду как тень сопровождать вас по дорогам нашей родины до тех пор, пока у вас не пропадет охота говорить рабочим о СССР так, как вы говорите, о нем сейчас. Однако в Чаковицах вы слишком поторопились, и мы не успели договориться об условиях. Надеюсь, они не покажутся вам неприемлемыми:

Прошу вас сообщать мне заблаговременно, когда и где вы будете говорить о СССР, по адресу: Союз друзей Советского Союза, Прага II, улица Соукешщкая. Почтовые расходы, разумеется, я беру на себя. Если вы откажетесь от этого условия, я буду добросовестно разузнавать о каждом вашем выступлении и приходить на него.

Обеспечьте мне слово на ваших собраниях. Я никогда не буду говорить дольше вас.

Не сбегайте, пока я не кончу…» Полемическая дуэль Фучика с Клатилом проходила как конфронтация идей и взглядов,

конфронтация правды и лжи. Фучик стал тенью своего оппонента, преследовал его буквально по пятам.

Несколько раз Фучику удалось застигнуть Клатила па собраниях и дать ему открытый бой. Он умело разбивал доводы Клатила, распутывал клубок его путаных взглядов и аргументов. Клатилу ничего не оставалось делать, как жаловаться на резкость и грубость Фучика и убегать с собраний. Правда побеждала.

Фучик не оставлял своего замысла написать книгу о СССР, но работа над ней шла урывками: целыми днями он находился либо в редакции «Руде право» и «Творбы», либо в разъездах по стране. За год после возвращения из СССР он прочитал 370 лекций и докладов. Фучик использовал каждую свободную минуту. Он знал, что хочет написать и для кого написать.

Отдельные главы, а также сюжетные приемы он вначале испытывал на слушателях, проверял точность, убедительность своего подхода к событиям и фактам, искал и находил доходчивую, впечатляющую форму:

— Слушают, начинают верить — значит, будут и читать!

Чтобы книгу могли купить широкие круги читателей, и прежде всего рабочие, он публиковал ее у издателя партийной литературы Карела Борецкого отдельными частями, по мере того, как двигалась работа — каждые две-три недели по тридцать две страницы. Он долго думал, ломал голову над названием книги. Варианты, споры, опять варианты. Кто-то из товарищей подсказал:

— Спутанный календарь… Перевернутый календарь?

— Близко, по мысли совсем близко, но все же еще не то.

Он нашел название, которое даже друзьям показалось сначала странным: «В стране, где завтра является уже вчерашним днем». Непривычное и длинное название. Ему хотелось, чтобы уже само название книги было знаменательным, отражало тот невиданный, ошеломляющий темп, с каким создавалась промышленность в Советской стране.

«Я отказался от мысли отразить в этой книге то, что происходит у вас сейчас, я могу говорить только о том, что было до того момента, когда мы уезжали от вас. Вашу современность может запечатлеть, да и то только на час, лишь стенографическая телеграфная запись. Все, что при мне строилось, уже вступило в строй. Я видел груду кирпичей, а теперь они уже превратились в стены зданий. То, что вчера было в идее, сегодня уже живет. Вы рассказывали мне о том, что будет завтра, а это уже стало вчерашним днем. Таковы ваши темпы.

В вашей стране завтра уже отошло в историю, а жизнь идет в послезавтрашнем дне».

Подзаголовок конкретизировал идею книги: «О людях, которые делают пятилетку». Книга была написана в форме разрозненных очерков и репортажей. И это не случайно. В конце двадцатых годов репортаж как жанр привлек к себе внимание многих писателей. Некоторые критики даже полагали, что репортаж начинает конкурировать с романом. Возникали жаркие дискуссии. Фучик внимательно следил за ними, но в спор открыто не вмешивался. Пока он выступал как практик, и только в 1937 году, имея большой опыт репортерской работы, он напишет: «Хороший репортаж делается на основе небольших, конкретных случаев, фактов, хотя и красочных, но вовсе не исключительных. Только из них можно создать живой и верный образ людей и событий, называемый репортажем. Таких небольших типичных фактов обычно не хватает, их нужно искать, вылавливать из гущи текущих событий, выхватить из серой, на первый взгляд однообразной массы дня, и если ты хочешь по справедливости оценивать репортера, то нужно принимать во внимание не только то, как он пишет, но и то, как он видит.

Недостаток красочных, но вместе с тем типичных случаев и фактов — это обычная трудность, которую приходится преодолевать репортеру. Но в Советском Союзе репортер сталкивается с другим: не с недостатком, а с избытком материала. Со всех сторон, каждую минуту, буквально на каждом шагу он сталкивается с таким количеством типичных, прекрасных, живых фактов, настолько соблазнительных, что ему ежеминутно, каждый раз хочется начать новый репортаж, вытесняющий тот, о котором он думал минуту назад».

Книга Фучика написана в полемическом и наступательном тоне:

«— Спрашиваю вас: видели вы там истощенные лица и голодную смерть миллионов людей?

— Нет!

— Спрашиваю вас: видели вы там обобранные деревни и отчаяние крестьян, сознающих свой близкий конец?

— Нет!

— Спрашиваю вас: видели вы недовольство, которое не сломишь никаким террором? Видели вы бунты против большевистских узурпаторов?

— Нет!

— Видели вы казни? Видели вы, как голодных и недовольных людей ставят к стенке и расстреливают на глазах близких, тут же на площади или на улице?

— Нет!

— Не видели? Так я и думал. Этого вам не показали. Ничего

вы не видели!»

Затем перед автором возникает другой собеседник, простой и честный человек, который хочет знать правду о СССР. Эмоциональная окраска их разговоров совсем иная. Автор не хочет скрывать от своего читателя недостатки и трудности, увиденные им в Советской стране: «Если бы я лгал, я ни с кем бы не нашел общего языка, ибо рабочие не верят в чудеса». Его ответы на вопросы воображаемого собеседника проникнуты суровой правдивостью.

«— Товарищ, видел ты там трудности?

— Да.

— Товарищ, ты в самом деле видел очереди перед магазинами? Длинные очереди мужчин и женщин, стоящих за пайком?

— Да.

— Видел ты плохо одетых людей, рабочих в рваных костюмах, свидетельствующих о нужде?

— Да».

Первый выпуск книги вышел в мае 1931 года тиражом около десяти тысяч экземпляров и был моментально раскуплен. Книга оказалась в центре внимания не только общественности, но и властей, цензуры.

На основании § 14 Закона об охране республики прокуратура в Праге конфисковала только в предисловии более 70 строк и предложила уголовному суду, чтобы он «эту конфискацию подтвердил, дальнейшее распространение книги запретил и конфискованное издание приказал уничтожить».

На защиту книги выступила КПЧ. Клемент Готвальд во главе группы депутатов парламента обратился с письмом к министру юстиции:

«Автор книги „В стране, где завтра является уже вчерашним днем“ побывал в Советском Союзе, и в предисловии он делает сравнение очень осторожно, потому что ясно сознает, что пишет свою книгу в республике, где министром юстиции являетесь вы, господин министр…» Цитируя снятые места книги — почти три страницы делового и правдивого описания положения, в каком автор застал капиталистические страны по возвращении на родину, — Готвальд комментировал действие цензора следующим образом: «Это все, господин министр, конфисковал Ваш прокурор. Просто-напросто отвергнул тот факт, что в капиталистическом мире существует безработица, что рабочие спят перед вокзалами, собирают в пыли булки и едят их, что они умирают от голода, прибегают к самоубийству как средству покончить со своим бедствием, что власти сажают их в тюрьмы,

что на заводах вследствие безумной рационализации часто бывают смертельные травмы, что в рабочих стреляют и мертвых хоронят… Предполагаете ли вы, что скрытие фактов поможет вам, или это признание в том, что для вас уже нет спасения?» — иронически спрашивает он министра.

После выхода первого выпуска издательство Борецкого обратилось к читателям с призывом: «За каждую запрещенную строчку — одного нового подписчика! Мы хотим добиться того, чтобы книгу сразу читали десять тысяч граждан Чехословацкой республики…»

Летом 1931 года Фучику было поручено сопровождать в СССР большую молодежную делегацию, состоявшую из сорока рабочих. Он успешно провел делегацию через границу, проводил их до Берлина, но в течение трех недель надо было ждать визы. Юлиус поселился в рабочем квартале у своего друга писателя Вайскопфа. В маленькой мансарде со скошенным потолком Фучик продолжал писать очерки о Советском Союзе. При этом он не упустил возможности ознакомиться с Берлином, на улицах которого часто происходили стычки пролетариата с фашистами. Больше всего Фучика интересовал пролетарский Берлин. Юлиус увидел, какими ловкими политиканами и демагогами были рвущиеся к власти нацисты, как виртуозно играли они «на струнах мещанских сердец», разжигая в них шовинизм и милитаризм.

На этот раз выехать из Германии в СССР Фучику не удалось. Паспорт у него оказался просроченным, а выехать с паспортом на чужое имя в составе довольно многочисленной делегации, где практически все знали его, он не решился. Получив срочную телеграмму из редакции «Творбы», Юлиус направился в Прагу, но не пешком, а на поезде, что закончилось для него встречей с полицейским и арестом. Его отправили в тюрьму Панкрац.

В письме, написанном спичкой на обрывках бумаги и тайно вынесенном из тюрьмы, Фучик с тревогою писал своему другу Курту Конраду, заменившему его в редакции «Творбы», о судьбе своей книги:

«Милый Курт!

Мой отпуск был неожиданно продлен… Я беспокоюсь, что будет с моей книжкой. Она еще не готова. Если бы я мог писать ее здесь, я расценил бы тюрьму как хорошее монастырское заточение. Но здесь настоящая тюрьма, и где-то внизу на складе краденых вещей лежит чемодан моих материалов, советских книжек и заметок, которые едва ли могут служить обличающими документами против меня. А мне они были бы очень нужны. Но вместо них я читаю литературу из тюремной библиотеки».

Выпуски книги выходили через неравные промежутки

времени в течение целого года. Первая часть состояла из шестнадцати выпусков. Фучик понимал, что величие успехов советского народа станет особенно наглядным, если показать препятствия, стоящие на его пути, трудности и недостатки. «Если бы наша делегация вернулась со сказками, мы бы не почувствовали уже на первом собрании, на котором мы хотели рассказать правду, полицейские дубинки на своих спинах, наши собрания не были бы разогнаны, наши статьи не были бы конфискованы, и нас бы не арестовали… Нехватки в Советской стране — это не лохмотья на тощем замерзшем теле бедняка. Это одежда ребенка, который вырос из нее. Смотришь на него: штанишки выше колен в плечах узко, рукава до локтей… Ну, парень, плохо дело, вот-вот все на тебе затрещит, вырос ты из своей одежды…

Но…

Но как ты растешь! Как крепнешь и мужаешь, какой ты здоровый, рослый мальчик! Ты уже не ребенок, ты уже зрелый муж!

И уже незаметны на нем узкие брюки и курточка. Видна только молодая, сильная фигура, широкая грудь и крепкие ноги».

Читатели, передовая критика по заслугам оценили книгу Фучика, вышедшую в 1932 году. Ладислав Штолл и Бедржих Вацлавек расценили ее как крупный успех чешской пролетарской литературы. Мария Пуйманова писала в «Творбе»: «Я прочитала эту книгу в один присест. Что захватило меня в ней? Ее конкретность. Меня отталкивает, у меня вызывает недоверие все высосанное из пальца, надуманное, бездоказательное, мне претит ораторское краснобайство…

Фучик вник в жизнь Советского Союза глубже, чем обычные туристы. Он увидел и узнал столько, что мы можем ему лишь позавидовать… Он умеет расспрашивать, внимательно слушать и убедительно рассказывать. Невероятно обширный материал он добросовестно и терпеливо обрабатывает и, как это всегда бывает, когда человек целиком захвачен темой, торжествует над ним. В книге Фучика есть страницы, которые ценны отнюдь не только своей документальностью: такие эпизоды, как застекление тракторного завода в мороз или поездка с человеком, который нашел нефть, — это настоящая эпика…»

В тюрьме Фучик провел десять дней. С помощью адвоката ему удалось убедить следователя в своей невиновности. Обвинения в присвоении чужого паспорта с него сняли, а его друг Гакен обеспечил Юлиусу «прописку». После того как Фучик в 1930 году выписался от Бореков, он в течение года жил без прописки на квартире у Густы, но он не хотел подвергать ее опасности. Об

этой квартире знали только самые близкие друзья. Гакен прописал Фучика по адресу своих хороших знакомых, а как только полиция стала наведываться сюда, он снова «прописал» Фучика по новому адресу.

В ГУЩЕ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ

Мне рок сказал: поэтом чешским

стань,
Но пой лишь о страданиях народа,
О том, как силой попрана свобода,
И песен горькой болью души рань,

Ян Неруда

В октябре 1929 года на бирже в Нью-Йорке произошла небывалая финансовая катастрофа. С этой «черной пятницы» начался мировой экономический кризис, который потряс самые основы экономики капиталистических стран, развенчал красивые теории-небылицы буржуазных и социал-демократических экономистов о «капитализме без кризисов», о «вечном процветании и экономическом подъеме».

Чехословакия держалась дольше остальных стран и поэтому больше года чувствовала себя счастливым «островом спокойствия и порядка». Но когда с конца 1931 года кризис обрушился всей своей силой и на Чехословакию, буржуазия выбросила лозунг: «Все мы в одной лодке», утверждая, что кризис требует от всех классов одинаковых жертв и лишений. Кризис имел в ЧСР и свои специфические черты, Он был более затяжным и глубоким, чем в большинстве остальных капиталистических государств. Объем производства сократился почти в два раза и упал ниже довоенного уровня. Даже по приглашенным официальным данным число безработных в 1930 году дошло до 500 тысяч, а в 1933 году армия безработных насчитывала свыше миллиона человек. Примерно каждый третий рабочий не имел работы. Заработная плата понизилась на 50–60 процентов.

Больше всего пострадал от кризиса рабочий класс. Но огромные лишения выпали также на долю крестьянства: цены на сельскохозяйственные продукты падали на 40–60 процентов, крестьянские хозяйства разорялись. Кризис поразил также и средние слои, торговцев-ремесленников и мелких производителей. Их имущество с молотка распродавалось и за

бесценок скупалось мощными трестами, крупными предприятиями.

В стране складывалась неустойчивая, тревожная политическая атмосфера. В столице как ни в чем не бывало давались торжественные, пышные банкеты в честь принцев, генералов и директоров банков, в светских салонах звучали веселые вальсы и слова о гуманизме, демократии и любви к народу, но в воздухе уже чувствовалась тревога. Пролилась кровь рабочих в Радотине, поднималась широкая волна недовольства, неудержимо надвигались грозные события. Первый удар грома пришелся на Северную Чехию, горняцкий, наиболее промышленно развитый край.

Четвертого февраля 1931 года в Духцове жандармы расстреляли демонстрацию безработных шахтеров. На обледенелом шоссе остались лежать четверо убитых и несколько тяжелораненых.

Заметая следы преступления, жандармы стали распространять в близлежащих магазинах и трактирах слухи о том, что якобы демонстранты состояли в основном из подозрительных элементов, были вооружены не деревянными палками, а железными шестами и готовили не что иное, как грабеж и большую резню в городе. Эту «информацию» подхватили буржуазные журналисты.

В парламенте Готвальд разоблачает эту ложь и смело заявляет представителю государственной власти:

— Вы дорого заплатите за жизнь каждого рабочего!

Прошло всего четыре часа после трагедии, а Фучик уже прибыл в Духцов. Проезжая раньше по этому краю, он видел рудничные вышки, на верхушках которых беспокойно мелькали два рудничных колеса, вращающихся в противоположном направлении. Первое впечатление было тягостным. Толпы людей толкались перед запертыми воротами — взволнованные женщины, хмурые молчаливые мужчины. Серое небо, изможденные фигуры людей на грязных улицах, видна поношенная одежда, морщины, ввалившиеся щеки, узелки жил, мутные и горящие глаза, восковая кожа, бледные губы, лихорадочный румянец. Странная тут была даже природа: за деревьями видны терриконы, за холмами — груды шлака, контуры шахтных построек рисовались на фоне закатного неба, силуэты копров походили на эшафоты.

Фучик осматривает место происшествия, расспрашивает очевидцев, беседует с представителями местных властей в присутствии свидетелей-горняков. Шахтеры его знают, доверяют ему. Он не посторонний, беспристрастный наблюдатель, для него

шахтеры были не просто объектом наблюдения и исследования, сочувствия и сострадания. Это был его родной класс, и его нужды и интереса, заботы и настроения, муки и радости тех, кто вел здесь самую настоящую борьбу за существование, борьбу с нищетой, голодом и холодом, прошли через ум и сердце Фучика. Он потрясен:

«У нас имеются люди, общественные деятели, которые твердят о себе, что они справедливы. Вот им и карты в руки… Итак, я обращаюсь к тем, кто считает себя справедливым. Публично предлагаю, чтобы они сами немедленно создали гражданскую комиссию, которая расследовала бы под общественным контролем северочетских рабочих хотя бы только самые характерные обстоятельства духцовских выстрелов и подала бы об этом докладную записку…»

За несколько дней лихорадочной работы Фучик собрал 126 показаний, на основании которых он подготовил репортаж о кровавой трагедии, ее причинах, истинных виновниках. Душу Фучика захлестывает чувство ярости, когда он понял, что цензура не пропустит в свет его материалы. Он ищет выход из создавшегося положения и находит его. Фучик попросил депутата от КПЧ Недведа зачитать репортаж на заседании парламента и таким образом имунизировать его — превратить в документ, не подлежащий цензуре. 10 февраля репортаж прозвучал в здании парламента как обвинительный документ большой обличительной силы. Маски были сорваны. Но и после этого председатель сената вычеркнул некоторые фразы и даже целые абзацы из репортажа для «Творбы».

Фучик задумал опубликовать в «Творбе» фотографии убитых рабочих. Но он никак не мог достать портрет Йозефа Студнички, двадцатисемилетнего безработного шахтера, бедного настолько, что он ни разу в жизни не сфотографировался.

Фучик решил во что бы то ни стало раздобыть снимок.

Несколько комсомольцев помогли Фучику проникнуть в морг, где под охраной жандармов лежали тела убитых. В кармане брюк с прорезным отверстием у него был спрятан фотоаппарат. Фучик стоял и смотрел на неподвижное, черное от запекшейся крови лицо Студнички. Справа на груди зияла глубокая рана от жандармского штыка. Как только часовой отвернулся, Фучику удалось навести объектив на лицо убитого шахтера и нажать спуск. Но снимку не суждено было увидеть свет: часовой услышал, как щелкнул аппарат, и отобрал пленку.

Фучик посвятил событиям в Духцове целый цикл статей.

«Я возвращаюсь домой подавленным, — писал Фучик, — я видел в морге эти четыре трупа, четыре восковые фигуры, на

которых пули старательно обозначили свой смертельный полет. Еще вчера это были четыре молодых человека, рабочих, которые голодали. Они шли в Духцов, чтобы узнать, долго ли им еще мучиться. Дома их ждали жены, невесты, родители. Они не вернулись…

Я возвращаюсь домой подавленным. Нет, спать невозможно. В Дедвицах собрание. Выступают рабочие. „Справедливость требует!.. Я иду к товарищу, муж которой тяжело ранен и находится в больнице. С некоторой робостью бросаю взгляд на ее лицо. Нет. Глаза женщины не красны от слез. Двое маленьких ребятишек стоят рядом и смотрят на ее руки, погруженные в таз. Она стирает белье своего мужа. Таз полон крови. С ними она разговаривает, не бросая стирки. Это она сказала мужу на прощание: „…Ты можешь гордиться этим!“ Взволнованный, он проговорил: „Смотри, не плачь дома“. — „Ты же знаешь меня!“ — только и ответила она с упреком. И не скорбь поселилась в ее осиротелой душе, а ненависть, одна лишь ненависть“».

В статье «Похороны», рассказывая о том, как бастующие рабочие хоронили своих товарищей, он назвал толпу шахтеров «танком истории», вкладывая мысль о великих потенциальных силах, заключенных в народе, и о том, что неминуем исторический час, когда они придут в действие.

Похороны превратились в боевой смотр сил рабочего класса. В них приняли участие тысячи рабочих и шахтеров со всей округи — из Лома, Годловки, Моста, Теплиц. Даже из далекого Усти пришла многочисленная колонна под красным знаменем.

За три дня до этого в Духцов собрались безработные на большой митинг. Их было несколько сот. Теперь по центральным улицам города двигаются в безмолвии десятитысячные колонны. Они идут не для того, чтобы оплакивать мертвых, они идут, чтобы продемонстрировать свою силу.

Из этого репортажа Фучика о похоронах цензор вычеркнул примерно половину текста. Еще бы! Ведь Фучик писал не только о горе и скорби, но решимости рабочих отомстить за смерть павших, победоносно завершить борьбу, начатую их товарищами.

«Не пастор с кадилом стоит над свежевырытой могилой. Выступают революционные рабочие, красные знамена реют над их головами, рабочие говорят от имени тысяч. Внезапно поднимается целый лес рук. Сжатые кулаки. Тысячи кулаков. И тысячи голосов торжественно произносят слова клятвы… Красные знамена развеваются в снежном сумраке, за ними шагают десять тысяч рабочих. Теперь они не безмолвствуют, а поют. Их голоса разрывают тишину. Они двигаются стремительно, как лавина. Скорбь свою они затоптали в снег. Они горды и уверены в своих

силах. Не скорбь владеет ими, а ненависть! Это демонстрация силы, а не бессилия.

Нас миллионы, и мы победим!»

Кризис охватывал все новые и новые районы страны, и министерство внутренних дел отдало тайное распоряжение очищать площади городов от «просителей, бунтовщиков, простонародья», беспощадно подавлять любые попытки протеста против голода и безработицы.

Не прошло и четырех месяцев после расстрела в Духцове, как снова пролилась кровь рабочих — на этот раз в Восточной Словакии, в Кошутах. Буржуазные газеты признают, что сельскохозяйственные рабочие Кошут были голодны и возмущены, но тут же добавляют, что «коммунисты-подстрекатели» только «ловили рыбу в мутной воде», что рабочим надо было действовать «подумавши», с. большей осторожностью.

Фучик присутствует на первом заседании парламента после кошутского кровопролития. Стоя в ложе журналистов, он смотрел вниз, на скамейки, предназначенные для представителей аграрной, социал-демократической и национально-социалистической партий. Перёд полупустым залом взволнованно выступал сенатор-коммунист Микуличек.

В редакцию «Творбы» Юлиус Фучик влетел взволнованный, с перекошенным от злости лицом. Товарищи обеспокоены:

— Что с тобой, Юлек? На тебе лица нет.

Ему тяжело выразить все, что у него на душе.

— Вы можете себе представить, какую сцену я видел в парламенте. В тот момент, когда сенатор говорит об убитых рабочих, с полупустых скамей с трудом поднимается какая-то гора мяса и бросает реплику: «Эй, вы, снова у вас появился материал для демагогии!» И смеется. За ним смеется сенат. В этот момент я пожалел, что у меня нет киноаппарата. Это был бы фильм, который я демонстрировал бы и в рабочих кварталах, и среди деревенской бедноты без слов, без заглавия, без единого комментария. Один точный сухой фильм, пленку заседания самого высшего органа демократии. Ничего более. И вероятно, никогда уже потом я не должен был бы взять перо в руки, чтобы объяснять, что такое демократия.

Фучик запечатлел эту сцену в статье «Демократия победная», но ее читала только цензура. Синий карандаш цензора оставил глубокие следы и на репортаже Ладислава Новоменского «Кошуты», опубликованном Фучиком.

Положение крестьян в Словакии было особенно тяжелым. «Если следующий урожай будет плохим, — говорили они, — нам придет конец». Нищета, как покрывалом, окутала землю.

Ежегодно тысячи людей покидали эту, казалось, проклятую богом землю и бежали в поисках работы за океан, в Америку, страну золота, молочных рек и кисельных берегов. Капитализм, этот строй, который, употребляя выражение К. Маркса, заставляет «как отдельных людей, так и целые народы идти тяжким путем крови и грязи, нищеты и унижения», на глазах Фучика превратился уже не просто в тормоз исторического развития, но и угрозу самого существования сотен тысяч людей. Это и порождало растущую, пусть в большинстве случаев пока стихийную, тягу к изменению существующих порядков.

Убийцами в Кошутах были жандармы, но к суду и на этот раз был привлечен и осужден «за подстрекательство» один из ведущих руководителей Коммунистической партии Словакии, депутат Штефан Майор. Не впервые виновные судили невиновных. Антикоммунистическая пропаганда формировала взгляды и понятия не только тех, на кого она была рассчитана, но нередко и тех, кто ее проводил. В политике это весьма опасно, ибо создавало превратное представление о коммунистах и основу для беззакония и полицейского произвола.

Пражские рабочие организовали сбор денег в пользу семей погибших и в своем письме написали: «Те, чья кровь была пролита в Кошутах, — наши братья. Они боролись за себя и за нас».

Тридцать четыре известных чешских и словацких писателя подписали Манифест протеста, среди них Фучик. Теперь Юлиус занят тем, как организовать протест представителей прогрессивной интеллигенции против судебной практики в буржуазной юстиции.

Он на первых двух полосах «Творбы» опубликовал открытое письмо группе профессоров Карлова университета В. Тилле, Ф. Крейчи, Ф.К. Шальде и поэтам Махару и Магену.

«Уважаемые господа, — взволнованно писал Фучик, — с кафедры университета и со страниц своих книг вы учили юношу, а он слушал внимательно, стараясь сохранить в памяти все, что живо… Теперь, как хороший ученик, я чувствую себя обязанным вернуть вам часть того, что получил… Нельзя молчать! Вы старше меня. Вы — мои учителя… Но мне невыносимо ваше молчание потому, что я вас уважаю, потому, что вы были моими учителями… На вас ложится ответственность как на каждого, кто в эту минуту не чувствует необходимости бороться».

Фучик обращался ко всем мастерам культуры с призывом поднять голос против жестокости властей, пытавшихся утопить в крови забастовочное движение. Среди интеллигенции есть немало людей, которые искренне мечтают о справедливости,

хотели бы, чтобы больше было добра и меньше зла. Это Фучик знал хорошо. Но многие не идут дальше своих мечтаний, не отдают всех своих сил на борьбу за эту мечту, отсиживаются вдали от арены борьбы, от ударов, погрузившись в свои мечтания, как в пуховую перину. Выступая на VI съезде КПЧ, Фучик говорил о том, как привлечь интеллигенцию к борьбе КПЧ.

«Служащая интеллигенция, несмотря на всю радикализацию, тонет в море мелкобуржуазных предрассудков и привычек. Буржуазия крепко связала ее мещанскими путами. Бороться с этим мы можем, только проводя систематическую работу… Мы должны указать путь, по которому мелкобуржуазная интеллигенция сумела бы выйти из дремучего леса духовного кризиса, должны объяснить ей, что ее интересы тесно связаны с интересами пролетариата».

В своих «Записных книжках» Шальда опубликовал в это накаленное время статью о кризисе интеллигенции. В ней он вспоминал о героических доблестях, когда-то отличавших великих основателей науки и искусства, но сейчас, по его мнению, утраченных. Принципиальность, идейность подвергаются осмеянию. Общественная добродетель! Незыблемые принципы! Великие идеи! Всю эту ветошь — на мусорную свалку! Идейным ценностям теперь противопоставлены земные, материальные, положение в обществе, деньги, богатство. Смысл жизни не в служении истине, а в наслаждениях! Кто хочет быть свободным, должен иметь деньги, а кто хочет иметь деньги, должен поступиться свободой. Где же выход?

«…Некоторые рекомендовали болезненному интеллигенту, — писал Шальда, — идти к классово сознательному рабочему и в обращении с ним стараться обрести утраченную веру, без которой невозможна полноценная жизнь». Представление Шальды, этого кабинетного ученого, о рабочем было свое: по его мнению, рабочий хочет только прибавки к зарплате, просто хочет чуть получше жить, и этим стремлением к житейскому благополучию исчерпывается вся его мечта и сила. Шальда отвергал мнение, что интеллигент может обрести утраченную веру в общении с классово сознательными рабочими.

В правом лагере торжествовали, в левом предпочитали отбиваться от врагов из стана реакции и не вступать в полемику с бывшими или потенциальными союзниками. Еще лет десять назад Шальда сам провозгласил себя дедушкой самого младшего поколения чешских писателей. Но теперь между «дедушкой» и «внуками», прошедшими суровую жизненную школу в период острой классовой борьбы, проходила черта, через которую Шальда никак не мог переступить. Диагноз Фучика точен: «И это

было не различие возрастов, это было различие классов». Так писал Юлиус в журнале «Левый фронт», редактором которого был его друг Ладислав Штолл, в статье «Вера угольщиков». Если поворачивать стрелки часов далеко назад, далеко на века, то там можно найти человека, мечтавшего найти точку опоры, с помощью которой можно было бы повернуть земной шар. А теперь, по мнению Фучика, рядом с нами, на земле, есть «угольщики», рабочие, и их идеи гораздо более героические и отвага более смелая.

«Мы, люди веры „угольщиков“, не хотим науки, поддерживающей рабство, не хотим искусства, помогающего угнетению, — писал Фучик. — Мы хотим освобождения всех творческих сил, боремся за свободного человека, свободного рабочего, свободного творца. Хотим творчества, какого нигде в прошлом не найдешь. На одной шестой света оно уже существует. На одной шестой света расцвет жизни уже доказывает справедливость нашей веры „угольщиков“. Пусть те, у кого уже нет более сил, и дальше по-разному мир объясняют, рисуют, воспевают. Мы, люди веры „угольщиков“, его изменим».

Второй удар пришелся на Фривальдовский район. Забастовку каменотесов поддержали рабочие всего района, женщины и молодежь. В спешном порядке сюда был вызван жандармский генерал из Брно и подкрепление из 200 жандармов, вооруженных не только винтовками, но и пулеметами. Когда демонстранты приближались к городу, жандармы открыли огонь и убили восемь человек. Их жестокость дошла до того, что они прикладами и дубинками угрожали тем, кто хотел оказать помощь тяжелораненым. Волна возмущений прокатилась по всей республике. Перед пятнадцатью тысячами граждан, участвовавших в похоронах ни в чем не повинных жертв, выступил Клемент Готвальд. В газете «Руде право» Фучик опубликовал репортаж «Как живут и умирают фривальдовские рабочие», а в «Творбе» — протест против действий полиции, подписанный многими коммунистами и деятелями культуры.

По мере нарастания классовой борьбы буржуазные газеты изощрялись в стремлении оклеветать коммунистов в глазах масс. Первое, что инкриминировали коммунистам, это то, что они, мол, не отражают интересы нации, что они «агенты иностранной державы».

— Как, коммунисты — патриоты? Шмераль наверняка привез из Москвы новую политику!

Другое, обычное обвинение в том, что коммунисты — это представители разрушительного начала. Они хотят все разрушить, сломать, переделать. Даже от людей, которые жили в

нищете, можно было услышать: «Вы, коммунисты, правы, но вы же идете против нашего государства». Это произносилось таким тоном, словно они хотели сказать: «Но вы же против народа».

Фучик тогда страстно доказывает, что если кому-либо в мире и соответствует слово «патриот», так это во многом коммунистам: «Мы любим свой народ и поэтому не хотим, чтобы миллионы его граждан жили в голоде и в нищете. Мы любим свой народ и поэтому не хотим, чтобы несколько его представителей могли эксплуатировать огромное большинство народа, чтобы они могли обкрадывать и притеснять его. Мы любим свой народ и поэтому не хотим порабощения других народов, их ненависти. Мы любим свой народ и поэтому боремся за свободу большинства этого народа».

В марте 1932 года в Северной Чехии вспыхнула Мостецкая стачка, крупнейшая и наиболее значительная не только в Чехоеловакии, но на всем Европейском континенте. Горнякам шахты «Гумбольдт» были вручены увольнительные листы. Первые четыре горняка подписали их, пятый — коммунист — отказался. Рабочие всей шахты объявили забастовку. Толпа возбужденных горняков двигалась от шахты к шахте, и всюду работа прекращалась. Через десять дней весь угольный бассейн прекратил работу, бастовало двадцать пять тысяч горняков. Стало сто шахт из ста четырех. Гремел лозунг: «Единство — стачка — победа!»

Фучик приехал в Мост, когда «черная лавина» катилась дальше. Открылась конференция делегатов бастующих шахт. С волнением вошел Юлиус в зал, до отказа заполненный гудящей, клокочущей массой людей. Здесь вырабатывалась и утверждалась тактика стачечной борьбы, от нее зависел успех или поражение. Шахтеры с негодованием отвергали попытки реформистских профсоюзных деятелей свернуть забастовку. Сюда прибыл Клемент Готвальд, Ян Шверма, Антонин Запотоцкий.

— Как это называется, когда генерал среди боя отводит свои полки, уступая победу врагу? — задает вопрос Готвальд.

В зале гремит тысячеголосый ответ:

— Измена!

— Сейчас борются шестнадцать тысяч шахтеров. Что это такое, когда реформистские организации предлагают своим членам отказаться от активных действий?

Зал единогласно отвечает:

— Измена!

После дебатов избирается забастовочный комитет в составе пятидесяти четырех человек.

В районе устанавливается военное положение, появились

расклеенные на стенах домов приказы: «Собираться на улицах и общественных местах запрещается… По отношению к подстрекательским элементам будет неукоснительно применяться военная сила».

Забастовочный комитет организовал оборону, появились наспех сооруженные баррикады. За ними тысячи бастующих, их оружие — камни. На шахтах были расставлены посты, не допускавшие штрейкбрехеров к работе, сотни велосипедистов курсируют по шоссе. Это «Красная кавалерия» — многочисленная группа велосипедистов, которые развозили приказы забастовочного комитета и привозили ему сообщения со всей территории, охваченной забастовкой.

Фучик в это время метался между Прагой и Мостом. Он стал свидетелем первого столкновения между жандармами и демонстрантами, пуля попала ему в ногу, и рана зажила лишь через три недели.

В Праге при «Творбе» создан комитет содействия бастующим шахтерам. На одном из заседаний Фучик с заговорщическим видом спрашивает Штолла:

— Ладя, а ну угадай, с кем я завтра еду обратно в Мост?

— Рыбак? Крейчи?

— Еду с Марией Пуймановой. Ты знаешь архитектора Кейржа, ее друга. Едем вместе, на его машине!

— Согласилась? Ей это интересно?

— Представь себе, сразу же приняла мое приглашение. Пуйманова — большой талант, честная, тонкая душа. Как может быть безразличным ей то, что там сейчас происходит?

Штолл надолго задумался. Он знает, что туда Фучик уговорил приехать группу передовых писателей. Среди них Геза Вчеличка, Витезслав Незвал, Владислав Ванчура, Карел Новый. Чтобы туда поехала Пуйманова? Да, он прав в оценке этой писательницы с чуткой душой, полной сочувствия к простым людям, ласковой человечности. Но вместе с тем ее окружение, ее аристократический салон, где бывают даже такие типы, как редактор Фердинанд Пероутка — циник, слуга всех господ? Конечно, Мария знает цену подобным людям, но все же… как это утонченная женщина из состоятельной семьи будет чувствовать себя среди шахтеров?

— Это ты здорово придумал, Юлек! В добрый путь!..

Они провели там вместе несколько дней, когда стояли необычно лютые морозы. Элегантно одетая женщина, дочь университетского профессора, с детства привыкшая к комфорту, окружению людей, увлеченных литературой и искусством, оказалась среди жалких лачуг, кричащей бедности,

полуголодных, полубольных людей. Она потрясена ужасным положением «белых северных рабов». Что-то круто переворачивалось в ее душе. Ее поражало и то, как хорошо Фучик знал общественное и материальное положение шахтеров, их образ мыслей, их жизнь. Он объяснял, почему возникла и разрослась стачка, «рассказывал мне обо всем этом так живо, так интересно, что мне казалось, будто я читаю роман».

«Я вижу его как сейчас — смелый поворот головы, беспокойные фиалковые глаза. Живой, как ртуть, умный, как черт, вспыхивающий, как искра. Склонность к риску, любовь к приключениям, презрение к опасности и благородная юношеская готовность броситься в огонь во имя идеи. Так и случилось. Это был пламенный человек, один из тех, кто сохранил во внешности, в быстрой реакции мальчишеское очарование героя пьесы Чапека „Разбойник“. Фучик был удивительно искренен, когда речь шла о борьбе за идею. В существе каждого человека есть свой стержень, на который нанизывается все, что он чувствует, думает, делает, переживает. У Юлиуса Фучика таким стержнем была коммунистическая убежденность… Когда дисциплине покоряется огонь, это заслуживает еще большего восхищения, чем когда ей подчиняется гранит!» — писала затем Пуйманова…

В Праге Фучик позвонил ей:

— Написали для «Творбы»? Прекрасно, замечательно! Спасибо, а теперь напишите для буржуазной прессы. Пусть наш голос услышат и те, кто не заглядывает в наши журналы!

Она написала статью в журнал «Пршитомность» («Современность»), журнал, основанный неким Пероуткой для борьбы с коммунистами. Редактор не мог отклонить просьбу своей старой приятельницы и поместил репортаж, полный горячей симпатии к шахтерам, в то время, когда другие буржуазные газеты, да и сам журнал, называли забастовку «коммунистическим путчем».

Несмотря на жестокие репрессии, рабочим удалось добиться удовлетворения большей части их требований. Этот успех мостецких шахтеров во многом был связан с успешным использованием КПЧ тактики единого фронта.

Мостецкая стачка получила широкий отклик не только в стране, но и в международном рабочем движении. XII пленум Исполкома Коминтерна, происходивший в августе — сентябре 1932 года, рассмотрел вопрос об опыте КПЧ по руководству забастовочной борьбой рабочего класса, движением безработных. Клемент Готвальд в содокладе на пленуме указал, что КПЧ добилась успеха потому, что стремилась к установлению прочных связей с массами, выдвигала требования, выбирала направление

и методы работы, которые помогли массам убеждаться в правильности политики коммунистической партии.

«Массы надо принимать такими, какие они есть, а не такими, какими они должны были бы быть, — говорил он. — Надо не командовать массами, а вести их за собой, не путать завод или организацию с казармой, быть большевиком, а не прусским фельдфебелем. Массы признают наше руководство и пойдут за нами не за наши громкие слова; они пойдут за нами, только убедившись в правильности нашей политики, которая поможет им на собственном опыте понять, что правда — за нами».

…Фучик знал, что у него самый разный читатель. У сознательного рабочего он найдет сочувствие и разбудит желание сплотиться в борьбе против капиталистических порядков; другие «всей силой своих испуганных и напряженных нервов» захотят увидеть в этом «преувеличение», кое-кто будет надеяться, что их «хата с краю», что это где-то далеко, в другом городе, на другом предприятии, «в другом мире». Он учитывал психологию смирения, безверия и привычного полуциничного скептицизма. Многие, например, могли прочитать в газетах, что в США, Канаде или Бразилии в результате кризиса сжигаются миллионы тонн пшеницы, сотни тысяч тонн кофе уничтожаются в печах паровых машин, миллионы тонн зерна выбрасываются в океан, на другом берегу которого умирают от голода миллионы рабочих и крестьян. Как это ни чудовищно и ни парадоксально, но это стало привычно. Всем давно это было известно. Но для многих читателей это явление приобрело совсем иной смысл, когда в газетах появилось сообщение: «У Подмокльской пристани было потоплено 100 000 килограммов зерна, испортившегося от долгого лежания».

«Атлантика далеко, — пишет Фучик. — Воды Лабы мы видим собственными глазами. До американских берегов от нас несколько дней пути. До Подмокльской пристани всего два часа езды.

Страшно слышать далекие слова о голодной смерти. Но еще страшнее слушать, как урчит в голодном желудке твоего собеседника. Ты можешь не понять рассказов. Но ты не можешь не понять, если видишь сам, если ты сам взвешиваешь факты, если являешься их непосредственным свидетелем». От такого факта, от такой правды не уйти и не отвернуться. В очерке «100 000 килограммов под водой» он приводит результаты многочисленных интервью, взятых у самых разных людей, начиная со спекулянтов на хлебной бирже и кончая безработными.

«100 000 килограммов зерна было выброшено в Лабу всего в

нескольких шагах от того места, где от нищеты утопились два молодых парня, утопились потому, что у них не было работы. На мертвых сыпался хлеб, которого они не могли получить, пока были живы».

В редакции любили Фучика за его готовность прийти на помощь друзьям.

Его друг Йозеф Рыбак вспоминал: «Мы видели в нем романтика, фанфарона, актерский талант молодого человека с поэтической душой, иногда немного легкомысленного, у которого всегда на все есть время. Было в нем что-то озорное. Людей, которые не были его единомышленниками, он мог жестоко разыграть, но его остроумные проделки всегда свидетельствовали о его интеллектуальной силе».

ИЗ ГАРНИЗОНА В ГАРНИЗОН

Мне рок сказал: простым солдатом

будь!

Ян Неруда

Армейские власти снова вспомнили о «рядовом, в долгосрочном, вплоть до переосвидетельствования, отпуске» Фучике, и вот он 28 сентября 1932 года с чемоданчиком в руках переступил порог уже известной ему казармы 17-го пехотного полка в городе Тренчине. Был день святого Вацлава, покровителя чешской земли, считавшийся тогда официальным праздником, начальству было не до Фучика, и он в первый же день службы получил увольнительную. Все вначале складывалось как нельзя лучше, и он рассчитывал на то, что его пребывание в армии будет не 18 месяцев, как полагалось, а таким же скоротечным, как два года назад.

Фучик направился в Братиславу к своему другу Владимиру Клементису, который пригласил его совершить «небольшое альпинистское восхождение по погребкам». Человек большого душевного обаяния, Клементис много ему показал и рассказал. Братислава показалась Юлиусу чудным и волшебным, милым городом среди прелестей «вечной природы» под венцом «Лунных гор» («Монтес лунае», как называли Малые Карпаты римляне), с виноградниками на склонах холмов, над быстро бегущими водами Дуная. Город лежал как на ладони, когда друзья поднялись на высокую гору у древней крепости Девин, где стрижи и голуби пухом устилают гнезда. Камни, из которых построены дома, не темно-серые, как в Праге, а светлые. Под синим небом и лучами яркого солнца они переливаются всеми оттенками светлых тонов. И башни в Братиславе иные. Это не готические, величественные темные башни старой Праги, а барочные, причудливые, На одной фигурной маковке еще маковка, еще и еще, и все они точно нанизаны на длинный острый шпиль. Архитекторы многих национальностей и эпох строили Братиславу, и поэтому она разностильна, лишена строгости, в ней чувствуется улыбка, затейливость, живая фантазия. Большой, грузный, похожий на перевернутый ножками вверх письменный стол, старинный замок возвышается над

городом как гнездо гигантской птицы. Стены его помнят нашествия турок и татар.

Запомнились Фучику знаменитые братиславские погребки. Здесь кипит сама жизнь. Печальную, тягучую песню словацких пастухов сменяют волшебные струны скрипок. Они то плакали древней как земля цыганской скорбью, то трепетали и захлебывались в неудержимой, залихватской удали и радости. Словаки общительны, любят повеселиться, друг с другом наговориться, а подвыпив — сплясать. Трудно удержаться, когда от песни сотрясаются стены, а от задорного танца ходуном ходят половицы. К Юлиусу подлетела раскрасневшаяся танцорша:

— А ну выходи, цыган!

Так Фучика называли в юности друзья, находя в его внешности что-то цыганское. Он встал. Любил он песню и горячий танец. Сорвался, закружился. Утомленный, разгоряченный, вернулся Юлиус за свой столик. Хорошо ему сегодня, легко на душе, он и предполагать не мог, что случайная увольнительная обернется для него встречей со старым другом, с которым они вместе работали в студенческом журнале «Авангард».

Вернувшись из Братиславы в Тренчин, Фучик и на этот раз не задержался более суток. Хорошо зная политическое лицо «рядового» и решив избавиться от «опасного коммунистического агитатора», начальство направило его в военный госпиталь в город Ружемберок на медицинскую комиссию, даже не выдав ему солдатскую форму. К удивлению Фучика, врач-майор, осматривавший его, отказался от фальшивой диагносцировки и признал его годным к строевой службе.

Воспользовавшись наличием журналистского проездного билета, незадачливый воин отправился из госпиталя в Тренчин через… Прагу. Это был большой крюк для кого угодно другого, но не для него. Разве можно упустить возможность хоть несколько часов побыть в Праге, среди друзей? Даже если это и закончится гауптвахтой?..

Еще целые две недели в Тренчине он был на особом положении: ходил в штатском. Юлиуса это не смущало. Напротив, он вспомнил старое греческое изречение: «Желая посрамить одного из знаменитых мудрецов, хозяева на званом обеде посадили его на самое отдаленное и неудобное место. Но мудрец сказал с кроткой улыбкой: „Вот средство сделать последнее место первым“». Фучик сразу оценил преимущества своего положения. По солдатскому «телеграфу» разнеслась весть: «Среди нас редактор-коммунист».

Солдаты сразу полюбили этого человека, который может

поделиться последней сигаретой, написать, когда надо, всевозможные прошения, посоветовать, как поступать, когда у кого-нибудь возникал конфликт с начальством. Нередко издерганных, измученных муштрой солдат охватывала бессильная ярость, удесятерявшаяся тоской по дому. И тогда вновь на помощь приходил Фучик; у него всегда была про запас какая-нибудь шутка и рецепт для разрешения неурядиц. Он убеждал солдат, что гнев — плохой советчик, что нужно сплотиться, так как солидарность — лучшая защита от произвола офицеров.

О своих первых армейских впечатлениях Фучик писал:

«Передо мной тут целая галерея самых разнообразных образцов. Юноша, который с радостью ухватился за армию, избавившую его от занятий, и теперь в страхе ожидающий возвращения домой; штабной писарь, который восемнадцать лет дул в фагот в военном оркестре (одно время, кстати, под началом дядюшки), а теперь заносит в ведомости центнеры картофеля и буханки хлеба, потому что выдул свои легкие; австрийский национал-социалист, который родился и прожил всю жизнь, как и его отец, в Штырском Градце, но, являясь чехословацким подданным (его дед был уроженцем Хеба), должен служить в нашей армии, иначе у него не будет документа, необходимого для женитьбы (Австрия отказывает ему в подданстве; он безработный и потому „обременительный иностранец“); шахтер из Гандлове (ему дважды пришлось выбираться из обвалившейся штольни), тихий, неуклюжий человек, над которым насмехаются, которого обижают без зазрения совести все младшие чины (перед сном он шепчет, что, кргда выйдет срок, он позовет их к себе в Приевидзы и всадит им нож в спину), и т. д. Обширная галерея самых разных образов. Придешь к этим людям вечерком, и они раскрывают перед тобой свою душу, доведенные до слез и отчаяния бесчеловечным отношением начальства. И никому из них служба не нравится. Солдатам — потому, что им хочется свободы, низшим чинам — потому, что у них много высчитывают из жалованья и что их ремесло обеспечивает им всего лишь блестящую нищету, которую они сами никак не назвали бы блестящей».

На пятнадцатый день пребывания Юлиуса в части на него все-таки надели военную форму, и теперь он с окончательной ясностью понял, что его радужным надеждам пришел печальный конец, что теперь он не скоро вернется в Прагу, в редакцию, где он так нужен. С трудом, медленно и тяжеловато он втягивался в суровую воинскую дисциплину, в строевую муштру, осваивался с укладом новой армейской жизни. Первое, чему учили с особым

усердием, что буквально вдалбливали в голову солдатам, была заповедь:

— Забудьте о том, чем вы были до сих пор. Теперь вы не мальчики, а солдаты, и каждого указания и приказания старших слушаться и подчиняться ему беспрекословно!

Как в каждой буржуазной армии, офицеры были начисто оторваны от народа, варились в собственном соку. Их сознательно превратили в касту с ее спесью, с ее ни на чем не основанном представлением о своей исключительной роли в жизни страны, о «чести мундира». Офицеры держали солдат в постоянном состоянии раздражения ежеминутными нервными замечаниями, мелкими придирками, тупыми повторениями одних и тех же скучных, до смерти надоевших слов и указаний, удручающих нотаций. «Первое столкновение с военщиной я все же не проиграл: борьба, можно сказать, длилась пять недель, — пишет Фучик, — и все это время новобранцев атаковали и торжественными речами, и строгими придирками, и проповедями о благородном величии военной службы, и всякого рода дерганием: перегонкой с работы на работу, с учебы на учебу… Господа… превращают казарму в фабрику автоматов — бегающих и припадающих к земле, а также и послушно стреляющих, как только нажмется соответствующая кнопка приказа».

У Фучика созревает замысел написать цикл рассказов о солдатской жизни. Материал сам шел в руки, надо только внимательно зафиксировать увиденное и услышанное. Экономический кризис в стране ощущался и в армии, он основательно вытряс государственную казну, и власти экономили на всем, в том числе на солдатах, которые не имели права, да и не могли протестовать. Фучик пишет Густе: «К нам в казармы приходят ребятишки — перелезут через ограду или протиснутся между прутьями, иногда сердобольный часовой пропустит, — приходят и просят хлеба. Раньше мы им давали, но теперь у нас у самих нет. Знаешь, как это тяжело, когда ребенок просит: „Кушать хочу“, а у тебя у самого брюхо подводит! Нам уже даже никто не внушает, что все это мы должны защищать…» Понемногу он втянулся в повседневную казарменную жизнь. Однако через несколько недель служба перестала его «занимать», у него начались приступы тоски. Для человека активного, огромного динамического потенциала, требовавшего разрядки, нет ничего более тяжелого, как отрыв от деятельности. Он, кто привык всегда быть там, где бурно кипит жизнь, где борьба, где собрания и манифестации, где забастовки, стычки с полицией, теперь сидит, как птица в клетке, и чувствует прямо-таки физически свою заброшенность, зависимость. Его удручала необходимость

повиновения а бездействия, в то время как за стенами казарм бастовали рабочие и крестьяне, а он бессилен был им помочь. 16 ноября 1932 года жандармы разогнали демонстрацию в селе Поломка, застрелив двух человек. «Говорят об этом очень много, — пишет он в письме Густе, — все здесь страшно возмущены. Это был слишком серьезный удар но нашим отупевшим чувствам и мыслям. Ребята понимают, что они тоже могли попасть в положение жандармов на Горегроне». За каждым движением Фучика пристально следили. Командир роты тайком рылся в его чемодане, проверяя, нет ли там запрещенной литературы, под разными предлогами лишал его увольнений, выпытывал, с кем он встречался, о чем говорит, кому пишет.

Доносчиком был один ефрейтор. Грубо и неуклюже вертелся он около Фучика, умышленно задавая ему каверзные вопросы. Тот все же раскусил «своего» парня. Взвод как-то раз возвратился с обеда. Солдаты воспользовались минуткой свободного времени для того, чтобы навести порядок в чемоданчике, пришить пуговицу, черкнуть несколько слов домой. Ефрейтор подошел к Фучику и завел с ним один из своих обычных разговоров, надеясь уличить его в какой-нибудь крамоле. Все это выглядело, как в знаменитой беседе шпика Бреттшнайдера в трактире «У чаши» с героем романа Гашека. Вкрадчивым голосом ефрейтор спросил Фучика, нравится ли ему немецкий гимн. Фучик ответил уклончиво, и тогда ефрейтор как бы между прочим обронил:

— Вы, наверное, охотнее поете русский гимн, чем наш?

— Да, вы правы, — ответил Фучик с видимой охотой.

— А какой у русских гимн? Может, споете его, а то я ни разу не слышал, — полюбопытствовал ефрейтор, предвкушая момент, когда он доложит начальству, что коммунистический агитатор пел в расположении взвода «Интернационал».

Фучик запел по-русски, не особо громко. У солдат, услышавших знакомую мелодию, загорелись глаза. Фучик оказался в центре тесного круга. Внезапно один из немцев, северочешский шахтер, подхватил слова гимна, за ним — два словака, один чех, затем еще несколько человек. Мелодия крепла, и вскоре каменное здание казармы огласилось звуками «Интернационала». Пел весь взвод, пел так, что дребезжали стекла. Лишь побледневший от страха ефрейтор стоял, не зная, что делать. Ему уже виделось грозное следствие по делу «красных», виновником которого — о ужас! — был он сам! Такая случайность, а вылилась она в настоящую демонстрацию. Начальство сочло нужным замять эту историю. Как-то Фучика вместе с другими солдатами назначили в наряд, который должен был нести почетный караул во время воскресного богослужения в

местном костеле. Фучику не хотелось идти в наряд, тем более что именно на это воскресенье несколько товарищей, с которыми он познакомился в Тренчине, пригласили его на загородную прогулку. К тому же ему хотелось вывести из равновесия командира роты, слывшего «человеком из железа», который, не зная ни честолюбия, ни жалости, ни любви, ни привязанности, спокойно и холодно, как машина, наказывал солдат.

На следующее утро Фучик постучал в дверь канцелярии командира роты и с невинным видом, разыгрывая из себя Швейка, отрапортовал:

— Господин штабс-капитан! Разрешите обратить ваше внимание на одно обстоятельство, имеющее прямое отношение к моему назначению в почетный караул. Я неверующий, и, мне кажется, будет оскорблением, если я пойду в костел воздавать хвалу господу богу. Это — приказ, и я его, разумеется, выполню, но может получиться скандал, если вдруг в газетах напишут, что редактору «Руде право» была оказана честь нести караул в храме господнем.

— Догадываюсь, кто об этом напишет, — перебил его штабс-капитан и, подумав минуту, добавил: — Я поступлю так, как сочту нужным. Идите!

В результате штабс-капитан «счел нужным» освободить Фучика от «почетного» воскресного наряда. То ли он действительно согласился с аргументами Фучика, то ли просто испугался его скрытой угрозы.

Командир полка решил во что бы то ни стало избавиться от Фучика. В ход уже было пущено все: взыскания, лишения увольнений, бесконечные придирки по пустякам. Это было испытанное средство превратить службу солдата в сущий ад. Однако, как оказалось, на Фучика это не возымело действия. Он избрал весьма эффективную тактику: досконально изучил уставы, превзойдя в этом многих офицеров, безукоризненно выполнял все задания на учениях, содержал в порядке свои вещи и оружие («Умей чистить и протирать винтовку, чтобы она и снаружи и изнутри блестела как зеркало») — одним словом, старался не давать повода для жалоб на него. Особенно преуспел Юлиус на стрельбищах, куда каждый день с утра до вечера водили солдат поочередно, по четыре, следили за тем, чтобы солдат при выстреле боевыми патронами не зажмурился, не вздрагивал при отдаче, глядел бы точно на мушку сквозь прорезь прицела и нажимал бы спуск не рывком, а плавным движением.

— Стрельба — это в высшей степени пролетарское искусство, — говорил Фучик и не упускал возможности усовершенствоваться в ней.

Уже на первом занятии на его мастерство обратил внимание капитан и благосклонно осведомился:

— Вы, кажется, с удовольствием занимаетесь стрельбой, Фучик?

Пристально посмотрев на офицера, солдат ответил четко, как и полагается по уставу:

— Так точно, господин капитан. Я с удовольствием занимаюсь всем, что может нам пригодиться!

Капитан, моментально уловивший в словах Фучика иронию, нахмурился, ибо отрывистый ответ прозвучал как вызов.

Еще больший «сюрприз» офицерам приготовил Фучик к годовщине Великого Октября. Каждый год, отмечая это событие на собраниях и митингах рабочих, он обращал свой взор к Красной площади, мысленно переносился туда, где проходили парады и демонстрации. Теперь он ломал голову над тем, как отметить это событие в казарме, где господствуют статьи и параграфы строгого устава. В темном уголке за складом, в глубине большого двора казарм, группа солдат под прикрытием темноты склонилась над маленьким ящичком, из которого после непродолжительного шелеста и треска зазвучал негромкий голос:

— Внимание, внимание, говорит Москва…

Так солдаты отметили великий пролетарский праздник, послушав тайком Москву. Теперь в казармах поселился «призрак коммунизма», и не было в глазах офицеров преступления страшнее этого. Началось расследование. Подозрение, конечно, в первую очередь пало на Фучика, его долго и с пристрастием допрашивали, однако уличить ни в чем не могли, так как солдаты, знавшие подробности, молчали и не выдавали своего товарища.

10 декабря был зачитан приказ командира полка, где говорилось о том, что «рядовой Юлиус Фучик срочно переводится из первой пехотной роты 17-го полка в одиннадцатую пехотную роту того же полка, расквартированную в Глоговце».

На новое место уезжал Фучик с невеселыми мыслями: он понимал, что это — плохо завуалированная ссылка: в захолустном городишке, где крохотный гарнизон, легко следить за каждым его шагом — в казарме, на полигоне, на улице. Он из Тренчина поехал в Глоговец через… Братиславу. За опоздание в часть на несколько часов он получил 14 суток ареста. Но самое страшное было не это, а то, что служить здесь было значительно тяжелей. Среди солдат ходило немало разговоров о командире подразделения, который, желая возместить ущерб, нанесенный казармам грозой, незаконно высчитывал из нищенского жалованья солдат по 50 геллеров; о капитане Адаме, который

приказал раненному на полигоне солдату идти в санчасть одному, несмотря на то, что солдат еле держался на ногах, а до казарм было целых три километра; о новобранце, который застрелился на глазах у своих товарищей, доведенный до отчаяния придирками офицеров и тоской по дому, и о многом другом. За Фучиком стали следить еще более внимательно, чем ранее, просматривали его личные вещи и письма. Он стал писать иносказательно: «Погода стоит странная. Подморозило, и снова отпустило, сейчас туман, но на дорогах так скользко, что мне приходится быть очень осторожным, как бы чего не поломать…»

Начальник гарнизона, узнав, что Фучик каким-то образом установил и поддерживает связи с местными коммунистами, вызвал его к себе и приказал:

— Запрещаю вам разговаривать сразу с несколькими солдатами, запрещаю разговаривать и вообще как-либо общаться с местными коммунистами, запрещаю ходить в городской Рабочий дом, сообщать солдатам и гражданским лицам, что до армии вы работали редактором «Руде право», запрещаю говорить обо всем, что касается вашей профессии, запрещаю…

«…Мне разрешено только дышать, — писал Фучик в отправленном тайком письме, — дышать (да и то не вполне свободно), ходить в ногу и держать язык за зубами. Кандидаты в офицеры боятся ко мне подойти, каждое мое слово изучается, каждый шаг известен, а если я свалюсь в нужник, то из канализационной трубы вытащат двоих (гипербола — здесь нет канализации). Таким был первый натиск. Меня это несколько утомляло, но я знал, что долго такой режим не продержится и важно сохранять спокойствие. Так вот, вчера тиски ослабили. Быть „образцовым солдатом“ — все-таки наилучший метод, и, хотя заслужить это звание было довольно трудно, теперь трудно отнять его у меня. Вчера наконец пришли мои солдатские бумаги. Там имеется следующая характеристика: „Серьезен, дисциплинирован. Проявляет большой интерес к учениям, обязанности солдата исполняет старательно“. Очень смешно, когда за этим следует секретная политическая характеристика, по которой меня бы следовало, пожалуй, держать на гауптвахте пожизненно. И все же я испытывал некоторое удовлетворение, а то уж порой и сам начинал считать себя лентяем, несолидным человеком, недисциплинированным, но, ведь если б это было так, не смог бы я сделаться „образцовым солдатом“, да еще в таких тяжелых условиях. А я добился этого в Тренчине, добьюсь, надеюсь, и здесь…»

В письме он чуть-чуть сгустил краски. Ведь он по-прежнему, несмотря на запреты и угрозы, настойчиво и целеустремленно

продолжал работу: беседовал с солдатами, разъяснял, советовал, помогал, убеждал; тайно встречался на частных квартирах с местными коммунистами, которым рассказывал о Советском Союзе, потихоньку посещал Рабочий дом. Однажды туда нагрянул патруль. Но рабочие вовремя предупредили Фучика. Выйдя через потайную дверь, он перелез через забор и благополучно добрался до казарм.

Перед рождественскими праздниками его потянуло домой, и он снова затосковал. Ему почти тридцать лет, он на целых десять лет старше своих сослуживцев и многих офицеров. Даже в условиях солдатской жизни он продолжал писать. Ему попала в руки газета «Лидове новины», опубликовавшая в канун рождества своим читателям к праздничной елке собрание «Лучших за столетие чешских святочных рассказов». Один рассказ похож на другой: порок наказан, добродетель торжествует, девочка, замерзавшая на улице, отогрета попечительными руками, блудная жена вернулась домой в объятия мужа. Рассказ 1932 года об облагодетельствованной секретарше и благородстве директора побудил Фучика написать свой святочный рассказ солдата. Юлиус точно описал случай, свидетелем которого он стал незадолго до рождества. Рота проходила, возвращаясь с учений, через небольшую словацкую деревушку. Солдаты сделали привал прямо на площади, перед маленькой лавчонкой с вывеской «Разные товары».

— Мамаша, мы пришли за салом.

— За салом?.. У нас его нет.

— Да, выбор у вас невелик. Придется довольствоваться хлебом.

— Хлеба? Хлеба у нас тоже нет.

Вначале солдаты думали, что это шутка, но, войдя в лавчонку, увидели, что на полках только дюжина свечей, пакетик цикория, брусик и кнут. Больше ничего — хоть шаром покати.

Явился судебный исполнитель, обвел лавку грустным взглядом.

— Значит, ничего нет?

— Ничего.

Разочарованный, он собрался было уйти ни с чем, но на пороге встретил дочь разорившегося владельца лавки. Ей всего восемь лет. В кулачке она сжимала несколько крон. Уже с весны у нее мечта: она приготовит к рождеству маме и папе подарок. Геллеры на пряник или конфеты она откладывала в курятнике, в баночке из-под крема. Выслушав девочку, как она копила эти деньги, исполнитель конфисковал их, оставив расписку и плачущую девочку.

Рассказ «О маленькой Терезке и бравом судебном исполнителе» Фучик опубликовал в новогоднем номере «Творбы» без подписи, ибо, находясь на воинской службе, он не имел права писать. Это небольшое произведение звучало обвинением буржуазному строю. Девочка с беззащитной ранимостью, с хрупкой душой попала в жестокий мир. Откуда пришла беда, как без войны расшатались устои привычного бытия, почему всюду голод, спад, оцепенение, затаенная злоба и циничное глумление над человеческим чувством? Любые попытки выйти из затянувшегося экономического кризиса, выправить положение кончаются ничем. Не помогают ни бесконечные парламентские дебаты, ни циркуляция остающихся на бумаге половинчатых и запоздалых решений, постановлений, распоряжений. В этих условиях как издевка воспринимаются бодряческие тона буржуазных газет и сентиментально-слащавые рассказы.

В Глоговце Фучик прослужил полтора месяца, и его снова «передислоцировали». На этот раз в Левице. И снова маленький запыленный районный городок на юго-востоке, к тому же в городе население в основном венгерское.

Располагая избытком свободного времени, он много читает, по-прежнему внимательно следит за событиями политической жизни и даже занялся изучением венгерского языка, «Венгерский язык мне нравится, а возможностей у меня столько, что я, пожалуй, кое-что и усвою…»

Выучить, однако, венгерский язык не удалось. Не успел он еще освоиться на новом месте, как благосклонная судьба улыбнулась ему. Согласно новому приказу он переводился (на этот раз уже окончательно) в 5-й пехотный полк имени Т.Г. Масарика, расквартированный в Праге, в Штефаниковых казармах на Смихове (ныне эти казармы носят имя Юлиуса Фучика). Помог сенатор-коммунист Йозеф Гакен, член парламентского комитета по делам обороны. Он был на пятнадцать лет старше Фучика, но их связывала крепкая дружба.

Переводу в столицу Юлиус обрадовался безмерно, теперь он знал, чего хочет. В глубине души он и в военном мундире оставался все тем же неисправимым оптимистом. В голове рождались заманчивые планы, головокружительные фантазии. Теперь будет легче тянуть служебную лямку, теперь он сможет участвовать в культурной жизни: посещать театры, кино, выставки, писать рецензии. Невдомек было, что новое место обернется новыми трудностями. Его в полку «ждали». Командир роты имел обстоятельный разговор со старослужащим, сержантом Франтишеком Восикой:

— Вы дорожите репутацией полка, носящего имя президента?

— Так точно, господин штабс-капитан.

— Так вот, эта репутация теперь под угрозой. Сам черт послал нам Фучика — коммуниста, литературного якобинца, бунтовщика. Нужно внимательно ко всему прислушиваться и сопоставлять, чтобы уберечь репутацию полка, предупредить во что бы то ни стало опасное развитие событий. Понимаете?

Сержант Восика до армии работал на фабрике, некоторое время был безработным, давно знал Фучика по его статьям в прогрессивной печати, лекциям и выступлениям.

— Вы должны бдительно следить за Фучиком и отмечать, с кем он встречается, кто ему пишет, кто им интересуется, куда он ходит, кто звонит ему по телефону, как он влияет на солдат.

При первой же возможности сержант сообщил Фучику, что ему поручено следить за ним.

Испытанным и единственным оружием против начальства была репутация «образцового солдата», и он в этом преуспел. Сержант Восика вспоминал:

«Если он тщательно соблюдал личную гигиену, то забота его об оружии была просто поразительной… Он разбирал и собирал пулемет за несколько секунд, пистолет знал лучше многих офицеров, всегда проявлял большой интерес к теории стрельбы… В то время как другие солдаты клевали носом или болтались по коридорам, он всегда, даже зимой, читал или писал…»

Командиру сержант всегда докладывал, что «все в порядке», что рядовой Фучик образцово исполняет свои обязанности. И это не было преувеличением. Фучик действительно проявлял максимум прилежания, аккуратности и дисциплинированности. В стрельбе он добился блестящих результатов. За это его наградили серебряным значком стрелка первого класса, и это давало ему право на получение увольнительной от вечерней поверки до полуночи.

Среди солдат Фучик продолжал вести агитационную работу, разъяснял, убеждал наглядными примерами, конкретными фактами. Вскоре он снискал у сослуживцев такое уважение, что вопреки воле офицеров его единогласно избрали в одну из солдатских комиссий. Поручик, не выносивший Фучика, однажды зачитывал во дворе казармы распорядок дня и в конце добавил, что солдаты должны выбрать представителя в эту комиссию. Кто-то крикнул: «Рядовой Фучик!» — и поручик вынужден был провести голосование. Все руки тотчас взметнулись вверх. Сержант Восика вспоминал: «Сразу же после построения я был вызван в канцелярию, где командир роты спросил меня, неужели же Фучик в самом деле успел подчинить всех своему влиянию, как то установил сейчас пан поручик. Я сказал, что Фучик

никогда никакой агитации не ведет, а просто его полюбили за добрый характер и за то, что он всем помогает. „Это и есть его агитация, чего вы, конечно, не в состоянии понять“, — сказал командир роты и повторил приказ бдительно следить за ним».

Офицерам Фучик умудрялся доставлять не меньше неприятностей, чем раньше. Так уж он был устроен, что не мог, не хотел сдерживать себя, чтобы не пойти на какой-нибудь розыгрыш господ офицеров, граничащий с дерзкой выходкой. Однажды, будучи дневальным, Юлиус увидел на пороге казармы командира части полковника Клоуда. Полковник был в штатском.

— Стой, гражданским лицам вход воспрещен! — отчеканил не моргнув глазом дневальный.

— Да что вы себе позволяете? — закричал задержанный. — Вы знаете, кто я такой? Я командир части полковник Клоуд.

— Не похоже. — Глаза дневального выражали полное недоумение.

— Что-о-о-о? — взревел Клоуд.

— Если бы вы действительно были полковником, то знали бы воинские уставы и особенно устав внутренней службы, где ясно сказано: «Офицер обязан появляться в расположении части только в военной форме».

Израсходовав весь свой запас острых и крепких словечек, полковник сменил наконец гнев на милость.

— В высшей степени одобряю ваше служебное рвение и знание воинских уставов, — сказал он. — Наслышан о вас и теперь рад познакомиться лично…

Однажды на Белой горе проходили большие полковые учения, и инспектировать приехал генерал с многочисленной свитой. Случайно он остановился перед взводом, в котором служил Фучик. Генерал хотел проверить, как солдаты на практике усвоили тактические и уставные положения. По иронии судьбы, выбор пал на Фучика, и он удивил генерала глубиной и основательностью своих познаний, четкостью и лаконичностью доклада. Восхищенный генерал-инспектор громовым голосом заявил перед строем роты, что солдаты «должны брать пример с рядового Фучика». Солдатам было приятно слушать, что в пример им ставили редактора «Руде право», зато полковник Клоуд поспешил шепнуть генералу, что, к сожалению, вышла досадная ошибка.

Ротный командир считал, что образцовое поведение Фучика — уловка, чтобы усыпить бдительность начальства, и к надзору за ним привлек нескольких унтер-офицеров. Они должны были подавать рапорт о каждом выходе его в город: где он был, сколько времени там провел, с кем разговаривал.

При каждой встрече с Йозефом Гакеном Фучик все более настойчиво просит «вытащить» его из армии, мотивируя просьбу тем, что служить стало совсем тяжело. Шел 1933 год, поступающие из Германии вести одна хуже другой: фашистский переворот, приход к власти Гитлера, поджог рейхстага, кровавый террор против коммунистов и противников нацизма. Что стало с его друзьями Вайскопфом, Луисом Фюрнбергом, каково им сейчас там? Из трехсот тысяч членов Коммунистической (партии Германии сто пятьдесят тысяч были либо убиты, либо арестованы, либо вынуждены покинуть Германию, скрываясь от фашистских палачей. Очевидцы, бежавшие из Германии в Чехословакию, рассказывали, как в мае 1933 года в Берлине на площади перед университетом был устроен огромный костер из книг Маркса и Ленина, Гейне и Цвейга, Эйнштейна и Спинозы, Томаса Манна, Хемингуэя и Ремарка, других видных представителей мировой культуры и науки. Когда это все уничтожалось в огне пылавшего костра, началась всеобщая пляска безумия. Геббельс у костра произнес восторженную речь, благословив это варварство как «великое символическое деяние», и призвал дать «клятву верности рейху, науке и фюреру».

В первые же месяцы после прихода к власти гитлеровцы приостановили платежи по чешским векселям и запретили вывоз немецкой валюты в Чехословакию, что привело к резкому сокращению взаимных торговых связей, к первой девальвации кроны. События в соседней Германии стали отражаться и на внутреннем положении Чехословакии. В стране зашевелились доморощенные фашисты. В этих условиях звучит призыв Клемента Готвальда в его статье «Объединиться, бороться, победить!»: «Рабочий класс Чехословакии может воспрепятствовать (тому, чтобы по улицам городов Чехословакии носились (вооруженные фашистские банды и стреляли в рабочих… Бьет решительный час. Промедление чревато опасностью!»

В марте 1933 года КПЧ обратилась к руководству других политических партий с предложением создать единый фронт борьбы с фашизмом. Как они отнесутся к этому в такой критический момент?

Все буржуазные партии ответили отказом, демагогически заявляя при этом, что они готовы сотрудничать с коммунистами при одном условии: пусть коммунисты перестанут быть врагами демократии. Фучик был вне себя от гнева и отчаяния. Коммунисты слывут врагами демократии, и с ними нельзя вступать в союз для борьбы с фашизмом. Да это же цинизм, граничащий с идиотизмом! Будучи под строгим надзором

властей, он публикует в «Творбе» под псевдонимом Карел Бонн статью «Во имя демократии — нет!». В ней он разоблачил лицемерие вождей буржуазных партий.

Надо что-то делать, думает Юлиус, надо выбираться из стел казармы, где драгоценное время перетекает в пустоту, надо бить в колокол тревоги. По совету сенатора Гакена, он подает рапорт о переводе в запас, мотивируя свою просьбу тяжелой болезнью отца. 19 сентября 4933 года Фучик в последний раз прошел через ворота смиховских казарм. Стоял чудесный солнечный день. В кармане у него лежал документ о переводе в запас, не освобождавший, правда, от призыва в будущем на военные сборы. Свобода! Это слово точно горячей водою обожгло Юлиуса и на минуту сладко закружило ему голову. Вдруг на его плечо опустилась чья-то рука. Фучик обернулся и увидел незнакомого человека. Ему показалось, что он где-то встречал его.

— Вы, Юлиус Фучик, редактор «Руде право», проживаете в Подоли?

— Да.

— Отлично. Именем закона вы арестованы, — заявил неизвестный, в котором Фучик уже узнал одного из агентов пражского полицейского управления.

— Что это значит?

— Вы обязаны отбыть заключение за подстрекательские лекции о России. Пойдемте со мной. Остальное узнаете в управлении…

На допросе чиновник заявил:

— Перед уходом в армию вы совершили ряд наказуемых проступков. В своих лекциях о Советской России вы неоднократно оскорбляли представителей властей, неуважительно и неодобрительно отзывались о нашей республике, вели антигосударственную пропаганду. За это вы получите минимум восемь с половиной месяцев. Впрочем, это уже дело суда.

Затем у Фучика взяли оттиски пальцев, сфотографировали, как уголовного преступника, в фас и профиль, и составили длинный протокол. В нем было зафиксировано, что еще до армии Фучику неоднократно направлялись повестки в суд, однако, как только полиция давала суду адрес «последнего местожительства» Фучика, он успевал «прописаться» по новому адресу. Полицейско-судебная машинерия работала хотя и безостановочно, но нерасторопно. Папка с «Делом Фучика» распухала от новых и новых повесток в суд. И на этот раз опытный адвокат умело использовал лазейки в соответствующих статьях пухлого уголовного кодекса, чтобы добиться досрочного освобождения. Его разговор со следователем начался необычно:

— Господин следователь, прошу вас, прикажите привести из камеры рядового Фучика.

— Но, господин доктор, какого рядового? Вы хотите сказать: журналиста?

— Нет, солдата, — стоял на своем адвокат. Следователь пожал плечами и дал знак привести Фучика и растерялся при виде человека в солдатской форме.

— Почитая первейшим долгом соблюсти интересы отечества, я тем не менее не могу позволить себе и тени нелояльности в отношении военнослужащих нашей славной армии. — Адвокат показал отменное знание предмета и напомнил, что Фучик по-прежнему лицо военное, что гражданский суд не имеет права держать его под арестом, на то существует гарнизонная тюрьма.

В протоколе об освобождении значилось: «Поступивший из следственной тюрьмы Юлиус Фучик заявил, что он подал ходатайство об отсрочке отбытия наказания, каковое ходатайство еще не рассмотрено. Сообразуясь с этим, он просит освободить его из предварительного заключения, указывая, что будет проживать в доме архитектора Яромира Крейцара по Французской улице, дом 4, обязуясь не выезжать из Праги, а в случае перемены места жительства обязуется сообщать об этом суду». Так после трех дней пребывания в тюрьме Юлиус снова оказался на свободе.

ОПАСНОСТЬ НАДВИГАЕТСЯ

Пусть шлет судьба мне грозы
и
метель,
Но честь и правду сохраню я свято,
Не дрогнет сердце верного

солдата —
Пусть новый день мою укажет

цель.

Ян Неруда

Находившийся столько времени не у дел, Фучик сразу же окунулся в бурную политическую деятельность, взял снова на себя руководство «Творбой» и оказался в самом центре стремительно развивающихся событий. Взоры всех прикованы к Лейпцигу, где начался процесс по делу о поджоге рейхстага. Первый и последний гласный политический процесс в нацистской Германии. К этому времени развеялся дым сгоревшего величественного здания; не осталось пепла от громадных костров из книг, а опытные следователи из ведомства Гиммлера соответствующим образом «обработали» подставное лицо — Ван дер Люббе, и к началу процесса уверенность в его успехе была столь велика, что даже сочли возможным разрешить доступ иностранным юристам для того, чтобы они следили за ходом процесса. Еще находясь в панкрацкой тюрьме, Фучик узнал, что в Лейпциг отправился его друг, адвокат Иван Секанина.

Процесс начался 21 сентября, а уже 28 сентября в «Творбе» появилась большая статья Фучика «Школа провокаций», где он обвинил нацистов в том, что они подожгли рейхстаг, чтобы создать предлог для развязывания кровавого террора против коммунистов и антифашистов, чтобы «подтвердить законность и правомерность концентрационных лагерей, казней и пыток». В чудовищной провокации Фучик отчетливо различал черты политических и юридических нравов современной буржуазной демократии и ее опыта в разгроме рабочего движения. Только в

Лейпциге эти черты приобрели гипертрофированные размеры, «масштабы карикатуры», когда «кабинетные мерки буржуазной „справедливости“ и „демократии“ подгоняются до размеров фашистской диктатуры». В течение всего процесса в каждом номере «Творбы» публиковались гневные статьи видных чехословацких ученых, деятелей культуры.

В Лейпциге прозвучал голос человека несгибаемой воли, мужества и огромной веры в победу над фашизмом, коммуниста-интернационалиста Георгия Димитрова. Силой своего духа, не сломленного арестантскими кандалами, логикой своих аргументов он загонял в тупик и гладкого, как угорь, неуязвимого и хитроумного Геббельса, и грубого, спесивого Геринга, вызванного на суд в качестве «свидетеля». «Встреча Димитрова и Геринга, — писал Фучик, — это страница истории человечества. На суде встретились яркие представители двух классов. Революционный пролетариат и буржуазия. Представитель буржуазии буквально с пеной ярости на губах приказал полиции в самой грубой форме устранить своего пролетарского антипода, Димитрова увели в темноту камеры, Геринг шел вдоль триумфальных шпалер поднятых рук.

Но победил Димитров. И весь мир склонился перед его мужеством».

Тайное становится явным, и поджог нацистами рейхстага доказан документами и свидетельскими показаниями. На Нюрнбергском процессе бывший начальник генерального штаба сухопутных войск Гальдер подтвердил причастность гитлеровцев к поджогу.

«Во время обеда по случаю дня рождения фюрера в 1942 году, — показал он, — в ближайшем окружении фюрера речь зашла о здании рейхстага и его художественных достоинствах. Я собственными ушами слышал, как Геринг, вмешавшись в беседу, воскликнул: „Единственный, кто действительно знает рейхстаг, — это я. Ведь я его поджег“. При этом он ударил себя ладонью по ноге». К этому показанию Гальдер добавил: «Я сидел поблизости от Гитлера, по правую сторону от него. Я мог ясно и точно различить каждое слово».

От Лейпцигского процесса до Нюрнбергского процесса лежит расстояние в целых двенадцать лет, но коммунисты, и среди них Фучик, уже в то время, не располагая документами, не зная всю подноготную заговора, дали правильную оценку преступным действиям фашистских главарей. Он неизменно руководствовался классовым подходом в анализе обстановки тех лет, который служил ему безошибочным компасом.

— Вы думаете, почему Димитрову удалось победить на

процессе? Ему и Гёте помог! Ему помогла немецкая история, которую он знал лучше их! Ему помогло знание законов истории! — говорил позднее Фучик своим товарищам. — Если бы его судили во Франции, он бил бы их силою Гюго, Бальзака, Вольтера, Лафарга. Он победил потому, что нет для коммуниста знаний важных и неважных. Мы наследники всей мировой культуры! И если мы не овладеем ею, мы перестанем быть коммунистами. И история, и физика, и Гёте, и Пушкин, и Ян Неруда, и Репин, и Ван Гог — наши помощники! В этом была сила Маркса. В этом сила большевиков.

С приходом фашизма к власти в Германии возникла непосредственная угроза Чехословакии. Страна являлась составной частью так называемой версальской системы мирных договоров, которую гитлеровцы с самого начала стали расшатывать. Кроме того, в Чехословакии проживало около трех миллионов немцев. Уже в октябре 1933 года в стране создается партия судетских немцев, возглавляемая Генлейном, как «пятая колонна», как база для массовой агентуры германского фашизма. Лидеры буржуазных партий выдвигают требование «усмирить рабочий класс», поднимают голову чешские фашисты, сторонники Стршибрного — лидера фашистской партии Национальная лига, преобразованной в 1934 году в новую партию, присвоившую себе название «Национальное объединение». По примеру нацистских штурмовиков эта партия создавала отряды «серорубашечников» из деклассированных элементов.

Буржуазное правительство, испытывая затруднения из-за тяжелого экономического положения, растущего возмущения трудящихся, выступает с лозунгом «защиты демократии от диктатуры справа и слева».

В июне 1933 года принимается закон о чрезвычайных полномочиях. Теперь решения по важным экономическим и политическим вопросам могли приниматься в обход парламента, методом диктата. Как из рога изобилия последовала целая серия других репрессивных законов: об охране государства, о печати, о чрезвычайных полицейских мероприятиях. Но и этого было мало. И вот был принят закон о запрещении деятельности и роспуске политических партий, самый сенсационный закон из всех когда-либо вынесенных на обсуждение в так называемых «демократических республиках». Можно ли было более точно охарактеризовать этот закон, как это сделал Фучик? И действительно, издание этого закона обосновывалось перед общественностью необходимостью принятия мер, направленных против немецких фашистских партий — «партии свастики» и партии немецких националистов. Предупрежденные о

намечаемом запрете, эти партии самораспустились, а их члены вступили в генлейновскую партию, деятельность которой была разрешена. В то же время принятый закон лишил коммунистическую партию фактически почти всех легальных возможностей деятельности. Сотни рядовых членов КПЧ арестовывались и заключались в тюрьмы. Секретариаты партии находились под постоянным надзором явной и тайной полиции, а посетители задерживались и подвергались обыску. Запрещались митинги и демонстрации, партийные собрания и собрания массовых революционных организаций. Дважды с интервалом в три месяца запрещался выпуск почти всей партийной печати. Эта участь постигла и «Творбу». Обращаясь в последний раз к своим читателям, Фучик выразил твердую убежденность, что положение изменится. Можно закрыть «Творбу», можно бросить в тюрьму ее редакторов, можно предать суду на основании чрезвычайных законов и особых постановлений ее издателя, но уничтожить рабочих — читателей «Творбы» нельзя. В этом залог силы пролетарской печати.

Осенью. 1933 года партия фактически вынуждена была перейти на нелегальное положение, но продолжала вести разъяснительную работу везде, откуда слово правды могло вырваться на простор народной молвы, — от газет до страховых касс фабрик и заводов и студенческих общежитий. Партия продолжала борьбу за возможность легального издания коммунистической печати. Подобно тому как в 1928 году Фучик «приобрел» для партии газету «Творба», так и теперь, когда выход почти всей коммунистической печати был приостановлен, он решил основать новую газету «Галло-новины» («Алло-газета») под видом самостоятельного беспартийного органа безработных типографских рабочих. КПЧ предоставила в распоряжение газеты свою типографию, и главное состояло в том, чтобы получить официальное разрешение властей. Для маскировки издателем и ответственным редактором был заявлен один из типографов, Вацлав Малина, — фигура для властей неизвестная и с незапятнанной репутацией. Мало кто знал, что главным редактором газеты являлся Фучик. Внешне все выглядело солидно и нейтрально, и не к чему было придраться. Не разобравшись в том, кто стоит за новой газетой, власти не усмотрели ничего для себя опасного и дали разрешение, правда, при условии: «Только никакой политики!». Вот и попробуй пройти между Сциллой и Харибдой, чтобы газета не уподоблялась обычным бульварным изданиям со сплетнями великосветской хроники и модными картинками и в то же время не вызывала подозрений.

На первых порах это удавалось. Оперативность, разнообразие иллюстративного материала, увлекательность статей и репортажей, насыщенность культурной рубрики сочетались с твердой и ясной политической линией. Фучик публиковал свои статьи под различными псевдонимами: Карел Воян, Йозеф Павел и др. Вскоре буржуазная печать разгадала политическое направление газеты и яростно набросилась на нее, назвала ее коммунистическим листком, «беспрепятственно продолжающим пропаганду подрывных лозунгов и антигосударственных замыслов». Главный редактор защищался: «Газета, только начинающая жить, должна найти себе задачу, оправдывающую ее существование. „Галло-новины“ — орган тех, кто трудится внизу, на производстве, — такую задачу нашла. Газета сказала себе, что сейчас требуется правильная и точная информация обо всех значительных явлениях современности… Некоторые события являются всего лишь отходами дня, мусором, осыпающимся с исторических деяний. Другие события отражают развитие жизни всего общества. История складывается не только из мировых войн, из кончин и воцарений государей, из покушений. История складывается из миллионов мелких явлений, в которых мир живет или прозябает и меняется…» Фучик был Фучик, и он не мог с присущей ему иронией не добавить, что газета хочет стать таким бульварным изданием, «которое привлечет внимание тысяч людей, идущих по бульварам, по улицам с работы, на работу либо в поисках работы».

Юлиус пишет ряд статей по вопросам культуры. Пятнадцатилетие Чехословацкой республики было ознаменовано в области культуры двумя событиями: экранизацией ставшей классической оперы Сметаны «Проданная невеста» и присуждением одному из основоположников чешской литературы социалистического реализма, Ивану Ольбрахту, государственной премии за роман «Никола Шугай-разбойник». Этот юбилей заставил Фучика мучительно размышлять о чешской литературе и искусстве, о пройденном ими пути. Ему казалоеь, что роман Ольбрахта настолько одиноко стоит в литературе последних лет, что даже жюри уступило общественному мнению, хотя до этого в печати обвиняли писателя в том, что он потворствует преступнику, популяризует разбойника, взбунтовавшегося против существующего строя и убившего жандарма. Итогом размышлений Фучика явилась его статья под характерным названием «Плач культуры чешской», опубликованная в «Галло-новины» под псевдонимом Карел Воян. Она вызвала шумную кампанию в буржуазной печати, нападки со стороны «обиженных» столпов официальной культуры.

Оценки и характеристики Фучика были действительно жесткие. Чешская культура, заявил он, «плачет над книгой, над фильмом, над театром, над изобразительным искусством». Главным и решающим в оценке произведений для Фучика было то, насколько глубоко осмысливали они жизненно важные проблемы, насколько верным был их суд над действительностью, насколько высок был их нравственный идеал. И здесь, по его мнению, кроме нескольких произведений — романов Ольбрахта, Мейе-ровой и. Карела Нового, — нечего поставить в актив. Чешская литература, в прошлом литература славных имел, стала литературой без поисков, без побед, без нового творчества. Потеряны такие драгоценные черты, как благородство и гражданственность, глубина и серьезность, простота и непосредственность. Литература совсем закрыла глаза на то, что происходит кругом, она испугалась современной жизни, злободневных социальных проблем. Неруда называл такую бумажную литературу «девственной», но он имел в виду только ее бегство от жизни и не задумывался еще над причиной ее бегства, ее игры с читателем. «Нет, это не девушка, — заявил Фучик, — это проститутка, которая прикидывается девственницей», эта литература труслива и лжива. В ней нет ничего, кроме надуманности и вульгарности, дурного тона, напыщенного и фальшивого, «кроме пустых слов и сексуального зуда».

Так проявилась до прямолинейности на редкость цельная натура Фучика, решительно и безжалостно отвергающего в культуре все, чему неведомы «ужасающие истории о запахе машинного масла, о непереносимой грязи, смертельной усталости от работы, ужасе перед закрытыми воротами фабрики, голоде и стремительном желании не испытывать всего этого». Желая видеть чешскую литературу более боевой и «социальной», Фучик намеренно фиксировал внимание на грозящих ей недостатках и даже подчеркивал их, проявляя удивительные эстетическое чутье, которым его щедро наградила природа, ясность взглядов, самостоятельность мысли, бесстрашную смелость и убежденность.

Обязанности главного редактора выполнять было день ото дня все сложнее. Снова полиция выдала ордер на арест, снова стали приходить повестки в суд. В это время над Фучиком нависла угроза восьмимесячного тюремного заключения за старые «грехи», допущенные в лекциях о Советском Союзе. Полицейское кольцо сжималось. И вдруг Фучик словно сквозь землю провалился. Он скрылся под маской рассудительного, благообразного доктора Мареша. Весной 1934 года завсегдатаем маленького кафе «Рокси», недалеко от типографии КПЧ, стал

господин солидной наружности. Его аккуратно подстриженные усы щеточкой, безукоризненный пробор, роговые очки, белоснежный воротничок и темный отутюженный костюм в сочетании с приятными манерами сразу располагали к себе и вызывали доверие. Он походил на банковского служащего или агента процветающей фирмы. Официанты обращались к нему с учтивым поклоном:

— А, добрый день, господин доктор. Извольте присесть.

Доктор Мареш приходил сюда три-четыре раза в неделю. Выпьет спокойно свой кофе, иногда с профессиональным умением сыграет партию на бильярде с почтенными чиновниками, перемолвится словцом с другими посетителями кафе и углубится в газеты или маленькие листки, которые он торопливо испещрял мелкими буквами.

Только одно бросалось в глаза. К его столику часто подсаживалась молодежь. С нею он долго и оживленно дискутировал. Говорили, что это редакторы каких-то левых газет и театральной богемы, но у кого не бывает человеческих слабостей? Впрочем, добропорядочный обслуживающий персонал отнюдь не был настроен против людей театра и прессы. Этим странным полуодержимым, полуотверженным людям многое дозволено. Никому не пожелаешь такой жизни. Сами виноваты, если вместо сытой размеренной жизни избрали тяжелое, непосильное бремя. Вот и ведут бесконечные споры и дискуссии.

Никто не догадывался, что этот почтенный посетитель, дискутирующий с людьми театра и прессы, вовсе не служащий и не тортовый агент, а разыскиваемый полицией редактор коммунистической газеты, что здесь оп встречался с редакторами «Творбы» Рыбаком, Крейчи, проводил редакционные летучки. Шпики караулили Фучика у входа в редакцию «Руде право», выслеживали на собраниях, в театрах и на демонстрациях, но поймать его никак не могли.

Обстановка на Европейском континенте резко изменилась. В эту переходную пору неустойчивой политики, когда ее маятник колебался то вправо, то влево, люди мучились ожиданиями и страдали от постоянных разочарований. Реальная угроза для самого существования чехословацкого государства, рост авторитета Страны Советов заставили буржуазное правительство прислушаться к требованиям чехословацких трудящихся и пойти на налаживание с СССР союзных связей. Летом 1934 года Чехословакия признала Советское государство де-юре и установила с ним дипломатические отношения, а в следующем году вслед за советско-французским договором был подписан

договор о взаимной помощи между Чехословакией и Советским Союзом. Заключение этого договора усилило позиции миролюбивых государств, укрепило положение Чехословакии. Но если коммунисты и трудящиеся видели в этом акте поворот к обеспечению безопасности страны и национальной самостоятельности, то правящие круги рассматривали его как политический маневр и в своей практической политике продолжали опираться на Францию и Англию. В этом состоял смысл оговорки, внесенной Бенешом в текст советско-чехословацкого договора от 16 мая 1935 года, которая ставила оказание Советским Союзом помощи Чехословакии в зависимость от позиции Франции.

Одной из замечательных черт Фучика была его способность к быстрой реакции на внешние события. Он никогда не довольствовался информацией из «вторых рук», предпочитал быть очевидцем и свидетелем происходящих событий, с каким бы риском это ни было связано. Нелегально, без заграничного паспорта, он отправился в Вену, где в феврале 1934 года рабочие с оружием в руках выступили против клерикально-фашистского режима Дольфуса. Улицы города были еще перекрыты баррикадами, и мостовые дымились после вчерашних боев с фашистами. Прямо на месте он пишет статью «История пяти дней гражданской войны», а позднее — статью «Неделя, которая потрясла II Интернационал». Всех волновал вопрос о перспективах мирового революционного движения в условиях наступления фашистской реакции в Европе. Один из вождей австрийской социал-демократии, сдавшей фашизму без боя все позиции, теоретик II Интернационала Отто Бауэр, опубликовал брошюру о причинах поражения рабочего класса в Австрии. Анализируя историю рабочего движения на Западе на протяжении двух десятков лет, истекших после Октябрьской революции, Бауэр не находил в ней ничего, кроме тяжких поражений пролетариата. С немецкой педантичностью он собрал все неудачи, все провалы и бедствия, пытаясь их количеством убить всякую надежду на успех. Старый ворон ревизионизма для того и сел на разбитые баррикады, чтобы прокаркать: «Наступила эра контрреволюции, и классовая борьба пролетариата бессмысленна». «Но политика, — учил В.И. Ленин, — больше похожа на алгебру, чем на арифметику, и еще больше на высшую математику, чем на низшую». Там, где Бауэр твердил на первый взгляд бесспорные истины: не видел ничего, кроме поражений и отступлений рабочего класса, Фучик обнаруживает героическую борьбу и упорное, выстраданное продвижение вперед: «История пяти дней гражданской войны заключает в себе столько

победоносных уроков для рабочего класса, что ни один из этих сотен мертвых австрийских пролетариев не пал напрасно».

Летом 1934 года Фучик узнает о событиях в Германии-о «ночи длинных ножей», когда по указанию Гитлера 30 июня была проведена операция по уничтожению верхушки штурмовых отрядов (СА). Среди чехословацкой общественности и в печати обсуждалось много различных версий по поводу причин и возможных последствий этих кровавых событий. Несмотря на то что Фучика разыскивала полиция, он с единственным «документом» — удостоверением члена клуба чехословацких туристов на имя доктора Карела Мареша — решил совершить поездку в Мюнхен:

— Я проберусь в рейх и сам посмотрю, что там происходит.

— В логово? Сейчас, в разгар террора! А если тебя схватят?

— Волков бояться…

Риск был для него делом привычным, он был неотделим от его профессии революционного журналиста, он был свойствен его характеру. Но даже близкие товарищи считали этот шаг безрассудством.

Мотивы поездки Фучика были более глубокими, чем могло показаться на первый взгляд. Он давно читал «Майн кампф» и сочинения Геббельса, Розенберга, других «теоретиков» нацизма, страницы которых были пропитаны ядом реваншизма и расизма: униженная и поруганная многочисленными «кровными врагами» Германия подымается из руин Версаля, образует новое государство, основанное на расовой теории, а потом начнет расширяться? сперва включит в себя всех немцев за пределами германских границ, а потом завоюет и другие народы. Цель немецкой «национальной» внешней политики, вещал Гитлер, это «собирание немецких земель», образование в центре Европы мощного рейха, германского «костяка», состоящего не только из Германии, но и из всех территорий, населенных немецкими меньшинствами или народами, причисленными нацистами к «немецкой культуре». Расизм, реваншизм, патологическая ненависть к славянам пропитывали сочинения и теории нацистов.

Границу Юлиус перешел благополучно, но добраться до Мюнхена было нелегко. В автобусе, на вокзалах и в поезде то и дело шныряли вооруженные патрули эсэсовцев. Одних пассажиров не трогали, лишь бегло скользнув по лицу цепким взором, у других, показавшихся подозрительными, проверяли документы. Особенно неприятное ощущение Фучик испытывал в медленно идущем поезде, где он был словно в западне: не откроешь двери, не выскочишь наружу. «Что я делаю? — с запоздалым сожалением подумал Фучик, и тоскливо защемило

внутри. — Куда меня неудержимо несет?..». Преодолев минутную слабость, он сосредоточился, освоился с обстановкой. Свободно владея немецким языком, стал завязывать разговоры с молчаливо сидевшими попутчиками. Почтенный бюргер перелистывал «Фелькишер беобахтер» — центральный орган НСДАП, — читая сообщение о мюнхенском деле. Фучика интересовало, что думает этот «средний немец»: существовала ли вообще угроза путча штурмовиков, действительно ли оппозиция намеревалась сместить Гитлера и даже, как писали газеты, убить его? На вопрос об этом баварец, читающий газету, даже воскликнул в сердцах!

— Да что вы говорите! Все это дьявольская пропаганда!

В поисках ночлега Фучик набрел где-то на окраине города на стог сена и провел в нем июльскую ночь. Сухая душистая трава, горький запах полыни кружили голову дурманом воспоминаний, и не хотелось думать о том, чем может кончиться для него первая же проверка документов во время встреч с патрулями. На рассвете он пешком направился в Мюнхен. Не прошло и трех лет, как он был последний раз в Германии. Но как много за это время изменилось в этой стране. Закладывались новые автострады, разбивались новые парки, города, но жизнь в них становилась все тусклей и беспросветней. Германию нельзя было узнать. Она превращалась в громадную казарму, где хозяином стал прусский ефрейтор австрийского происхождения, жестокий, хитрый и фанатичный политик. Ломаные крючья свастики, сцепившиеся друг с другом, миллионы фотографий Гитлера в виде открыток, плакатов, листовок.

Фучик прошел мимо ставшего знаменитым «Бюргер-бройкеллера», где в ноябре 1923 года состоялся «пивной путч», изображавшийся нацистской пропагандой как «этапное событие в политической жизни Германии», осмотрел место кровавого столкновения неподалеку от пантеона «Фельдхернхалле». О недавних боях напоминали вывороченный булыжник на мостовой, обвалившаяся штукатурка на стенах домов. Глядя на все это, Фучик подумал: «И люди в этом государстве подобны этим камням: их можно взрывать, дробить, тесать, полировать, чтобы они отвечали представлениям фюрера». Здесь создавалась особая «духовная атмосфера», в которой миллионы немцев губили свои лучшие мечты, гасили благородные порывы, отказавшись от своего «я», превращались в бездумных исполнителей приказов. Воля огромного количества людей была парализована, их разум подавлялся, в них будили самые низменные инстинкты и страсти.

Отряды специально выделенных штурмовиков смыли кровь на мостовых и теперь драили город, чтобы он сверкал, как заново

наточенный клинок. Но следы прошлого еще были видны везде. На стене за Исарским вокзалом Фучик увидел недописанный лозунг: «Рот Фронт», перед которым ходил полицейский с карабином, а в предместьях города на каждом шагу он встречал красные буквы «Р. Ф.», пылавшие на стенах домов, на мостах и даже на Дворце юстиции.

Поздно ночью он позвонил у дверей маленькой туристской гостиницы далеко за городом. Хотя у него не было паспорта, ему все же удалось получить ночлег. Он выслушал сетования хозяйки по поводу неважного хода дел и на другой день отправился в обратный путь. И на сей раз ветер счастья дул в его паруса: он нигде не вызвал подозрений, хотя вокзалы и перекрестки кишели полицейскими и жандармами, и благополучно вернулся домой.

Кратковременное пребывание в нацистской Германии дало Фучику богатый материал для репортажа, опубликованного в трех номерах «Творбы» под названием «Путешествие в Мюнхен». Ни одна чехословацкая газета или журнал не могли похвастаться таким оперативным материалом, написанным очевидцем. В отличие от тех, кто наступлением фашизма был только шокирован, видя в нем в основном лишь варварство, постигшее Германию как стихийное бедствие, Фучик рассматривал фашизм как историческую фазу развития капитализма, господство самых воинствующих, агрессивных и реакционных элементов монополистического капитала. Поездка в Мюнхен еще более убедила Фучика в том, что, несмотря на видимые внешние успехи германского фашизма, его господство не является ни прочным, ни долговечным.

В июне 1934 года в Чехословакии началась травля депутатов-коммунистов. Они были лишены парламентской неприкосновенности и вынуждены уйти в подполье. Готвальд уезжает в Москву, где до августа 1936 года работает в Коминтерне. Ищейкам удалось в конце концов напасть на след «доктора Мареша», и над Юлиусом нависла угроза тюремного заключения за «антигосударственную деятельность». По решению ЦК КПЧ в августе 1934 года Фучик с нелегальным паспортом вновь едет в СССР, теперь уже в качестве корреспондента газеты «Руде право». Это был первый постоянный московский корреспондент чехословацкой коммунистической печати. Он снова нелегально переходит границу и совершает опасное путешествие по Германии через Берлин в Гамбург, а оттуда на пароходе в Ленинград. После четырехлетнего перерыва он опять ступил на советскую землю.

В СТРАНЕ ЛЮБИМОЙ

День этот против насилья и гнета,
Против пресыщенности и нищеты,
Против того, чтобы страх и забота
С детства людей искажали черты.
День этот — против безумья

богатства,
Днем этим встанет весь мир, осияя
Светом свободы, довольства
и
братства,
Вложенным в ясные души славян.

Ян Неруда

В Москве он окунулся сразу в новую жизнь, привык к ней, как человек может привыкнуть только к тому, что приносит ему радость. Он с гордостью считал себя советским гражданином и не хотел, чтобы к нему относились как к гостю, пусть даже почетному. В гостинице «Европа» на Неглинной улице ему дали большой «гранд-номер», но он попросил жилье «поскромнее» и получил маленькую комнатку на шестом этаже в гостинице «Новомосковская» за Москворецким мостом. Там он едва разместил свою библиотеку — покупать книги было его давней страстью. Отсюда открывался с высоты птичьего полета чудесный вид на Красную площадь и Кремль. Фучик любил по утрам, когда солнце только-только всходило над столицей, смотреть на силуэты зубчатой стены Кремля. Еще кругом мглистый туман и мосты едва-едва различимы над Москвой-рекой, а лучи солнца уже играют, переливаются на кирпичной глади стен и высоких башен, на каменных громадах собора Василия Блаженного и Исторического музея, на кровлях древних дворцов, золотом

вспыхивают на литой шапке каменного великана Ивана Великого и падают на зелень холмов, покрытых белым вишневым облаком. «Всюду идет строительство, создаются строительные площадки, закладываются фундаменты, — отмечает Юлиус. — Москва — это название самой великой стройки мира».

«Многое, очень многое изменилось за те четыре года, которые названы пятилеткой, — писал Фучик в первом очерке под заглавием „Спустя четыре-пять лет“, опубликованном в „Руде право“ 30 сентября 1934 года. — Но главное заключается не в богатых витринах, не в асфальте улиц, не в новых домах — все это лишь внешняя сторона тех перемен, которые затронули самые основы жизни и уже сегодня ощутимы на каждом шагу. Изменяется положение человека, изменяются человеческие отношения, из человека вырастает человек.

„Посмотрите, как мы растем!“ — говорили нам совет* ские люди четыре года назад, показывая новые заводы. „Посмотрите, как мы растем!“ — говорят они нам сегодня, показывая на рабочего завода. В начале пятилетка Он пришел из деревни неграмотным, оборванным, упрямо отвергавшим все новое мужиком, а уже через год стай ударником. Смущенно переминаясь с ноги на ногу, принимал он награду, одетый в изодранные валенки и рубашку, с которой еще не сошла грязь его родной деревни. Теперь же он старательно повязывает перед зеркалом галстук и спешит в парк культуры и отдыха на концерт филармонии или урок новых массовых танцев. „Посмотрите, как мы растем!“ Этих отличных сорочек еще мало, и галстуков тоже не хватает, концертный зал в парке культуры не в состоянии вместить всех любителей музыки, в школах танцев не успевают готовить танцоров для клубов Москвы, Ленинграда, Харькова, Минска, Свердловска, Кузнецка. Но и это еще не все, ведь мы очень, очень все упростили, сказав лишь о внешних признаках роста нового человека. В его привычке ходить в галстуке и тщательно бриться сказываются культура, новое отношение к труду, к жизни, качественно новое положение человека в обществе. Человек растет как личность. Он делает первые шаги к бесконечному величию и свободе личности, которые может обеспечить лишь бесклассовое социалистическое общество».

Фучик быстро познакомился со многими журналистами, редакторами, партийными работниками, рабочими. Среди московских предприятий ему особенно близким стал завод «Фрезер», и это не удивительно, ибо коллектив этого завода уже давно поддерживал дружеские связи с рабочими пльзенской «Шкоды». Как ни старались чехословацкие власти затормозить развитие этих связей, они год от года становились прочнее.

Фучик среди «фрезерцев» был своим человеком, проводил в их подмосковном доме отдыха свои выходные дни, любил здесь поплавать, поиграть в волейбол, шахматы. Он часто бывал в общежитии на Тверской улице, где жил Вавра, которого Фучик знал еще со студенческих лет, по Праге. Он и его жена И. Радволина стали близкими друзьями Юлиуса.

Отдыхать было некогда, работал Фучик много и с удовольствием, садился за стол в пять-шесть часов утра. На первых порах он откровенно признается в письмах Густе: «Я думал, что овладею материалом быстрее, чем получается. Я все еще ползаю по поверхности и только попытаюсь копнуть поглубже, как наталкиваюсь на такие сложности, что совершенно в них запутываюсь. Отношения между людьми проясняются, но как это делается, пути, ведущие к этому… — все невероятно сложно».

Фучик напряженно искал способ и формы выражения своих мыслей, чтобы чехословацким трудящимся было понятно то, что происходит в СССР. Он пробовал писать краткие заметки, но они показались ему легковесными, начал писать репортажи, рассказы, очерки. Он сам выбирал свои маршруты, жадно стремясь все увидеть и все узнать: фабрики и заводы, киностудии и театры, новые жилые кварталы и стадионы, библиотеки и картинные галереи. Чтобы написать репортаж о сооружении Московского метро, он долгое время ходил на стройку и работал там вместе с каменщиками и проходчиками. Работая над статьей о первом стахановце ленинградской фабрики «Скороход» Николае Сметанине, Фучик вместе с ним шил туфли.

Обобщая увиденное, он постоянно сосредоточивал внимание на состоянии искусства и литературы, ярко дополнявшем атмосферу тех лет: романах Шолохова, песнях-маршах Дунаевского, кинофильмах «Чапаев», «Семеро смелых», «Юность Максима», пьесах «Аристократы», «Оптимистическая трагедия» и многих других произведениях, пронизанных пафосом революции и строительства нового мира. Из кинофильма Г. Александрова «Цирк» прозвучала песня о Родине «Широка страна моя родная», которую поет вся страна. Свой путь к читателю начинал роман Николая Островского «Как закалялась сталь».

Фучику сразу стало ясно, что эта книга больше, чем явление литературы, больше, чем яркий документ своего времени. Он восхищался тем, как она просто и правдиво написана. «Ничего не страшно коммунисту — вот вывод из книги, вот итог жизни автора», — подчеркивал Фучик.

Вскоре роман был издан Карелом Борецким в Чехословакии, и сотрудники издательства «Библиотеки советских авторов»

прислали автору золотые часы с боем. Они били каждые четверть часа. Писатель был очень рад этому подарку — теперь он сам мог следить за временем.

Фучика можно было видеть на партийных собраниях кондитерской фабрики «Большевик», на встречах с чехословацкими рабочими на стройках, он принимает участие в коммунистических субботниках.

Секретарь отдела печати Коминтерна П. Афанасьева в своих воспоминаниях отмечала:

«Нередко ходил с нами на субботники и Ю. Фучик. Как увидит, бывало, что мы, девушки, тащим что-нибудь тяжелое, сейчас же заберет у нас и сам понесет».

Духовный рост советских людей представляется ему самым знаменательным достижением социалистического строительства. Наблюдая перемены в жизни, обычаях, взглядах людей, он не ограничивается только Москвой, а разъезжает по другим городам либо как репортер, либо в составе приезжающих из Чехословакии делегаций. Он не просто сопровождает земляков, а помогает им лучше понять советскую действительность. С делегацией, прибывшей на празднование 17-й годовщины Октябрьской революции, Фучик побывал в Харькове, Ленинграде и ряде других городов. Состав делегаций пестрый. В ней люди различных профессий и члены различных партий. Фучик как постоянный спутник гостей на ходу-подсказывает маршруты: заводы, клубы, поликлиники, квартиры рабочих, общежития. Они обогатились опытом советского рабочего, который пока что один во всем мире сумел стать хозяином своей страны и учится ею управлять. Это — самое главное! В дороге по инициативе Фучика организован выпуск газеты. Ее печатали на стеклографе, и в ней члены делегации делились своими впечатлениями и наблюдениями. Фучик призывал писать откровенно обо всем, что членам делегации нравится и не нравится. Статьи эти потом обсуждались. Открытый обмен мнениями способствовал тому, что члены делегации глубже задумывались над увиденным, правильнее оценивали достижения и существующие трудности на пути советского народа.

В то время в Праге в редакции «Руде право» был вывешен почтовый ящик, в который читатели опускали вопросы о жизни в Советской стране. Вопросы были самые различные: об условиях жизни и труда советских рабочих, о заработной плате, ценах и стахановском движении, существует ли у советской молодежи чувство ревности, какие выходят технические журналы для молодежи, носят ли молодые люди галстуки и т. д. Фучик в своих выступлениях подробно отвечал на все вопросы. Его

увлекательные репортажи находили много читателей.

Юлиус очень обрадовался, когда ему представилась дополнительная возможность контакта со своими читателями: на Московском радио в качестве главного редактора чешской студии он регулярно, каждую среду, стал выступать в передачах на Чехословакию.

На студии его любили за оперативность и остроумие, хотя он доставлял работникам студии немало хлопот и тревожных минут. Он увлекался, засовывал текст в карман и начинал импровизировать. Тут уж ничто не могло его остановить — ни отчаянные жесты, ни предупреждения. Случалось, что он сбивался. Каждый раз при этом краснел от гнева и щелкал пальцами. Как-то он с лукавой улыбкой дал диктору, известному впоследствии драматургу Антонину Куршу, текст, написанный на машинке со сломанной буквой О. Диктору пришлось изрядно попотеть, прежде чем он добрался до конца.

Веселый человек, этакий компанейский малый, каким Фучик казался для окружающих, жил в то время насыщенной духовной жизнью. Через три месяца пребывания в СССР он пишет Густе необычное письмо.

«И по твоим письмам, Густина, вижу я это, и сам я недоволен и несчастен оттого, что плохо работаю. Но ведь дело, честное слово, не в моей воле, точнее, не в недостатке воли — виновата моя неспособность. Ну просто не умею. Неприятно сознаваться в этом, но факт есть факт… Конечно, сколько-то веры в свои силы у меня еще есть — я не хочу сказать, что не умею вообще. Но мне еще надо учиться. Сколько тебе ни писал, каждый раз высказывал надежду, что в ближайшее время все пойдет лучше, но это, видно, сложнее, чем я представлял себе, хотя ты превосходно знаешь, что я еще в Праге предвидел большие сложности. Мне очень помогла поездка с делегацией. Одной Москвы недостаточно для того, чтобы узнать Советский Союз… Но ничего, надеюсь, что в конце концов сумею убедить их (редакцию „Руде право“. — *В. Ф.*), что не надо ругать меня за два месяца, которые дадут материала года на два…»

Он был явно несправедлив по отношению к себе в самобичевании и покаяниях. К этому времени в «Руде право» и «Галло-новинах» было опубликовано более 30 статей, репортажей, очерков.

Одной Москвы ему было недостаточно, чтобы узнать Советский Союз. Его взор снова устремляется на Среднюю Азию, и в декабре 1934 года Фучик направляется в Ташкент. Ему предстоит пять суток пути, более трех тысяч километров бескрайних степей и песчаных пустынь. По натуре

путешественник и тонкий наблюдатель, он любил, как сам признавался, «простор, солнце и ветер».

В поезде он познакомился с известной певицей Тамарой Церетели, которая направлялась в Самару на концерт для рабочих электростанций. Из разговора с ней Фучик узнал, что она, как «старый кондуктор», весь год в разъездах, на колесах, выступая в самых различных уголках Советского Союза. Во многих местах она побывала по два-три раза и больше. Случайная встреча с советской певицей дала богатый материал для очерка, в котором Фучик раскрыл новый тип деятеля культуры, отдающего и талант и силы народу.

Ташкент стал для Фучика своего рода стартовой площадкой, откуда он совершал поездки по различным городам и районам Средней Азии. Здесь у Фучика были друзья и знакомые. Вскоре из Ташкента Фучик направился дальше на юго-восток. Целый день поезд шел по узкой долине Сырдарьи, теснимой снежным хребтом Терско-Алатау. Наконец въехали в широкую Ферганскую долину, которая тянется на десятки километров через величественные горы.

Фучик посетил Андижан и большие хлопководческие колхозы в Шарихане, познакомился с историей этого богатого края. Конечной целью путешествия Фучика был город Фрунзе, где его с нетерпением ждали друзья из «Интергельпо». Здесь он провел несколько недель, стараясь как можно больше узнать о судьбах отдельных членов коммуны, об их думах и чаяниях, радостях и заботах. У него созревает замысел романа.

«Наверное, каждый репортер однажды в жизни чувствует желание написать роман, в котором он мог бы отразить то, что накопилось в нем за годы поисков и наблюдений и что не удается уместить в репортаже, — писал позднее Фучик. — Но это стремление наверняка нигде не приобретает таких четких форм, как в Советском Союзе, где любой литературный замысел захлестывается настолько широким потоком фактов, что превращается в книгу».

Из записных книжек видно, что он советовался с активистами коммуны о том, какой должна быть книга об «Интергельпо»: «Высказались все — и все за роман».

Из Москвы он направил Густе длинное письмо, в нем он изложил план задуманной книги, ее построение. Первая линия книги: из Чехословакии в Киргизию выезжает группа рабочих разных национальностей, едут они не только потому, что были безработными. Некоторые из них видели в СССР новую Америку, других манили приключения. Они приехали в голую степь. Им приходится чуть ли не героически преодолевать тяжелые

препятствия. Выдержали не все, кое-кто вернулся в Чехословакию, остались самые стойкие, сознательные рабочие и коммунисты, прошедшие в свое время через забастовки, через войну, через венгерскую коммуну. Другая линия — рост отсталой Киргизии, бывшей царской колонии. Третья линия — жизнь в Чехословакии тех, кто вернулся из «Интергельпо». Там, в степи под Фрунзе, устав после 12-часовой работы, они мечтали о своем доме, об удобствах «цивилизованной» страны, о 8-часовом рабочем дне. Но они оказались безработными людьми, выброшенными на улицу.

«И мне страшно хочется об этом написать. Только нужно как следует все сделать. И поэтому я хочу еще подробнее познакомиться с „материалом“, главным образом с конкретным материалом для своей „второй линии“ — с Киргизией. „Интергельпо“ я уже хорошо знал, Чехословакию, конечно, тоже. Но Киргизию изнутри, ее отдельные горные районы, не знаю. А отсюда и мой план: май, июнь, июль — новая поездка в Среднюю Азию, а точнее, во внутренние районы Киргизии и в Таджикистан».

Вернувшись в Москву, Фучик приступил к обработке собранного материала, но обобщить увиденное и пережитое не смог. Для серьезной работы над книгой ему не хватает времени…

Вряд ли можно назвать хоть одну значительную проблему тех лет, на которую не откликнулся бы Ю. Фучик… Он писал о реконструкции Москвы, о Краматорском заводе, о школах, колхозах, электрификации страны, советском законодательстве и воспитании людей, о новых магазинах, московском трамвае, советской семье. Он интересовался всем, начиная от цифр, характеризующих развитие промышленности в СССР, рост национального дохода, реальную заработную плату трудящихся, и кончая тем, насколько больше сахара съедают москвичи за последнее время, как махорку вытесняют папиросы. Фучик хорошо прочувствовал «нерв времени», становление государства нового типа, формирование нового человека — хозяина своей страны и отразил все это с присущей ему энергией и страстностью. Всякий раз, когда в Москву приезжает какая-нибудь делегация или просто гости с родины, для Фучика наступают часы, дни, недели сплошных забот. Среди тех, с кем Фучик встречался в Москве, были члены чехословацкой делегации на Первом съезде советских писателей; его хорошие друзья Витезслав Незвал, Любомил Лингарт, Петер Илемницкий, Геза Вче-личка, Лацо Новомеский; актеры, режиссеры; музыканты Верих, Буриан, Гонзол, Ежек, Пруха и другие; работники науки и культуры, журналисты, спортсмены.

В 1935 году на празднование 1 Мая в СССР прибыла

чехословацкая делегация, в составе которой находилась и Густа. Юлиусу было поручено сопровождать членов делегации. Вместе с ними он впервые присутствовал на демонстрации трудящихся Москвы, стоял на трибуне рядом с Мавзолеем. «На Красной площади проходили части Красной Армии, ветераны гражданской войны, рабочие. И дух захватывало при мысли, что люди, испытавшие недостаток во всем — в оружии, в продовольствии, — победили в жестокой схватке с буржуазией в семнадцатом году и в последующие годы… Тем полнее были наши восхищения, тем яснее мы сознавали, насколько жизнеспособна, бессмертна идея, пустившая в СССР такие глубокие корни, что не было силы, способной их выкорчевать», — вспоминала Густа Фучикова.

В качестве делегата от КПЧ в работе VII конгресса Коминтерна в июле 1935 года принимал участие Фучик. Центральной задачей коммунистических партий конгресс поставил создание единого рабочего и широкого народного фронта против фашизма, сплочение различных по своему социальному положению антифашистских сил. При разработке новой тактической линии учитывался и опыт КПЧ, изложенный в докладах К. Готвальда и А. Запотоцкого.

«Здесь создаются первые главы будущей истории человечества, — писал он. — Это столь величественно, что я, к своему полному отчаянию, раздваиваюсь. Как человек я расту, а как корреспондент я — самый несчастный под солнцем… Как все это передать? Как сделать, чтобы люди там, у нас, до конца поняли историческое величие конгресса?» Он разоблачал в своих статьях шумиху, поднятую социал-демократическими правыми лидерами, изображавшими политику единого фронта как отказ коммунистов от своих принципов или как их ослабление. Фу~чик показывал, что коммунисты не отказываются от своих принципов, они лишь меняют методы и формы работы в связи со складывающейся обстановкой.

Как-то незадолго до конгресса Фучик случайно, в коридоре одного из учреждений, встретился с Димитровым. Беседа растянулась вместо «нескольких минут» на два-три часа. Даже внешний вид героя Лейпцигского процесса соответствовал романтическому представлению о рыцаре революции. Фучика обрадовало, что Георгий Михайлович любит стихи и на память прочел строфы из дорогих ему Яна Неруды, Петера Безруча, Станислава Костки Неймана. Фучика поразила редкостная осведомленность Димитрова. Его все интересовало, и он, кажется, разбирался в самых запутанных вопросах внутренней жизни и культуры Чехословакии.

В августе 1935 года Фучик возвращается к своему замыслу написать роман и направляется в третий раз в Среднюю Азию. Он поехал со своим другом Ваврой и его женой. Теперь маршрут вел в Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, в сыпучие пески и на Памир, к пышным оазисам Ферганы и синим от изразцов древним твердыням Самарканда. На этот раз Фучик подготовился к далекому путешествию тщательно, запасся путеводителями и картами, книгами Семенова-Тян-Шанского, Пржевальского, Вамбери, не забыл и об Омаре Хайяме, Низами, Джами и Лахути. В письме Густе он пишет:

«А кроме того, у меня есть и еще один план — чисто журналистский. Как я говорю, „жюль-верновский“, только теперь он приобрел уже конкретные формы. Это будет серия полубеллетристических репортажей о профессоре Вериге, который ищет космические лучи в шахтах, под поверхностью моря, на Эльбрусе, в Арктике и в стратосфере; о солнечных домах в Ташкенте; и о Чирчике, который вырабатывает тысячи вагонов азотистых удобрений, и так далее. Для всего этого я штудирую физику, химию, астрономию и так далее. Но мне еще необходимо поупражняться в жюль-верновском стиле. Поэтому я тебя, Тустина, очень прошу, пошли мне с кем-нибудь Жюля Верна „Таинственный остров“, часть I, „Путешествие вокруг света“, „20 тысяч миль под водой“, „Рабур-завоеватель“ и „Путешествие на Луну“. Мне хочется все написать основательно, и, по-видимому, это было бы хорошее чтиво и в газете, и, возможно, в книжке».

Своей поездкой Фучик словно присоединялся к тем советским писателям, которые в тридцатые годы стали «открывать» Среднюю Азию: Николаю Тихонову, Константину Паустовскому, Владимиру Луговскому, Николаю Никитину, Михаилу Лоскутову. Все они подчеркивали, что писать о Средней Азии было интересно, но трудно. В Узбекистане он особенно интересовался переменами, происшедшими после его первого приезда сюда. Он торопится побывать на Чирчикстрое:

— Здесь возводится азотно-туковый комбинат, который будет вырабатывать в день сорок вагонов удобрений. Началось сооружение гидростанции, головной плотины, которая перекроет русло реки Чирчик, заложен социалистический город! Нам, журналистам-коммунистам, надо это пропагандировать, поэтому от слов — к делу, скорей на площадку Чирчикстроя — флагмана социализма на Советском Востоке!

На стройку он приезжал всякий раз, когда освобождалось время. Однажды, случайно встретившись на стройплощадке с приехавшим из Москвы представителем организации, которой подчинялся Чирчикстрой, Фучик терпеливо и подробно

ознакомил его со всеми объектами. В конце беседы представитель поинтересовался должностью, которую занимает его осведомленный собеседник, и, растерявшись, долго не мог поверить, что имел дело с иностранным корреспондентом.

Редакция журнала «Литературный Узбекистан» организовала встречу «за чашкой чая» с деятелями культуры республики, писателями, журналистами, работниками театра и кино. Фучик поделился своими творческими планами и впечатлениями о пребывании в республике:

— Последний раз я здесь был девять месяцев тому назад. В сущности, незначительный срок. Но и за этот срок произошли, как я наблюдаю, огромные изменения. В декабре прошлого года случилось мне познакомиться в текстилькомбинате с комсомолкой Балтабаевой. Это была удивительно застенчивая девушка. И вот позавчера на съезде девушек Узбекистана мне представили ее как одну из лучших парашютисток республики. Вдруг она заявляет: «А ведь мы с вами знакомы по текстилькомбинату», и только тогда я узнал в ней комсомолку Балтабаеву. Так духовно вырос, неузнаваемо изменился за девять месяцев человек!

В Самарканде Фучик побывал на ряде предприятий, в школе, городской больнице. Но с какой-то особенной жадностью осматривал памятники древнего зодчества. Еще в Москве он разглядывал их на фотографиях и в Третьяковской галерее на картинах Верещагина. Но увиденное превзошло все ожидания. Дворцы, мечети, мавзолеи, медресе, караван-сараи. Биби-Ханым, Шахи-Зинда, площадь Регистана, мавзолей Гур-Эмир, обсерватория Улугбека — эти слова не сходили с его уст и приобретали магическое звучание. Все мечети мусульманского мира должна превзойти своими размерами соборная мечеть Биби-Ханым с не тускнеющими более 1300 лет бирюзовыми красками сказочно сверкающих куполов. Цветная вязь фантастически переплетающихся орнаментов на майоликовой облицовке дворцов, строгие формы медресе Шир Дор на площади Регистана, яркие, красочные изразцы, будто пропитанные горячим южным солнцем.

— Какое великое искусство, какая уникальная культура! — восхищался Фучик. — Вот почему сюда с незапамятных времен обращались взоры иноземных завоевателей: Александра Македонского, арабских халифов, Чингисхана и персидского царя Кира.

В «Интергельпо» у героев задуманного романа был праздник. В мае коммуна отмечала юбилей — десятилетие своего

существования. Коммунары гордились тем, что Президиум ЦИК Киргизской АССР наградил «Интергельпо» Почетной грамотой. Беседы Фучика с коммунарами затягивались допоздна. То и дело с порога раздается радостное «Чест праци, Юлек!». Всем хочется послушать его, ведь он был участником недавно закончившегося VII конгресса Коминтерна.

В районе пастбищ «Интергельпо» он мечтал увидеть знаменитые тянь-шацьские ели, стройные серебристые великаны. Об их красоте и величии поется в песнях акынов, пишется в книгах восхищенных путешественников. Наконец, под сенью этих елей один из героев его романа должен объясниться в любви. Товарищи шутят:

— Для объяснения можно было бы найти место поближе и поудобней.

— Нет, — отвечает Фучик. — Прекрасное чувство в человеке инстинктивно ищет прекрасную обстановку, чтобы проявить себя во всей полноте и силе!

На рассвете небольшая кавалькада во главе с опытным проводником отправилась в путь. Они ехали по лощинам и каменистым склонам, где-то далеко внизу шумели горные водопады. К концу дня путники достигли цели.

Ночь провели в горной сторожке, а утром, едва первые лучи солнца озарили вершины самых высоких гор, Фучик и Вавра выбежали из домика на свежий утренний воздух.

— Мы пойдем наверх, посмотрим восход солнца, — по-мальчишески счастливые, крикнули они и исчезли в серой дымке. В записной книжке Вавры сохранилась такая запись об этой «прогулке»:

«…12 октября…мы с Фучиком „прогулялись“ в горы… и чуть не погибли… Заблудились на высоте в 3500 метров. Вот и приключение! Гуляли, поднимались по склону горы, удивлялись прекрасным видам бесконечных снежных вершин, открывающихся над пеленой облаков, увлеклись и незаметно переступили снежный рубеж. Карабкались все выше и выше, пока не заметили, что окутаны туманом облака, севшего на гору. Когда подымались, был прекрасный солнечный день. И мы, одетые в летние костюмы, ботинки, без еды, без компаса, карт, без всего, что требуется для подобного рода туристских „прогулок“, вдруг оказались в снежном буране; морозный ветер страшной силы: неведомая нам местность среди крутых, белых горных хребтов, скал и ледников.

Теперь мы не знали, ни куда пришли, ни куда спуститься. Мы долго обдумывали свое положение, искали дорогу, блуждали, пробирались ощупью, ползли, прижимаясь к выступам скал, чтоб хоть немного защититься от свирепствующего ветра. Когда на

мгновение разрывалась вата холодного тумана, мы вглядывались в долину, в вершины, стараясь высмотреть какие-нибудь знакомые приметы: где мы и куда нам идти?

Мы брели уже по колено в снегу. Не было и надежды найти хотя бы наши следы. Ураганный вой и рев оглушал нас. Мы изо всех сил звали, кричали, чтобы хоть друг друга не потерять. Но тут мы наконец наткнулись на знакомую глыбу и… путь обратно в долину. Какая была радость! Мы не спускались, мы скатывались, бежали, валились, прыгали и… очутились внизу, в совхозе».

Через несколько дней Фучик продолжил свой путь к озеру Иссык-Куль, которое здесь называли морем. «Озеро нежилось в лучах солнца. В хорошую погоду так греются на склонах Тянь-Шаня жеребята. Это была очаровательная и радостная картина», — вспоминал Фучик.

Короткая остановка у озера — и снова в путь. Юлиусу как заправскому путешественнику довелось колесить по Средней Азии: ездить на попутных грузовиках, трястись на арбе, покачиваться верхом на верблюде, семенить на ишаках, карабкаться по головокружительным и труднодоступным, почти непроходимым кручам горных хребтов, скакать на лихих киргизских скакунах. Но его вновь и вновь одолевала беспокойная жажда новых Дорог, опережающее трезвый рассудок нетерпение, далекий горизонт, пронизанный дрожащим радужным лучом.

Теплой была встреча со строителями Великого Киргизского тракта — шоссейной магистрали, связывающей юг республики с севером, с одной из самых высокогорных дорог мира — шоссе Душанбе — Хорог — Ош. Приехали сюда в «бледно-голубом экспрессе», закрытом фанерой кузове четырехтонного грузовика по удобной, широкой дороге. В комнате для приезжих у начальника стройки инженера Магаршака, куда непогода загнала многих прорабов, десятников, шоферов и бетонщиков, шли оживленные разговоры о цементе, о валенках, о соревновании. Фучик жадно прислушивался к людям, вступал иногда в споры, горячился, рассказывал, убеждал, доказывал. Было видно, что его трогает все, что касается Киргизии. Рабочие рассказывали, в каких труднейших условиях осуществлялось строительство тракта, особенно на «повороте смерти» тракта Ош — Хорог. К удивлению всех, Фучику довелось раньше, в 1930 году, проезжать по этой глиняной дороге, размокшей от дождей, над крутой пропастью. Он рассказывал, как было тогда:

— Лошади медленно ступали по пыльным камням горной тропы. Глубоко под ногами бежала река Чу… Напрасно я старался

не смотреть вниз, на Чу, которая с седла лошади казалась особенно грозной и глубокой. Вдруг я отшвырнул недокуренную цигарку и соскочил с коня с такой быстротой и ловкостью, на которую способен только человек, охваченный страхом. Мой спутник стоял на тропе, успокаивая своего коня. Лошади испуганно прядали ушами и дрожали. Мы тесно прижались к отвесной стене скалы.

Из-за поворота навстречу нам нерешительно выехала грузовая машина. Она остановилась. И мы прошли мимо, почтительно приветствуя шофера, который с выражением глубокого облегчения на лице, явно испытывая чувство благодарности к судьбе, утирал пот со лба. Он имел право на наше уважение, а пройдя несколько десятков метров, я понял, почему он был так доволен: за его спиной остался самый опасный участок Буамского ущелья — «поворот смерти». Далеко внизу, в Быстровке, вылавливали из Чу тела тех, кому не удалось его проехать. А это случалось нередко, Вам можно позавидовать, Вы, строители, приходите в пустынный край, а уходя, оставляете его ожившим, как бы вливая новую струю в жизнь целого края.

Далее Фучик отправился в Каракол (Пржевальск), лежащий в девяти километрах от Иссык-Куля. Оттуда он поехал еще дальше, в глубь гор, почти до самой китайской границы. Путешествовал теперь он один: Вавра с женой должен был возвратиться в Москву.

Теперь его маршрут вел в Таджикистан. Фучика заинтересовало строительство в Вахшской пустыне. Орошение громадной площади в сто тридцать тысяч гектаров легких грунтов пустыни таило в себе много опасностей. Головное сооружение и так называемая холостая часть канала, прорубленная в скалах, примыкали к самому берегу Вахша. В этом месте стесненная берегами мутная река не кажется широкой. Но глубокое и стремительное течение невольно внушает мысль о силе и многоводности Вахша. В переводе на русский слово «Вахш» означает «дикий». И это название дано реке неспроста.

Вахш зарождается на Алайском и Заилийском хребтах на высоте около четырех тысяч метров. С бешеной скоростью размывая горные кряжи и волоча камни, низвергается он вниз и в одном из ущелий Гиссарского хребта вырывается в долину, простирающуюся сплошным массивом до самой границы.

Вахшская долина по своим климатическим особенностям напоминает Египет. Продолжительность растительного периода здесь 210 дней в году. Средняя годовая температура плюс 20 градусов. И климат, и жирные лессовые почвы очень подходят для

выращивания длинноволокнистого египетского хлопка. Но какой уж там хлопок без воды! А Вахш, будто в насмешку, проносил свои воды по самому краю долины, почва которой горела и трескалась от зноя.

Попытки обуздать Вахш известны с древних времен, но они не увенчались успехом.

История покорения Вахша советскими людьми, рождение в нашей стране своего «советского Египта» живо волновали Фучика. Дело в том, что Советская власть здесь установилась на несколько лет позднее, чем в других республиках. Таджикистан — это бывшая Восточная Бухара, в недавнем прошлом край отсталый из отсталых.

Грамотные люди, по словам писателя Айни, «были столь же редки, как плодовые деревья в солончаковой пустыне». Минуло лишь четыре года, как были разгромлены басмаческие орды Ибрагим-бека, ставленника английского империализма, пытавшиеся сорвать первую колхозную весну в республике — весну тридцать первого года. Тем более наглядны и убедительны были поразительные успехи ленинской национальной политики.

Фучику запомнился вечер в театре имени Лахути, когда общественность республики отмечала тридцатилетие литературной и общественной деятельности основоположника таджикской советской литературы Садриддина Айни. В президиуме собрания сидел в качестве почетного гостя Фучик. Свою речь Юлиус начал стихами Айни:

Ни даже имени Таджикистана
Не видел мир пятнадцать лет назад.
Был Курдистан — край скорби и обмана,
Затерянный меж каменных громад.

Фучик говорил о том, как в Средней Европе фашисты подвергают преследованиям прогрессивных деятелей культуры, всех, кто борется против варварства. Закончил он речь по-русски:

— Товарищ Айни! Все, выражая свою любовь, дарят подарки. Я, как человек приезжий, этого не могу сделать. Поэтому примите мое обещание приложить все силы к тому, чтобы вы смогли приехать в Чехословакию и получить тот подарок, который смог бы порадовать вас.

Садриддин Айни поднялся со своего места, снял с себя халат и набросил его на плечи Фучику. И оба писателя — старый Айни и молодой Фучик — крепко пожали друг другу руки и поцеловались.

Его записная книжка быстро заполнялась. Среднеазиатская

записная книжка Фучика — это альбом ярких, запоминающихся женских портретов, так как судьба женщин здесь еще более удивительна, чем судьба мужчин. Лицо женщины выглянуло из темниц чадры и паранджи, появилось в трамваях, на фабриках, на заводах, в учреждениях. На примере многих женщин Фучик показал, какая историческая перемена произошла в положении женщины. Очень разные и очень типичные судьбы у этих женщин, и каждая из них нарисована по-своему. Нуринису Гулямову, едущую на осле рядом с идущим мужем, никак нельзя спутать с Таджихон Шадиевой, комсомолкой, первой парашютисткой в республике, или с врачом Самаркандской больницы Розинхон Мирзагатовой.

В конце декабря 1935 года после трехмесячного пребывания в Средней Азии Фучик вернулся в Москву. О своих литературных планах он писал Густе:

«Если я напишу зимой книжку и если Борецкий еще продолжает существовать в роли относительно приличного издателя, ему бы надо подготовиться к тому, чтобы уже в весеннем сезоне (в марте или апреле) издать ее. И пусть не боится. Он будет получать рукопись не по кускам: книжка полурепортажного, полубеллетристического характера — о Средней Азии — пойдет у меня быстро…» Чувствовалось по этому письму, что Фучик был полон оптимизма в отношении своего замысла написать книгу. Зимой было много работы, а в мае 1936 года ему надо было возвращаться на родину, той же дорогой — через нацистскую Германию — с чужим паспортом, как и два года назад. Значит, нельзя взять с собой никаких письменных материалов: ни записных книжек, ни рукописей. Все это должен был оставить в Москве. По свидетельству Радволиной, он оставил ей рукопись романа об интергельповцах, которая во время войны затерялась.

Написанные во время пребывания в СССР более ста репортажей, комментариев вошли после войны в сборник «В стране любимой».

В очерке «До свидания, СССР» он описал свои последние часы пребывания в Москве. Словно чувствуя, что видит все это в последний раз, он попрощался с Московским метро, постоял в долгом раздумье на Красной площади. И уже перед самым поездом завернул на Арбат и Садовое кольцо. «На моих глазах вырастало то, за что мы еще только боремся, то, о чем еще только мечтаем. На глазах у меня возникало бесклассовое, социалистическое общество, социализм из плоти и крови, действительность, которую можно видеть, ощущать, дышать ею…»

ПОДВИГ

КОНЕЦ ПЕРВОЙ РЕСПУБЛИКИ

Нет, умирать еще мы не умеем
За наш народ, за родину, свободу,
И по-торгашески мы все печемся
О личной выгоде в ущерб народу.

Ян Неруда

Он вернулся домой в конце мая 1936 года и снова увидел капиталистическую Чехословакию, потрясаемую экономическим кризисом и опасностью фашизма. Выступать на собраниях и митингах, как после первого возвращения, нельзя: слишком длинный хвост различных «прегрешений» тянется за ним из полиции как за лицом, виновным в «действиях особо недопустимых и направленных против безопасности родины»: «неотбытый срок тюремного заключения», «недействительный адрес прописки». Вскоре к этим прегрешениям добавилось еще одно: «дезертир». Судебно-полицейская машина работала безостановочно, направляя по старым адресам местожительства Фучика различные повестки, вызовы, уведомления, на которые Юлиус перестал обращать внимание. О содержании некоторых из них он просто ничего не знал. Так, в августе 1936 года ему была направлена повестка военного комиссариата с вызовом на кратковременные военные сборы. Из-за неявки на них он и был объявлен «дезертиром». Теперь полицейский комиссариат пражского района Карлина, где скорее всего мог объявиться Фучик, получил сверху указание «не привлекая внимания» выяснить у коммунистов в Доме партии, не появляется ли среди них Юлиус Фучик, и «в случае, если он будет застигнут, арестовать как дезертира или узнать адрес». Шпики тщетно караулили и разыскивали Фучика, и полиция ответила, что «вышеуказанный Фучик в названном доме не появляется и на протяжении длительного времени не был замечен. Местожительство неизвестно».

Рассчитывать, что с внешностью, слегка измененной темной бородкой и усиками, не узнают на улице, трудно. Правда, некоторые знакомые прошли на улице мимо, не повернув головы,

но несколько дней назад он едва повстречал Незвала, как тот сразу воскликнул:

— Юла, откуда ты взялся?

Незвал полагал, что Фучик все еще находится в Москве. Фучик сделал вид, будто ничего не понимает, но не выдержал и рассмеялся:

— Вит, как же это ты меня узнал?

— А кто еще может ходить с Густой? Меня не проведешь!

— Ну, Вит, как я погляжу, у тебя не только талант поэта.

— Спасибо за комплимент. Но какой из меня Шерлок Холмс, если ты считаешь, что полиции вообще не должно быть?

— Нет, полиция должна быть, но только для того, чтобы охранять народ и ловить преступников, — серьезно и с грустью возразил Фучик.

Но сидеть без дела и скрываться от полиции он не мог, время было грозное, полное страшных опасений, предвидений, ожиданий, жестоких страстей и противоречий. Все личное уходило на задний план.

На политическом горизонте сгущались зловещие тучи. Доходили тревожные вести из Испании, где в июле 1936 года военщина во главе с Франко подняла мятеж против правительства Народного фронта. За три месяца с начала мятежа фашистские правители Германии и Италии перебросили в Испанию на помощь франкистам свыше 24 тысяч солдат-марокканцев, 400 тонн военных материалов и 462 раза бомбили испанские города. Силы демократии и прогресса впервые в открытом бою столкнулись с силами международного фашизма. КПЧ разъясняла, что разбойничье нападение на Испанию является подготовкой интервенции в Чехословакию и, несмотря на запрещения и преследования, организовала отправку в Испанию чехословацких добровольцев, проводила сбор средств и кампанию в поддержку испанских антифашистов. В Праге создан специальный комитет в защиту Испании, который возглавлял Шальда. В рядах добровольцев-интернационалистов в Испании сражались две с половиной тысячи чехов и словаков, две трети из них пали в этой борьбе. Фучик тоже рвался в Испанию, как его коллеги по «Руде право» Б. Лаштовичка и В. Синкуле, деятели науки и культуры З. Неедлы, И. Секанина, М. Майерова, Ф. Галас, Этой Эрвин Киш и И. Барта. Однако партия считала необходимым оставить его в Чехословакии. Фучик пишет серию статей об Испании, тема пролетарской солидарности становится одной из ведущих — надо предостеречь тех, кто считает, что коммунисты преувеличивают опасность тех, кто питает иллюзии на спокойное и доброе завтра.

«И для политических слепцов должно быть уже теперь ясно,

что значение борьбы в Испании выходит далеко за границы страны», — писал он, показывая, что это одно из звеньев в цепи фашистского наступления на Европу. В прошлом году безоружные босые абиссинцы с духовыми ружьями пытались бороться против гитлеровских «юнкерсов», теперь на головы испанских детей-школьников падали бомбы. «Руде право» опубликовала в ноябре фотографии жертв фашистского налета. «Возьмите эти страшные документы, — писал Фучик, возьмите эти снимки убитых и искалеченных детей мадридских пролетариев и идите с ними от человека к человеку, идите с ними из дома в дом, чтобы людям не пришлось вскоре защищать свои города и деревни от фашистских убийц. Не говорите об этих снимках: „Это ужасно!“ — но действуйте, действуйте немедленно. Мы должны идти вперед, идти от дома к дому и пробуждать всех, кто не хочет страдать под диктатурой фашизма, все то огромное большинство народа, которое не хочет влачить жалкое существование и умирать в колонии Третьей империи, — пробуждать для того, чтобы люди объединились и окончательно истребили у нас гнездо гитлеризма, всех помощников испанских убийц, уничтожили бы их вовремя, чтобы они не могли повергнуть народы Чехословакии в такой жз ужас, в какой повергли испанский народ испанские Браные и Стршибрные» (реакционные журналисты и общественные деятели Чехословакии. — *В. Ф.*).

Со свойственной ему энергией Фучик выступает как агитатор, боец, вкладывая в свои статьи всю страсть трибуна, весь свой политический темперамент. «Фашизм, — говорит он, — хочет нас победить, бросить себе под ноги, наступить сапогом на шею, разгромить, уничтожить, стереть национальную культуру, осуществить пангерманскую идею: „Весь мир — для немцев“».

После возвращения из СССР Фучик почти два года жил разыскиваемый полицией. Чтобы меньше привлекать к себе внимание полиции, Юлиус старался реже бывать в редакции «Руде право», найдя себе место для работы в тихом кафе «Опера», расположенном рядом с редакцией. Юлиус собирает самые свежие, самые последние новости и пишет одну статью за другой. С середины мая и до конца года он написал почти сто статей и репортажей.

В начале 1937 года он становится заместителем главного редактора газеты «Руде право». Редакция, куда обычно входило 10–12 человек, теперь при главном редакторе Яне Шверме была расширена до 18 человек: в нее входили Эдуард Урке, Курт Конрад, Ян Крейчи, Франтишек Кржижек, Вацлав Синкуле, Вратислав Шантрох, Станислав Брунцлик, Вацлав Кршен и другие. Целая когорта журналистских звезд первой величины,

своеобразное сочетание разных человеческих качеств — мужества, таланта, ума, принципиальности, твердости, инициативы, личных привязанностей. Забегая немного вперед, скажем, что все они пали смертью храбрых в борьбе с фашизмом. Десять человек из одной газеты, два из них (Шверма и Фучик. — *В. Ф.*) стали национальными героями ЧССР.

ЯН ШВЕРМА. Высокий, с худым продолговатым лицом, темпераментный и хладнокровный, с холодным умом и горячим сердцем. Одного возраста почти со всеми остальными, но сразу завоевал непререкаемый авторитет как первый среди равных. В редакцию приходит первым, всегда с новыми идеями, с продуманным планом номера, но утверждается план только после «летучки». Если нужно, статьи пишутся тут же, по горячим следам событий. Свои передовые диктует прямо на машинку. Юношеская доброжелательность и откровенность, скромность на грани стеснительности сочетаются у него с твердостью и жесткостью в осуществлении партийной линии. По воскресеньям проводит своеобразный журналистский семинар, делает обзор международных и внутренних событий, и курс газеты на неделю определен.

ЭДУАРД УРКС. Острый ум в сочетании с большим редакторским опытом в островской «Правде». Все в редакции снимают шляпу перед его образованностью и эрудицией. Друзья шутят, вспоминая, что этот большой знаток чешского национального характера и современной философии начинал когда-то со статейки об истории танца от вальса до чарльстона. Иногда он даже слишком нетерпим к слабостям иных журналистов и литераторов, зато какое умение добираться во всем до самых корней.

КУРТ КОНРАД. Его настоящая фамилия Веер. Общий любимец, выпускник медицинского факультета немецкого университета в Праге, красивый юноша с волнистыми темными волосами, с карими глазами, всегда печальными, даже если он смеялся. Делает паузы во время разговора, словно обдумывая, как правильнее произнести какое-либо слово по-чешски. Он на шесть лет моложе Юлиуса, но сколько знает этот человек, ученый по своей натуре! Философию и эстетику Гегеля и историю европейских революций он знает, пожалуй, как никто в стране. Казалось, Курта знают все и он знает всех. С Фучиком у него общая и нежная любовь — «Творба», где Курт часто замещал Фучика.

ЯН КРЕЙЧИ. «Ходячая энциклопедия», блестящий международник, увлекающийся спортом, театром.

ФРАНТИШЕК КРЖИЖЕК. Его особо сильная сторона —

знание жизни рабочего класса. Сам вышел из пролетарской среды в Кладно, знает, как надо говорить с шахтером и каменщиком и чем каждый из них живет.

ВАЦЛАВ СИНКУЛЕ. Признанный вожак студенческой молодежи, остроумный, глубокий знаток экономики страны.

СТАНИСЛАВ БРУНЦЛИК и ВРАТИСЛАВ ШАТРОХ — полпреды молодежного движения в газете, ненасытные к знаниям, любители модерна в поэзии и театре.

Этих разных людей соединяло чувство той чистой самоотверженной дружбы, которая рождается лишь в совместной борьбе, под огнем врага. Они были рождены революцией и связывали свое будущее с партией, народом, свято верили в правоту своего дела. Наконец, их всех объединяла и несла на своих волнах неудержимая молодость. Молодость настоящая, молодость взглядов, молодость класса, сознающего себя и свою миссию. Они жили полнокровной жизнью, заполненной до краев изнурительной работой, гулом собраний, демонстраций и дискуссий. Опасности и душевное напряжение чередовались с шуткой, юмором и юношеским весельем.

Под руководством Швермы «Руде право» превратилась в массовый орган, способный доводить слово партии до сотен тысяч трудящихся. Тираж газеты быстро увеличивался: в 1928 году он составлял 4,5 тысячи экземпляров, в 1934 году — 14 тысяч, в 1936 году — 26 тысяч, в 1938 году — 40 тысяч, а в дни Мюнхена — 100 тысяч экземпляров. «Руде право» становилась любимой газетой трудящихся масс.

Борьба КПЧ за создание единого Народного фронта проходила в условиях резкого размежевания политических сил. Правое крыло буржуазии во главе с Рудольфом Бераном, ставшим после 1933 года председателем аграрной партии, стремилось разорвать союзнический договор с Советским Союзом от 16 мая 1935 года и тихо, «изнутри» выдать Чехословакию на милость Гитлера. Второе крыло — буржуазно-демократический блок во главе с президентом Эдуардом Бенешем, в которое входили также социал-демократическая и национально-социалистическая партия, всячески лавировало. Ее лозунг — «Не дразнить Гитлера», связывать судьбу страны с позицией Англии и Франции.

Процесс размежевания происходил и в рядах деятелей культуры. Единый антифашистский фронт прогрессивной интеллигенции имел широкую базу, куда вошли представители левых, коммунисты: С.К. Нейман, З. Неедлы, В. Незвал, И. Ольбрахт, Л. Штолл, Б. Вацлавек, Л. Новомеский, Э. Урке, а также все здоровые демократические силы культуры, те, кто недавно или проявлял колебания, или сторонился больших проблем

общественной жизни: Йозеф и Карел Чапеки, Йозеф Гора, Ярослав Сейферт, Франтишек Лангер и другие. Работа отнимала у Фучика много сил и времени, приходилось к тому же исполнять обязанности главного редактора в отсутствие Швермы, но он не переставал писать. В статье «Манифест чешских писателей», опубликованной в мае 1937 года в «Руде право», он напоминает о выступлении группы прогрессивных писателей в мае 1917 года против австро-венгерской монархии и обращается с призывом к мастерам культуры продолжать патриотическую традицию чешской литературы.

«Опять наступило время, зовущее к мужественному выступлению мастеров культуры». Понимая душой и сердцем, что сейчас как никогда актуальна постановка горьковского вопроса «С кем вы, мастера культуры?», он прилагает большие усилия, чтобы привлечь к борьбе с фашизмом всех честных и мужественных художников, несмотря на разницу в их мировоззрении и художественной ориентации.

Возникает антифашистская литература. Видное место в ней принадлежит Карелу Чапеку, который от индивидуализма и проповеди «медленного прогресса» перешел к антифашистской борьбе. Увидев саламандру, плывшую по его родной Влтаве, то есть появление фашизма в Германия и у себя дома, Чапек создал роман-памфлет «Война с саламандрами» и пьесу «Белая болезнь». Эти крупнейшие антифашистские произведения были написаны так, словно писатель чувствовал приближение мюнхенской трагедии и своей личной, и вложил в них поэтому без остатка всю остроту своего сатирического глаза, силу психологической наблюдательности, иронии, юмора, сарказма.

В июне 1937 года секретариат ЦК КПЧ создал специальную комиссию по подготовке к празднованию XX годовщины Великого Октября. Председателем комиссии был А. Запотоцкий; в нее входил Фучик. Это было почетное и ответственное поручение. КПЧ выдвинула задачу «приложить все силы к тому, чтобы празднование XX годовщины Октября вылилось в мощную демонстрацию солидарности народа и всех друзей мира в Чехословакии с великой страной социализма». В ходе подготовки к празднованию этой годовщины Союз друзей СССР составил приветственный адрес, получивший название «Золотая книга чехословацкого народа народам СССР». Несмотря на противодействие реакции и трудности, создававшиеся реформистами, удалось собрать 150 тысяч подписей под этим адресом. Кроме того, «Золотую книгу» подписали 3700 коллективов и организаций. (В настоящее время эта книга, врученная в 1937 году М.И. Калинину, хранится в Музее

Революции в Москве. — *В. Ф.*) Во всех крупных городах и селах состоялись публичные выступления, торжественные собрания. Манифестация в защиту республики проходила под лозунгом упрочения союза с СССР. На многих публичных собраниях выступали активисты Союза друзей СССР — Юлиус Фучик, Зденек Неедлы, Вацлав Давид, Густав Гусак и другие, говорившие о значении договора, заключенного Чехословакией с Советским Союзом.

В своих выступлениях Фучик упорно вел борьбу за мастеров культуры, выявлял как критик социальные истоки сильных и слабых черт их творчества, раскрывал проблему гражданской ответственности художника, народности искусства. «Возвращение» Фучика к литературно-критической деятельности было плодотворным и интенсивным. Он публикует много статей о творчестве писателей и деятельности театров. Одним из первых марксистских критиков он увидел новые черты в творчестве Карела Чапека. В то время как С.К. Нейман и К. Конрад дали строгие, отрицательные оценки повести К. Чапека «Первая спасательная», вышедшей в 1937 году, Нейман вложил их уже в название своей статьи «Релятивистский социальный роман, или Шахтерская жизнь для развлечению), — Фучик увидел позитивное ядро в повести Чапека и назвал ее „настоящим произведением“. Он выразил свое восхищение мастерством писателя, который хотя до этого особо не изучал жизнь рабочих, их психологию, особенности речи и мышления, но сумел правдиво, с большой художественной силой отобразить все это в произведении, создать „прекрасную песню о рабочей солидарности, о рабочем героизме“. В отличие от автора, заявившего, что мужественные характеры можно найти в любой среде, Фучик считает глубоко закономерным тот факт, что героические поступки совершают в „Первой спасательной“ рабочие. Мужество, самоотверженность, дух товарищества характерны именно для рабочей среды, говорит он. Попробовал бы Чапек написать рассказ о мужестве компании биржевиков или героизме угольных баронов, ради прибыли которых погибли шахтеры!

Фучик не скрывал, что в повести далеко не все показалось ему убедительным и сильным. Абстрактный гуманизм писателя приводит к сглаживанию классовых противоречий, отступлению от правды, особенно в финальной сцене филантропической помощи дирекции шахты пострадавшим шахтерам. „Эта сладость в художественном произведении горчит, как полынь“. Но Фучик выразил уверенность, что Чапек „со временем откроет полностью свои глаза и как художник и как гражданин“. Стремясь помочь

Чапеку, поддержать его обращение к теме рабочего класса, его духовную эволюцию, Фучик обращался не только к Чапеку, но и к другим литераторам, „людям на перепутье“, переживающим трудный процесс идейных сомнений и поисков.

Большое внимание Фучик уделял „Освобожденному театру“, который еще в двадцатые годы полюбился ему как театр, олицетворявший собой современный народный театр, где было создано единство сцены и зрительного зала. В тридцатые годы антифашистский репертуар театра все больше и больше подвергался нападкам со стороны профашистских сил, завоевывал симпатии передовой интеллигенции и рабочих, молодежи. Тысячи студентов, молодых рабочих, интеллигентов ежедневно заполняли просторный зал „У Новаков“ на Водичковой улице, где шла антифашистская политическая сатира — пьесы „Тяжелая Барбора“ и „С изнанки на лицо“. Спектакль заканчивался, но восторженные зрители не расходились, запевая одну за другой песни, только что звучавшие на сцене. „Если через многие годы будут писать историю наших более чем тревожных дней, — писал Фучик, — то, без сомнения, отметят и 18 декабря 1936 года, день премьеры „С изнанки на лицо“, как один из важных дней, от которых пошло сплочение прогрессивных сил“.

В пьесе „Тяжелая Барбора“ события глубокой древности из истории свободного города Эйдам проецировались на сегодняшний день, на политические реалии Чехословакии, и каждый человек в зрительном зале понимал, о чем идет речь. На свободный город покушался коварный и жестокий вождь соседнего Уберланда (нетрудно было увидеть игру слов: Дойчланд убер аллее). Искусству демагогии он научился еще тогда, когда был рыцарем-разбойником, голос у него был как у тура. Он нашел себе в Эйдаме союзника, владельца замка, богатого дворянина Бандергрунта, который в городской думе предложил, чтобы всем гражданам эйдамским на уста был повешен замок. Таким образом будет сохранена почтительная тишина, ибо в противном случае вождь Уберланда мог бы предполагать, что жители города его обидели, оскорбили, и тогда он мог бы потребовать сатисфакции.

О том, в какой атмосфере родилась и была поставлена в 1938 году пьеса „Кулаком в глаз, или Финал Цезаря“, имевшая тоже совершенно конкретный адрес и немало маскировочных средств, свидетельствует письмо актеров театра Вериха и Восковца Фучику, приложенное к пригласительным билетам. „Мы вынуждены политическую сатиру и все актуальные намеки заворачивать в серебряные бумажки, чтобы не нарушить предписанной „тиши да глади“ и повышенных требований

цензуры. Мы полагаемся на понятливость нашей публики и уверены, что она сама вынет из серебряной бумажки то ядро, которое мы и хотим ей преподнести. Просим вас не подчеркивать чрезмерно в Вашей статье скрытого смысла некоторых наших аналогий — это дало бы повод к нападкам со стороны прессы…“ После этих слов была сделана еще рукою такая приписка: „Это, Фучидло, касается главным образом тебя. Пожалуйста, не пиши ничего такого, что потом всякие свиньи могли бы обернуть против нас. И чтоб цензура ничего у нас дополнительно не выдрала!“

Но не только зрители понимали эзоповский язык, а и власть имущие. Решающее слово было за ними. Последний спектакль „Голову против Мигули“, премьера которого была намечена на 10 ноября 1938 года, уже не состоялся: власти закрыли театр, ставший одним из рупоров антифашистских настроений, фонтаном политических острот.

Деятельность Фучика по привлечению мастеров культуры к борьбе с фашизмом была неразрывно связана с его выступлениями против реакционной литературы. Вот появился на книжных прилавках профашистский роман Франтишека Завражелы „Ева“ со „сверхчеловеческими“ героями, высокомерным презрением к „толпе“, проповедью „спасения Праги“ путем приобщения ее к „несравненным высотам духа“ Берлина и Рима. Новые вариации на старую тему: мир принадлежит сильным, мир принадлежит истинным аристократам, белокурым бестиям.

Откуда берутся такие писатели? Как могло случиться, что книги и жизнь их ничему не научили? Если этому писателю, доморощенному ницшеанцу, не поднявшемуся до уровня „фельдфебеля реакции“, не повезет быть забытым, — с убийственной иронией замечает Фучик в рецензии с саркастическим названием „Морская свинка — сверхчеловечек“, — в будущем он станет своего рода подопытной литературной морской свинкой, его будут демонстрировать учащимся: так выглядит тип людей, на которых опиралась реакция».

Почва общественной жизни была настолько отравлена бациллами фашиствующей реакции, что на ней один за другим стали появляться хилые ростки-произведения, фальсифицирующие чешскую историю и культуру. Внимание Фучика привлек исторический роман католического писателя Ярослава Дуриха «Масленица». Когда-то, в начале своего творческого пути, этот писатель и драматург выступал вместе с братьями Чапек, пока их пути не разошлись. Давно уже имя столь

известного литератора не стояло на такой плохой книге. Фучик показывает, что реакционное мировоззрение автора отразилось и на художественном уровне произведения. Мало того что герои романа — это «куклы, из которых течет кровь», язык писателя деформирован до крайности: «Дурих ловит слова, как мух, и обрывает им крылья, чтобы они не могли летать; прикладывает друг к другу болезненно дергающиеся, чуждые слова, ломает, калечит фразы, разрывая их живую ткань».

Буржуазия организовала новую, небывалую по своей интенсивности идеологическую диверсию против СССР. В 1937 году появилась клеветническая книга Андре Жида «Возвращение из СССР». С. К. Нейман ответил книгой «Анти-Жид, или Оптимизм без суеверий и иллюзий», в которой глубоко раскрыл мелкобуржуазную филистерскую природу современного декадентствующего интеллигента. Фучик горячо приветствовал работу Неймана, подчеркивая, что она «своевременная и нужная», «сильная и мужественная», высоко оценил ее за то, что писатель сумел разоблачить определенный социальный тип, сложившийся на Западе в условиях распада буржуазной демократии и наступления фашизма, «Это тот тип интеллигентов, которые в течение многих лет громко выкрикивали радикальные, революционные фразы, чтобы в самый решающий момент изменить и проявить себя просто-напросто убогими мелкобуржуазными филистерами… Это тот тип интеллигентов, которые отгородились от могучих источников жизни трудящихся, герметически закупорились и которые называют „свободой“ своеволие отдельных людей, а свободу миллионов попирают. Это тот тип интеллигентов, которые ради комфортабельной жизни в бельэтаже хотели бы повернуть назад колесо истории. Это тот тип интеллигентов, что подобны нерудовским „жабам“. Из всей Вселенной их интересует одно: „А есть ли там жабы тоже?“» Фучик мастерски использовал ссылку на стихотворение Неруды из сборника «Космические песни», где высмеивалась мещанская ограниченность и тупость.

Время было трудное. Нередко распадалась долголетняя дружба. С Иржи Вейлем Фучик сотрудничал еще со студенческих лет. И вот теперь он написал роман «Москва — граница». Буржуазная печать рекламирует роман ренегата как «документ о советской жизни». Да, автор романа не раз бывал в СССР и неплохо знает советскую действительность. Но вместо ее художественного обобщения он сознательно встал на путь фальсификации. «Сразу же, с начала книги, — саркастически писал Фучик, — Вейль передает с большой, почти фотографической точностью, какие чувства испытывает такой вот

мещанчик, приезжающий в Советский Союз. Он не знает ничего об историческом перевороте на одной шестой света, и это его не интересует… Он совершенно равнодушен к стремлениям миллионов воплотить в жизнь самые великие мечты самых великих умов человечества. Потому что все великое ему чуждо… Какое дело мещанину до добычи угля в Донецком бассейне, если у него есть „европейская квартира с одним запором“, какое ему дело до роста производства в стране социализма и вообще до всех великих проблем света, когда на свет он смотрит только сквозь дырку в голландском сыре».

Горько признавать Фучику, что и в Праге находятся люди, которые требуют запрещения премьеры пьесы Корнейчука «Гибель эскадры» в театре на Виноградах. Им не нравится, что режиссер «придал всей постановке характер коммунистической манифестации». Только бы «не дразнить Гитлера!». Этой политической формулой реакция обосновывает свое наступление на прогрессивную культуру, а трусливые демократы попадаются на эту формулу, как мухи на липкую бумагу, и как попугаи повторяют: «Не дразнить! Не дразнить!», систематически уступая и отступая перед фашизмом. Куда ведет этот путь? Фучик отвечает на него пророчески: «Если вы, господа демократы, будете еще некоторое время доказывать фашизму, что вы не большевики, вместо того чтобы бороться с фашизмом, вы все станете „большевиками“ в фашистских концентрационных лагерях». Все те, у кого была как бы другая «группа крови», воспринимали эти предупреждения как «коммунистическую пропаганду». Когда Фучик одну из своих статей назвал: «После Корнейчука на очереди Чапек», многим это показалось крайностью, желанием любой ценой сорвать «бешеный аплодисмент». Да, были критические выпады против пьесы «Белая болезнь», но это в словацкой реакционной газете «Словак», а Фучик делает из этого единичного факта широкие обобщения.

Поползли разговоры:

— На этот раз Фучик явно перегибает палку.

— Нет, цензура не осмелится посягнуть на святая святых. Разве Чапек не живая совесть народа?

И в этом, казалось, оппоненты Фучика были правы. Действительно, у Чапека самая благополучная с виду биография официального писателя. Давно ли сам президент Масарик пешком, через всю Прагу, ходил в гости к самому именитому художнику слова?

Однако уже на следующие дни газета «Словак» заявила, что пьеса Чапека сделана в полухудожественной форме, что в ней «всюду брань, только оскорбления, только насмешка» над

Гитлером и Муссолини, что это является «самой явной провокацией», а посему цензура должна выполнить «здесь свою миссию», то есть «Белая болезнь» должна быть запрещена. Но и это было не все. Посол фашистской Германии в Праге заявил официальный протест в связи с постановкой пьесы в Национальном театре, подтвердив тем самым, что прототипом для образа маршала, возглавляющего в пьесе военные авантюры, был Гитлер.

Не было, пожалуй, буржуазного журналиста, с которым Фучик не вел бы страстную и острую полемику, и некоторым людям, даже из его окружения, казалось, что порою он слишком «резок», подобного накала ярости и гнева они не знали. Можно было бы составить целую портретную галерею журналистов, «отмеченных» его четкими классовыми характеристиками. Ее, несомненно, открывала бы фигура Фердинанда Пероутки. Сколько иллюзий было в тридцатые годы в отношении этого журналиста с бойким и хлестким пером! Его принимали в салонах, называли «журналистским феноменом». Начинал в «Трибуне», задуманной одним крупным сахарным картелем как газета этакого английского либерального толка. Главный редактор гордился тем, что и внешне он был похож на английского писателя Честертона. Но «английский» цветок не прижился на чехословацкой почве, и газета вскоре прекратила свое существование. Пероутку взяли в «Лидове новины», где он регулярно, по понедельникам, писал передовицы. В зените славы он стал издателем и главным редактором журнала «Пршитомност» («Современность»). На его страницах выступали видные общественные и политические деятели страны (в том числе и президент), когда они хотели высказать свои оценки и идеи, не считая целесообразным включать их в официальные речи. Постепенно и незаметно вокруг журнала стали группироваться троцкисты и другие ренегаты, и как только он стал специализироваться на борьбе против коммунизма, Фучик показал лицо главного редактора:

«Словно ночную бабочку, притягивает Пероутку огонь коммунизма. Он приближается к нему снова и снова, воинственно машет крылышками, чтобы погасить его, но, обжегшись, отлетает в сторону, чтобы уже с другой стороны вернуться к этому роковому для него огню. Он не в состоянии извлечь из своих неудач никакого урока, как и все ночные бабочки, и, как они, становится все неистовее, видя, что огонь горит себе по-прежнему…» (После февраля 1948 года, когда к власти в стране пришел рабочий класс, этот представитель «свободной печати» сбежал на Запад, где с помощью «Свободной Европы», «Голоса

Америки» и других подрывных центров клеветал на народно-демократическую республику, был активным участником многих антикоммунистических кампаний. — *В. Ф.*)

Закрывать эту портретную галерею мог бы Вацлав Черны, в 1938 году — Главный редактор декадентского журнала «Критицки Месячник». В статье «Подвал из слоновой кости» Фучик показывал, что журнал стал выразителем упаднических настроений части чешской интеллигенции, не сумевшей понять главных проблем нашего времени. Со всей своей некритической путаницей он является самым очевидным выразителем мелкобуржуазного анархизма — «барского анархизма», как говорил Ленин, анархизма насквозь реакционного и тем более опасного для подлинной свободы, чем более он притворяется «свободолюбивым». Все это Фучик связывал с влиянием личности главного редактора — «человека с большими претензиями, образованного, начитанного и могущего служить примером того, как начитанность отнюдь не гарантирует широты кругозора»[2].

В этот период Фучик выглядел как барабанщик, неутомимо бьющий тревогу, призывая интеллигенцию к единению со всеми трудящимися, к объединению всех прогрессивных сил. «Нельзя стоять на распутье, — пишет он в статье „И наша история“ в июне 1938 года. Это не две дороги, а две линии окопов, расположенных друг против друга».

После вторжения в марте 1938 года гитлеровских войск в Австрию на очереди оказалась Чехословакия. В стране активизировалась «пятая колонна» — партия судетских немцев, возглавляемая Генлейном. Он получает из Берлина четкие инструкции — увеличивать свои требования, отвергать любые компромиссы, создавать ненормальную обстановку в Судетской области как предлог для «вмешательства рейха». В Германии развернута яростная античешская кампания о притеснении немцев, хотя в каждом местечке со смешанным населением были немецкие школы; в Праге — немецкий университет и немецкий театр. Более 40 депутатов-генлейновцев было в парламенте, где они отнюдь не чувствовали себя как-то ущемление Напротив. Депутат К.Г. Франк, будущий статс-секретарь протектората, выступая в парламенте, демонстративно обращался к присутствующим так же, как это делали в гитлеровском рейхстаге, — «партайгеноссен унд партайгенноссиннен», а депутат Густав Петере однажды открыто заявил: «Вы, чехи, и вы, коммунисты, ослеплены и не видите того, что Гитлер идет завоевывать мир и раздавит вас как кроликов».

С каждым днем атмосфера накалялась, Гитлер стянул войска

к германо-чехословацкой границе. В правительстве усиливались панические настроения. Оно все круче сворачивает на путь реакции, на путь преследования свободной мысли и слова. Впервые за все время существования республики правительство запретило какие-либо общественные выступления и демонстрации по случаю Первого мая. Одновременно партии Генлейна было разрешено формировать штурмовые отряды, правительство давало ему возможность открыто готовить гражданскую войну и в то же время не позволяло народу готовиться к защите республики.

В эти дни в народе горячо спорили о том, какова будет реакция Советского Союза в случае нападения фашистской Германии на Чехословакию. Фучик был в курсе всех новостей. В мае он опубликовал брошюру «Придет ли Красная Армия нам на помощь?», которая, по его словам, была ответом «на самый жгучий вопрос дня». Три тысячи экземпляров первого издания моментально разошлись. За три недели она выдержала тринадцать изданий. В ней приводились слова наркома иностранных дел М.И. Литвинова и Председателя Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинина о том, что Советский Союз всегда соблюдал все свои обязательства и союзнический долг по отношению к Чехословакии он, безусловно, выполнит. Мы не слабы и не одиноки, писал Фучик. Советский Союз не оставит нас в беде, но опасность угрожает нам не только из Берлина, она подстерегает нас в самой Праге. «В последние дни, — писал Фучик, — мы часто слышали среди самых простых людей: „Не боимся Берлина, но боимся Праги“. К сожалению, это не бессмысленный парадокс. Можно сказать и так: „Нам нечего сомневаться в помощи Москвы, Москва не подведет, но может подвести Прага“. И тут уже зависит от нас всех, чтобы Прага не подвела, то есть чтобы реакция, которая так открыто демонстрирует свои связи с зарубежным фашизмом, не помешала Советскому Союзу прийти нам на помощь в борьбе с фашизмом». Беспощадное, прозорливое, горестное обвинение!

В середине мая по инициативе Фучика, других деятелей культуры, входивших в организацию прогрессивной интеллигенции «Левый фронт», созданной в 1930 году, опубликован манифест «Останемся верными». В нем говорилось: «Мы требуем свободы, мы готовы за нее бороться и не желаем, чтобы от нашего имени проводилась политика трусливых уступок врагу». Манифест подписали более трехсот чехословацких писателей и поэтов, художников, актеров и ученых. Он был опубликован почти во всех газетах, и вскоре под ним поставили подпись полтора миллиона граждан Чехословакии.

20 мая 1938 года чехословацкое правительство объявило о частичной мобилизации. К границам потянулись колонны автомобилей, танков, пушек, в небе кружили самолеты. Создавалось впечатление, что правительство окажет вооруженное сопротивление агрессору и что Англии и Франции не удается отговорить его от решительных действий. «Майский кризис» грозил перерасти в войну в невыгодных для Гитлера условиях. Фюрер забил отбой, сложилась какая-то передышка.

В это время в личной жизни Фучика произошло радостное событие. Объявленная еще в конце 1935 года по случаю вступления на пост нового президента страны Бенеша амнистия по преступлениям против государства распространилась теперь и на Юлиуса. Он не стал другим, но времена сильно изменились. Как бы то ни было, получив амнистию, он почувствовал себя полноправным гражданином. Вопрос о свадьбе решен окончательно, и начались предсвадебные хлопоты. Оказалось, что для оформления брака среди прочих документов требуется военный билет. А как получить в военном комиссариате, если Фучик вот уже несколько лет числится там в списке «дезертиров»? Юлиус обратился с письмом в министерство национальной обороны. В дипломатических выражениях он объяснил, что не мог в назначенное время явиться на военные сборы, поскольку находился за пределами Европы, в Средней Азии, и по закону его нельзя считать дезертиром, тем более что ныне в любое время он готов к исполнению своих воинских обязанностей. Конечно, от властей не ускользнула допущенная в письме неточность: в августе 1936 года Фучик находился не в Средней Азии, а в Праге, но они нашли соломоново решение. Фучика не стали привлекать к ответственности, а послали для проформы на десятидневные военные сборы. В личном деле появилась приписка: «Записан в личный состав как дезертир, явившийся добровольно, болен — легкий катар бронхов».

Густина вот уже почти десять лет сопровождала его, делила с ним радости и горести, окружила заботой и вниманием, изучила его привычки и капризы. Надписи на своих книгах и поздравлениях к семейным праздникам он делал обычно в юмористической манере, избегая официальности. Так поступил он и на этот раз — сам набрал и оттиснул в двух экземплярах следующее объявление: «Густа и Юлиус Фучик извещают Ваши милости, что в полдень 30 июля 1938 года в пражской ратуше они станут супругами по всем правилам». Одно объявление он послал родителям в Пльзень, другое оставил у себя. Сразу же после свадьбы он взял отпуск, и молодожены поехали в Хотимерж, небольшое село по дороге в Пльзень — Домажлице, где у

родителей Фучика был летний дом. Жизнь, от которой Юлиус намеревался укрыться на пригрезившихся высотах «медового месяца», настигла его и здесь, где чешские селения чередовались с чешско-немецкими, повлекла за собой в гущу схватки. Ему казалось, что улицы ощутимо дышали близким путчем, который готовили генлейновцы. В прошлом спокойный, тихий уголок, где Юлиус любил бродить по шумавским лесам, представился теперь жерлом огнедышащего вулкана, как и все селения в Судетской области. Значительная часть немецкого населения, проживающего здесь, позволила увлечь себя идеей «господствующей нации», встала под знамена нацистов. В открытой автомашине, в сопровождении эскорта мотоциклистов и чешских полицейских машин Генлейн совершал демонстрационные поездки из одного населенного пункта в другой. Возле гостиниц, где он останавливался, были толпы восторженных обывателей, молодых людей, которых в другое время можно было принять за отъявленных бунтарей. Они платили по две кроны за «право» увидеть своего любимца и теперь со слезами счастья выкрикивали приветствия и лозунги: «Хотим домой в рейх!»

С 5 до 21 сентября Фучик вел дневник, находясь в гуще событий; в нем не только отражение реальных исторических событий, но и пульс, атмосфера времени. В ночь с 12 на 13 сентября он записывает:

«…Я только что слушал из Нюрнберга Гитлера. Угрозы были более скрытыми, чем я ожидал. Это не сулит хорошего… генлейновцы поставили усилители, чтобы все население слушало речь фюрера. Им не запретили, наоборот. Официант ив Осврачина жаловался мне: „Я-то, скажи, на что? Сдаем без боя одну позицию за другой. Не могу. Застрелюсь. Продали нас в Праге“.

…Я шел по площади в Ближейнове. Знакомые немцы, видно, спешили скрыться либо делали вид, что не замечают меня. В лесу нагоняет старый Венцель: „Прошу вас, не обижайтесь, что я не поздоровался с вами. Нам запретили здороваться с чехами. Как знать, кто тебя увидит. Попадешь еще в концентрационный лагерь“.

„Вы с ума сошли! Думаете, Гитлер сюда придет? Думаете, мы ему позволим?“

„Раз вы не даете отпор Генлейну, значит, не дадите отпора и Гитлеру. Гаулейтер издал такой циркуляр, будто еще на этой неделе Судеты отойдут к империи… Вас больше, а вы не защищаете нас от Генлейна. Почему не вмешиваются государственные органы? Вы, чехи, предали нас, немцев“.

Из репродукторов доносятся торжественные звуки нюрнбергских фанфар. Орудийный салют. Парад! Неужели чешская реакция подорвала Чехословакию настолько, что этого парада будет достаточно для ее падения? Нет, это невозможно. Но нужно немедленно действовать».

После выступления Гитлера в Нюрнберге генлейновские головорезы организовали путч. Тогда чехословацкое правительство объявило чрезвычайное положение и ввело в Судетскую область крупные воинские соединения. Генлейну пришлось удирать за границу. Он обосновался в Баварии, близ города Байрейта, и организовал так называемый «Судетско-германский легион», состоявший из судетских эсэсовцев, уголовников и прочего сброда. Задача легиона состояла в том, чтобы собирать изрядно потрепанные силы и провоцировать пограничные инциденты. Во время одного из таких инцидентов генлейновцы ворвались на чехословацкую территорию и даже заняли два города.

Взоры всего мира были обращены к Лондону и Парижу — поддержат ли они своего чехословацкого партнера в столь критический момент? Но английский премьер уже принял решение: Чехословакию принесли в жертву антисоветским планам английских «умиротворителей». В разгар сентябрьского кризиса в газете «Тайме» появилась статья, в которой чехословацкому правительству рекомендовалось уступить Гитлеру и отказаться от Судетской области, чтобы стать «однородным в национальном отношении государством». 15 сентября Чемберлен прилетел в Мюнхен, а оттуда поездом направился в личную резиденцию Гитлера в Берхтесгаден, где предложил отторгнуть от Чехословакии пограничные области. Берхтесгаденские условия были вручены чехословацкому правительству 19 сентября в виде ультиматума «дружественных и союзнических держав». Англия и Франция посоветовали уступить соседу пограничные районы, горы, свои естественные рубежи. Уступить Судеты вместе с укреплениями, с дорогами и шоссе, разорвать транспортную связь, уступить истоки чешских рек, богатства водной энергии, чудодейственные целебные горячие источники, радий и железную руду, мировые курорты и цветущие города, крупную текстильную и стекольную промышленность. А если кому-нибудь из чехов не понравится в Третьей имдерии, они могут выселиться.

Фучик прерывает отпуск и возвращается домой, в Прагу. Вначале чехословацкое правительство отвергло «предложение» Англии и Франции. Тогда правительства этих стран проявили твердость, которой им так недоставало в переговорах с Гитлером.

Наступила критическая фаза дипломатических переговоров, уговоров, уступок, споров, новых уступок, проектов, деклараций, соглашений. Глубокой ночью 20 сентября послы Англии и Франции прибыли в президентский дворец, подняли с постели президента Бенеша и передали ему заявление своих правительств о том, что они отказываются от всякой поддержки Чехословакии в случае войны с Германией.

Одним из первых Фучик узнал о том, что правительство склоняется к принятию ультиматума. Он спешит рассказать об этом Шверме, но тот смеется, называет его фантазером и паникером. 20 сентября Фучик записывает в дневнике: «Только Клема (Клемент Готвальд. — *В. Ф.*) принимает все это всерьез. Он умеет оценить классовые силы и представить, на что способен капитализм, когда спасает свою шкуру. „Фантазер!“ А без фантазии и не поймешь ситуации в такую решающую минуту».

Да, без фантазии, силы воображения трудно понять действия правительства, которое, словно завороженное дудочкой новоявленных крысоловов, шаг за шагом подвигалось к губительному краю.

Между тем сопротивление Чехословакии отнюдь не было бы безнадежным, как уверяли ее мнимые друзья и те, кто выступал в роли могильщиков республики. Ведь на неоднократные запросы чехословацкого правительства о позиции Советского Союза в создавшейся ситуации Советское правительство неизменно отвечало, что готово выполнить свой союзнический долг при любых условиях. Через Клемента Готвальда президенту было передано, что Советский Союз готов оказать военную помощь и без Франции, если Чехословакия будет защищаться и попросит помощи. Этот факт признал и Бенеш в 1939 году в беседе с дочерью Томаса Манна, а позднее и в своих мемуарах, заявив: «В эту тяжелую минуту он (Советский Союз. — *В. Ф.*) единственный остался с нами и предложил нам больше, чем ранее обязывался».

К сентябрю 1938 года гитлеровцы имели 51 дивизию. В распоряжении чехословацкой армии было 45 дивизий. Советский Союз предлагал для немедленного использования 30 дивизий и одновременно проводил крупные мобилизационные мероприятия. Таким образом, 75 союзническим дивизиям противостояла бы 51 дивизия противника. Кроме того, при отражении немецкой агрессии чехословацкая армия могла опираться па мощные пограничные укрепления. Соотношение сил гитлеровской армии и противостоящих им чехословацких и советских войск, без учета французской помощи, показывает, что нацисты не могли рассчитывать на военный успех. Они на него и не рассчитывали. Как заявил на Нюрнбергском процессе один из высших

представителей вермахта, Кейтель: «У нас не было сил, чтобы форсировать чехословацкую линию укреплений».

В то время как миллионы чешских патриотов были полны решимости с оружием в руках защищать республику, правительство приняло капитулянтские условия. Вечером 21 сентября Фучик записывает в своем дневнике:

«Девять часов десять минут. Не успел набрать последнюю полосу: вызвали из типографии наверх, в редакцию. Звонит Милена: „Пять минут назад правительство капитулировало“. — „Не может быть. Пять минут назад я разговаривал со Швермой. Он в парламенте. Там все наши депутаты. Они сделали запрос…“ Милена: „Я говорю тебе это почти официально“. — „Откуда у тебя такие сведения?“ — „Из президентских кругов…“ Первое чувство — ужасная горечь. Хотелось трахнуть по чему-нибудь, но под рукой ничего не оказалось, да и руки точно парализованные. Это длилось, вероятно, долю секунды, но я не хотел бы еще раз пережить такое. Это как умирание. За долю секунды я осознал деморализацию всей Европы, увидел, как ее захлестывает варварство и как Америка углубляет Атлантику, чтобы отделить себя от Европы возможно более глубокой пропастью. Ужас, который может убить.

Потом это прошло, и мной овладела жажда действия. Меня шатает от усталости. С прошлого понедельника сплю не больше двух часов в сутки. Отсылаем друг друга спать — и не можем.

Обращаемся к заводам. Заводы посылают депутации к правительству, президенту, в генеральный штаб. Им отвечают, что еще „ничего не решено“.

Тем временем правительство формулирует заявление, которым народ должен быть извещен о капитуляции. Получаем первые сообщения о том, как оное будет звучать. Мерзость. Жалкая погребальная речь. Похороны по пятому разряду.

Никто из членов правительства не соглашается зачитать заявление по радио. Нашли для этого актера.

На улицах заговорили репродукторы. Люди остановились. В большинстве своем это служащие канцелярий. Они в отчаянии. Многие плачут. Трамваи замерли. У Сословного театра какая-то женщина упала на колени, и вся толпа разом сделала то же».

Правительственное сообщение вызвало волнение и возмущение народа. Из всех домов как по команде выскакивали люди, словно над их головой загорелась крыша или разверзлась земля под ногами, присоединяясь друг к другу, потому что всех постигло одно бедствие, и, гневно жестикулируя, стремительно неслись куда-то — спасать республику. Как именно, никто не знал: но спокойно сидеть в одиночестве было невозможно, всех

гнала вон из дому неудержимая потребность двигаться, ходить, протестовать против того, что случилось, требовать ответа.

Отчаяние. Внезапно раздаются возгласы: «Предательство! Нас предали. Будем тогда защищаться сами!»

В эти критические минуты реакция пыталась распространить версию о том, что Чехословакию оставили не только западные союзники, но и Советский Союз. Коммунисты опровергают эту лживую пропаганду. Фучик с ходу пишет листовку. В ней жирным шрифтом выделены слова:

«Советский Союз непоколебимо с нами!»

По призыву КПЧ 22 сентября началась всеобщая забастовка трудящихся. Все заводы и предприятия Праги остановили работы. Колонны двигались по Национальному проспекту к парламенту и затем через мост Манеса к Граду. Толпа перед Градом становилась все гуще. Люди кричали: «Позор!», «Измена!», старались прорваться в Град. Однако у входа демонстрация встретила первую преграду: полицейский кордон. Офицер с пистолетом в руке преградил путь к воротам:

— Территория Града неприкосновенна! — патетически воскликнул он. — Именем закона, прошу вас, господа, разойдитесь…

Оказалось, что чугунные массивные ворота были на запоре. Это озлобило толпу. Ворота трясли с таким же упорством, с каким горняцкие жены рвутся к шахте, где случился обвал и где остались засыпанными их мужья и дети. Унять разбушевавшуюся стихию полицейские не могли. Через поломанные решетки народ устремился во все четыре двора, прорывая полицейские кордоны, как нитки.

«Град наш!» — послышались крики.

Народ оказался выше тех, кто долго называл себя его представителями. Менее чем за двадцать четыре часа после принятия берхтесгаденских условий он смел капитулянтское правительство. Во главе нового правительства стал известный генерал Сыровы. В июне 1917 года в рамках наступления русских войск чехословацкий корпус отличился в бою под городом Зборовом, где несколько тысяч легко вооруженных легионеров успешно атаковали один австрийский и два чешских полка австрийский армии. В этом бою Сыровы снискал славу героя. С черной повязкой на одном глазу, он напоминал Жижку с картины художника Брожика. Год назад он ехал верхом перед гробом Масарика, и теперь народ воспылал верой в него. Его, как «символ обороноспособности», люди выносили на руках, и торжествующему ликованию не было конца. Не мог знать народ, что единственной целью смены правительства было, по словам

Бенеша, «успокоить народ и овладеть улицей».

23 сентября по радио раздались позывные аккорды арфы.

«Внимание, внимание! — сказал глубокий серьезный голос. — Не отходите от приемников! Мы ждем важных сообщений».

Было без десяти минут девять часов вечера. Каждый чех, слушавший в эту минуту радио, застыл в ожидании. Эта вступительная фраза словно пропускала через каждого ток высокого напряжения, заряжая всех и каждого нестерпимым накалом страсти.

«Внимание, внимание! Важное сообщение!»

И снова военная музыка.

«Президент республики как верховный главнокомандующий вооруженных сил Чехословакии объявляет всеобщую мобилизацию».

Накал патриотических настроений был велик. Едва радио закончило это сообщение о мобилизации, в ночной тишине уже было слышно, как поворачиваются в замках ключи и через слабо освещенные ворота на улицу выходят торопливым шагом мужчины. В течение нескольких часов на призывные пункты явился миллион человек. Резервисты шли в армию с энтузиазмом и большим патриотическим порывом. Многие приходили в свои части с транспарантами «Плечом к плечу с Красной Армией против Гитлера!». Во многих местах аванпосты чехословацкой армии на границе, на глазах у гитлеровцев водружали вместе с чехословацким флагом красное знамя с серном и молотом. Среди резервистов находится Фучик. Он покинул редакцию «Руде право» с первых минут после объявления мобилизации и был отправлен в пятый пехотный полк на Смихове. Вскоре полк переводят из Праги. Фучик читает в свободное время солдатам патриотические стихи.

«Как же не победить с таким народом! — думает он. — Мы никогда не играли в солдатики, зато когда становится туго… Буржуазная республика не была для нас ласковой матерью, она была скорее мачехой, но сейчас, когда дело касается жизни и смерти родины, мы, коммунисты, идем впереди, единым фронтом со всеми благородными силами страны. Мы, кого именем „Закона об охране республики“ власти бросали в тюрьмы, подвергали полицейским преследованиям. Гнездо наше, родина, возобладало над всеми нашими чувствами и обидами. И все, что мы видим вокруг, что раньше, быть может, не замечали, пронзительно дорого нам, и все наши мысли о ней, весь наш гнев и ярость; вся наша готовность — умереть за нее».

Но он, как и другие, не знал главного, решающего. Не знал,

что все уже решено. Чемберлен публично заявил, что произошло бы нечто ужасное, если бы Англии пришлось воевать за Чехословакию, за народы, «о которых мы ничего не знаем». Поджигатели рейхстага раздували пожар мировой войны, а союзники не только не тушили его общими силами, а, напротив, подбрасывали полено за поленом, разумеется, из чужого сарая. 30 сентября они выдали Чехословакию на милость Гитлера. Как аванс за поход на Советский Союз. Мюнхенский сговор явился беспримерным в истории предательством. Когда участники заговора Чемберлен, Даладье, Гитлер и Муссолини сели за стол, чтобы подписать мюнхенское соглашение, в чернильнице не оказалось чернил. Фарс происходил в такой спешке, что забыли не только о соблюдении протокола — чехословацкую делегацию не пригласили, — но и о чернилах.

Вместо героических подвигов, к которым готовились резервисты и напрягали нервы, как струны, им теперь оставались только боль унижения и горечь бессилия. На чешского льва союзники опрокинули ведро с мусором договоров, он отряхнулся и, опозоренный, заполз к себе в берлогу. Вопреки воле народа буржуазное правительство согласилось с мюнхенским диктатом. Фучик услышал, как один из резервистов, рабочий смиховского завода, рассказывал: «Знаете, как говорили у нас на заводе? Собралось руководство буржуазных партий обсудить, к кому присоединиться. Батя вынул из кармана тысячную бумажку и показал всем присутствующим: „Смотрите, господа, — сказал он, — если придет Сталин, ее у нас отберут. Если придет Гитлер, она останется у нас. Так за кого же мы?“» Солдат призывали спокойно позволять разоружать себя, сдать винтовки, автоматы, револьверы. Фучик готов был ко всему, но в эту минуту кровь застыла в его жилах.

Гитлеровские войска без единого выстрела заняли пограничную территорию Чехословакии. Нацисты, опьяненные легкой победой, яростно выворачивали пограничные столбы, изгоняли чешское население и с видом победителей фотографировались у пограничных укреплений, взятых без боя. У Чехословакии была отнята одна треть территории, на которой проживало почти 5 миллионов жителей. На оккупированной территории оказалось свыше 40 процентов промышленности, значительная часть топливной и сырьевой базы страны. Новые границы были установлены, исходя из военных и экономических нужд Германии, Фактически послемюнхенская Чехословакия — Вторая республика — стала зависимым государством, полностью отданным на милость Германии. Президент Бенеш. вышел в отставку и уехал в Англию. Новым президентом стал бесцветный

политик Эмиль Гаха. Бенеш протежировал ему, надеясь, что этот человек — по образованию юрист, по убеждениям германофил, сделавший свою карьеру еще во времена австро-венгерской монархии, — сумеет понравиться Гитлеру. Правительство возглавил Беран, «свой» человек для Берлина.

Первым шагом нового правительства было запрещение 20 октября коммунистической партии — единственной партии, последовательно отстаивавшей интересы народа, до последней минуты призывавшей к борьбе. Коммунистов — депутатов парламента лишили мандатов, а стало быть, и депутатской неприкосновенности. А за лишением депутатской неприкосновенности должен был произойти арест. Все это стало сигналом для массового преследования всех прогрессивных сил. Партия уходит в подполье, К. Готвальд находится в Москве. В своей работе КПЧ учитывает особенности процесса фашизации страны. Он проходил не под лозунгами воинственного национализма и шовинизма, глубоко чуждыми широким слоям народа, а под знаком всеобщей приниженности, внушавшей чувство бессилия народу.

Те, кто ратовал за «возрождение народа», «чистоту душ», требуют запретить марксизм-ленинизм как «науку с катастрофическими последствиями» и вместо нее возродить «веру в бога и любовь к родине». Самые обильные потоки гнусностей выливались на Карела Чапека из-под пера чешских генлейновцев-интеллектуалов. Разве могли они простить писателю-гуманисту его крупнейшие антифашистские произведения? Но никто и пальцем не пошевелил, чтобы обуздать распоясавшихся клеветников. Недавних единомышленников разделила если и не вражда, то тайная настороженность, мелкие литературные дрязги.

«Осмеливаюсь утверждать, что никогда в Чехии не было так плохо, как во время Второй республики, — написала Мария Пуйманова в первые послевоенные дни. — Один готов был съесть другого в отчаянии, что нас оставили в беде все». У народа, который пережил в дни Мюнхена такую трагедию, которому западные союзники и свои домашние политики нанесли такой удар в спину, «словно сломался позвоночник. Это была отвратительная моральная атмосфера, когда плевали в собственное гнездо, когда зловонное болото кишело инфекциями. И только после прихода оккупантов перед лицом общей смертельной опасности люди опомнились, и народ поднял голову, он единодушно знал, что хочет свободу».

В сложной обстановке всеобщего недовольства КПЧ поставила задачу наряду с развертыванием подпольной работы использовать все легальные возможности для борьбы как с

пораженческими настроениями, так и с пустыми иллюзиями, находить реальные силы и возможности в борьбе с реакцией. Политические собрания были запрещены, но однажды Фучика пригласили выступить в Праге на встрече рабочих и студентов, задуманной как вечер сопротивления, хотя для отвода глаз властям, чтобы те не прислали своего наблюдателя, именовалась встречей любителей чешской словесности.

— Прежде всего, друзья, — начал Фучик, — не верьте, что весь мир от нас отвернулся. Это ложь, и нам твердят ее намеренно, чтобы мы, отчаявшись, бросились в объятия коричневому соседу. Кто был и остается противником Мюнхена? Все коммунистические партии мира с Советским Союзом во главе, — право, это не так уж мало. Не верьте тому, что Мюнхен — наша вторая Белая гора. И это нам твердят умышленно, чтобы мы опустили головы и сидели сложа руки: наша пассивность и отказ от борьбы были бы, конечно, на руку врагу. Никакой Белой горы нет, не бойтесь, ждать еще триста лет нам не придется. Сегодня у истории иные темпы, сегодня она летит. Мы, коммунисты, как и весь чешский народ, всегда и при всех условиях стояли за сопротивление. Мы полагались на нашу армию, на наши военные укрепления, на тридцать советских дивизий, которые стояли на румынской границе, готовые прийти нам на помощь. Разве мы виноваты в том, что наша республика, продемонстрировав бессилие могущества и могущество бессилия, оказалась карточным домиком? Теперь приходится с волками жить, но мы не будем по-волчьи выть. Мы все заодно в своей любви к родине и в вере в нее. Как это говаривал старый Коллар? «Пути могут быть различны, но водя у всех у нас едина».

С середины ноября Фучик систематически выступает в прогрессивных изданиях, с которыми еще не успели расправиться: «Мир в картинках», «Пчела», «Наш путь», «Путь служащих частных предприятий», «Действие», скрывая свое имя под псевдонимами: Ян Боровский, Карел Стрнад, Карел Воян, Иржи Штепан, Вацлав Пилецкий. В течение всей своей жизни он изучал любовно и вдумчиво чешскую литературу, но журналистская работа, публицистика, общественная деятельность не оставляли ему времени для серьезных историко-литературных исследований. Среди его выступлений двадцатых-тридцатых годов почти не было работ, посвященных творчеству чешских классиков. Теперь, когда коммунистическая печать запрещена и нет возможности для какой-либо легальной политической деятельности, Фучик более интенсивно, чем когда-либо, стал заниматься литературой и историей. «В трудное для народа и государства время мы обращаемся к истории, чтобы в ней черпать опыт и силу. Мы

обращаемся к прошлому своего народа, чтобы найти в нем путь, ведущий в будущее» — такими словами Фучик начал цикл статей о чешской литературе, о ее патриотических традициях.

Он писал о героическом прошлом чешского народа, о мужестве и смелости, какими он уже столько раз на протяжении своей истории боролся за свободу с численно превосходящими его врагами, о его выдающихся сынах и дочерях, о славных традициях, которые так ярко проявились в чешской литературе: о средневековых чешских хрониках, о Далимиле — предполагаемом авторе первой написанной по-чешски рифмованной хроники XIV века патриотического содержания; о Павле Саранском — ученом, авторе знаменитой книги «Республика Богемия», о Бальбине — ученом, авторе сочинения «В защиту славянских языков, в частности чешского»; о литературе национального возрождения и о демократической литературе XIX века — о Немцовой, Гавличке, Неруде и других писателях. Пишет преимущественно просто и доходчиво, в расчете на молодого читателя.

Еще накануне Мюнхена в Праге была открыта грандиозная по масштабам выставка чешского барокко. Эпоха барокко, несомненно, была плодотворна в области искусства, и Прага той эпохи, безусловно, прекрасна. Но выставка преследовала иные цели, чисто политические — откровенную апологию мрачной политической реакции в чешских землях после поражения 1620 года у Белой горы. Эти годы еще Неруда назвал «временем погребенных заживо», а писатель Антал Сташек — эпохой «черно-желтого деспотизма, окропленного святой водой». Разгорелась идейная борьба вокруг острых вопросов исторического прошлого, в том числе по вопросу о святовацлавских традициях. Святой Вацлав, полулегендарный князь X века, имя которого окружено многочисленными и часто противоречащими друг другу церковными и народными мифами, издавна являлся одной из наиболее популярных личностей отечественной истории, символом национально-освободительной борьбы чешского народа. Теперь реакционные историки обратились к культу святого Вацлава, противопоставляя его гуситам и изображая князя этаким «политиком-реалистом», сумевшим благодаря сговору с Германской империей «сохранить народ от уничтожения». Такой переоценке ценностей в соседней Германии могли только аплодировать. В статьях «Традиции святого Вацлава», «Выставка чешского барокко», «Чешская литература в борьбе за свободу» Фучик раскрывал фальсификацию, антинаучный и антинародный характер «открытий» буржуазных историков и литераторов. Он показывал национальное своеобразие чешской истории, состоящее в том, что через всю

историю красной нитью проходит борьба за национальную свободу и независимость, борьба за правду, за новые, более совершенные отношения между людьми. В роли вождей выступали чаще всего не «коронованные особы», а деятели культуры — выходцы из народа. Самый славный период — эпоха гуситов — связан не с именем короля, а с именем Яна Гуса. В мрачные времена после битвы на Белой горе крупнейшей политической фигурой чехов был не полководец, не государственный деятель, а учитель Ян Амос Коменский. Подставить плечо под непосильное бремя эпохи, ощутить терзания народа, научить его не сдаваться на милость победителя, не падать духом, верить в правду, даже если она попрана, — кому такое дано, как не людям, отмеченным жгучим клеймом совести?

Были, конечно, в чешской истории и периоды безвременья, когда практическая и духовная деятельность людей была обречена на жалкие дела и деяния, растрачивалась на мелочные и пустые занятия. Но народ — это устойчивый организм, живущий тысячелетиями. «Отдельные личности могут морально разложиться — народ никогда, — писал Фучик в статье „Уважайте свой народ“. — Народ может страдать от морального разложения отдельных своих представителей, но в целом он не поддается им. Ибо вожди смертны, вожди приходят и уходят, а народ вечен».

К тем, кто морально разложился, к капитулянтам, пытающимся не только приспособиться к существующему режиму, но и оправдать его, Фучик не знает пощады. «Мы, конечно, не имеем права не замечать их, не имеем права просто отмахнуться от них, мы должны раздавить их, как вредное насекомое».

Появляются откровенно профашистские произведения: мелкие, дешевые, смердящие. В декабре 1938 года в Ставовском театре Праги состоялась премьера пьесы «Новые люди». Ее автор В. Вернер был известен как автор одной из наиболее успешных комедий середины тридцатых годов «Люди на льдине».

Новая пьеса восхваляла новый порядок после Мюнхена, показывая, как ее герои очнулись от «боли, вызванной судьбой нации и государства» и проживают процесс «морального возрождения», приобретают позднюю мудрость.

Фучику хотелось показать, что драматурга не спасли недозволенные в литературе приемы — игра на чувствительности и трогательности. Пьеса оказалась явлением выморочным из-за грубой политической тенденциозности. Он подробно анализирует драматургию и игру актеров. Несмотря на усилия честно

выполнить актерский замысел, ни одному из исполнителей не удалось скрыть правду жизни, так как им попросту оказалось чуждо все, что автор вкладывает им в уста. Игра актеров Смолика, Пашека, Богача, Балдовой, Рубина и других подтвердила, что «актерское искусство, как вообще всякое подлинное искусство, есть не просто умение воспроизводить текст». Оно творит и, как всякое творчество, должно выражать и выражает свое собственное мировоззрение, которое проявляется в исполнении. В пьесе «Новые люди» актерское мастерство «открыто выступило против конъюнктурного приспособленчества». С каждой новой сценой в зрительном зале становилось все холоднее, и в ту минуту, когда зрителям стало ясно, что за автор предстал перед ними, наступил ледяной холод. «Первая чешская приспособленческая пьеса! — восклицает Фучик. — И вся подлинная чешская культура против нее!»

Фашиствующая пресса Второй республики продолжала травлю К. Чапека, уже больного писателя, тяжело переживавшего трагедию своей родины. Самым пакостным гонителем проявил себя писатель Ярослав Дурих. Он публично заявил о том, что Чапек якобы вовсе не болен, а лишь выдает себя за больного, не желая высказать свое мнение о происходящем. Это был последний удар, и сердце Чапека уже не вынесло: через несколько недель после этого писатель умер. За последние два-три месяца о нем можно было прочесть в газетах столько хулы и проклятий и в особенности после того, что разносили, нашептывали о нем бойкие языки, что, казалось, будто смерть была для него двойным избавлением — не столько от телесных страданий, сколько от душевных мук. Фучика потрясла смерть Карела Чапека. Он договорился на заводах, чтобы рабочие прекратили работу и траурным шествием по улицам Праги почтили память Чапека. Это напомнило бы официально запрещенные похороны Гавличека в 1856 году и другие похороны во времена тяжкие и печальные. Если нельзя говорить, то кричит тишина похоронной процессии, как голос, которого никто не заглушит. Однако редакция газеты «Лидове новины» и издательство Франтишека Борового, где издавались работы Чапека, наотрез отклонили его предложение. К тому же земский комитет не разрешил выставить гроб писателя в музее (такую честь он, конечно, заслужил), и стало ясно, что траурный кортеж не сможет пройти по улицам. Тогда Фучик предложил соорудить катафалк в зале книжного магазина Топичей, ведь здесь же находилась редакция газеты, в которой сотрудничал писатель. Но и этой идее не суждено было осуществиться. Бывшие друзья Чапека не согласились с Фучиком, как он их ни уговаривал, ни убеждал и ни заклинал. После

некоторых колебаний они отказались наотрез. Похоронили писателя на Ольшанском кладбище, а через месяц у свежей могилы собрались тысячи пражан, люди самых различных профессий — рабочие, служащие, учителя, студенты. Они пришли, чтобы глубоким молчанием почтить память писателя.

Под псевдонимами Фучик пишет статьи «О чем я думал у гроба Чапека» и «Чапек живой и мертвый». «Кто отнял его у чешской культуры? — спрашивает он. — Смерть. Только ли смерть? Никто ей не помогал? Ведь она сломила молодую, еще не отцветшую жизнь. Откуда у нее взялись на это силы? Смерти нетрудно было осилить человека, наполовину „уже затравленного гончими псами врагов“».

Не сглаживая противоречий во взглядах и творчестве Чапека, «когда душа писателя стремилась к глубине, а ложное сознание ответственности за существующий общественный порядок вынуждало его к поверхностному изображению жизни», Фучик отмечал, что фактически капиталистический мир и капиталистический строй были чужды Чапеку-художнику, хотя сам Чапек долго не решался признаваться в этом. «Чапек не мог не чувствовать этого на протяжении всего творческого пути, — писал Фучик. — Но на собственном горьком опыте он убедился в этом только в последние недели своей жизни. Мало на кого обрушивалось столько грязной ненависти, как на Чапека. За то, что он не договорил, на него нападали гораздо суровее, чем если бы он всю жизнь проповедовал. На него нападали за то, что в лучших его произведениях… можно понять, что чувствовал Чапек-художник. А Чапек-художник чувствовал: „Нет, не все благополучно в этом мире, и это должно быть изменено“».

ПОДПОЛЬЕ

Мы все, что с нами будет,

ожидали,
Мы не страшились бури и невзгод,
Мы с чешскою судьбой себя связали,
— И с ней — вперед и только

лишь — вперед!

Ян Неруда

14 марта 1939 года Фучик с Густиной был в советском посольстве в Праге на вечере по случаю 125-летия со дня рождения Тараса Шевченко. Уже прозвучали стихи великого украинского поэта о свободе, умолкли звуки рояля, разошлись многие гости, но Фучик с группой друзей остался. Задержался он неспроста. Поздно вечером стало известно, что на улицах Остравы происходят столкновения между чехами и немецко-фашистскими солдатами. Чувствовалось, что над страной нависла страшная угроза.

Разыгрывался последний акт мюнхенской трагедии. В Берлин срочно вызвали президента Гаху для «переговоров». Ночной монолог фюрера был краток. Он сказал, что в создавшейся ситуации единственный выход — подписать соглашение, в котором говорилось бы, что чехословацкое правительство вручает судьбу страны фюреру. «В противном случае, — добавил он, — я вижу лишь один исход — уничтожение Чехословакии». После этого Гаха и министр иностранных дел Хвалковский оказались в кабинетах Геринга и Риббентропа, которые должны были заставить их подписать заранее подготовленные документы. Эту сцену, ссылаясь на свидетельства очевидцев, описал французский посол в Берлине Кулондр: «Геринг и Риббентроп были безжалостны. Они в буквальном смысле слова гоняли Гаху и Хвалковского вокруг стола, на котором лежали документы, вкладывая им в руки перо, и беспрерывно повторяли, что, если те откажутся поставить свою подпись, Прага через полчаса будет лежать в развалинах». В 3 часа 55 минут Гаха и Хвалковский

подписали требуемые документы. Чехословакия была расчленена, и на ее территории были созданы так называемый «протекторат Богемия и Моравия» и сепаратное «Словацкое государство».

Из посольства Фучик возвратился домой под утро. Спать не хотелось. Он включил радиоприемник и вдруг в такое необычное время услышал голос диктора. Неестественным голосом он зачитывал официальное обращение чехословацкого правительства к населению не чинить препятствий германским вооруженным силам, которые начинают оккупацию Чехословакии.

На улице стояла ненастная погода. Немецкая армия вступала в Прагу по шоссе от Белой горы. Висевшие над столицей тяжелые свинцовые тучи как бы олицетворяли мрачное будущее народа.

Машина за машиной движутся по улицам Праги. Лица солдат под касками надменны и неподвижны. Лишь глаза беспокойно бегают, искоса поглядывая на бурлящую толпу. В чешских землях готовится большевистское восстание, они пришли подавить его и спасти народ, который обратился к ним за помощью через президента Гаху. Начальники им это все точно растолковали в приказе, а что скажет начальник, то для немца свято. Но никто не стрелял по напуганным мотоциклистам. «Молчим и презираем, молчим и презираем», — звучали в душах людей стихи любимого поэта.

Где-то на углу раздается выстрел, молодой паренек, стоявший у фонарного столба, медленно оседает на грязную мостовую. Немецкий мотоциклист рукавом стирает с лица плевок и заученным жестом засовывает в кобуру пистолет.

Фучик скрывается на квартире у актера Ладислава Богача. Ему казалось, что большего унижения он еще не переживал. Невозможно думать, смотреть, дышать, когда случилась такая трагедия. Как в ночном кошмаре, чудовищно перемещались перед внутренним взором его отблески увиденных накануне сцен. Над Градом развевается полотнище со свастикой, из окна смотрит прибывший в Прагу Гитлер. На каждом углу коричневые фигуры в сапогах и черные — с черепом на рукаве.

Как воплотить свои мысли и чувства в слова и написать их так, чтобы будущие поколения поняли их, чтобы у них они снова перевоплотились в те же мысли и те же слова?

В предисловии к задуманному большому автобиографическому роману «Поколение до Петра», роману о прошлом, настоящем и будущем, Фучик выразил то, о чем думал и что чувствовал в эти роковые мартовские дни, когда при каждом звонке в передней пробегал по телу словно электрический ток и в мыслях вставало страшное слово «гестапо».

«Мы — зерна в земле, Петр. Мы — то есть наше поколение. Так мы говорим. Не все зерна взойдут, не все дадут ростки, когда придет весна. Любой из этих подкованных сапог, что слышны над моей головой, может нас раздавить. Может нас растоптать — случайно, из злобы, из садизма — и мы это знаем. И с этим живем.

Но ты не думай, Петр, что мы боимся умирать. Не все мы останемся жить, но ведь не все и погибнем. И это мы знаем, и с этим живем. Зашелестят поднявшиеся колосья, зарастут следы у могил — и о нас забудут. Заглохнет все — тревога и печаль, — и только урожай скажет твоему поколению за нас, живых и мертвых, — берите и ешьте, это их плоды, их тело.

И это мы знаем — с этим живем».

В романе он хотел показать, как была попрана справедливость в Европе, как каждый кусок хлеба, проглоченный на коленях, должен был отдавать горечью, как люди переставали быть людьми и как, наоборот, все те, в ком оставалось чувство собственного достоинства, становились героями. Автор отчетливо сознавал, что миссия, возложенная историей на поколение «до Петра», заключалась в том, чтобы в этой трагедии народа, в настоящих боях проложить дорогу к свободе, дорогу к будущему.

Чехословацкая республика исчезла с карты Европы. И на этот раз ее «союзники» — Англия и Франция — предали чехословацкий народ и не выполнили данного ими в Мюнхене обязательства гарантировать в случае вторжения новые границы. Только Советский Союз немедленно поднял свой голос протеста и не признал законными действия Германии, так же как и Мюнхенское соглашение. В ноте народного комиссара иностранных дел СССР послу Германии в СССР от 18 марта 1939 года говорилось: «Трудно допустить, чтобы какой-либо народ добровольно согласился на уничтожение своей самостоятельности и свое включение в состав другого государства, а тем более такой народ, который сотни лет боролся за свою независимость и уже двадцать лет сохранял свое независимое существование… при отсутствии какого бы то ни было волеизлияния чешского народа, оккупация Чехии германскими войсками и последующие действия германского правительства не могут не быть признанными произвольными, насильственными, агрессивными».

Нота Советского Союза была огромной морально-политической поддержкой народов Чехословакии. Она показала всем народам, ставшим жертвами фашистской агрессии, что в лице СССР они имели, имеют и будут иметь неизменную и надежную опору и поддержку.

В первый же день после вступления гитлеровцев в Прагу начались повальные аресты. В распоряжении фашистов была картотека пражского полицейского управления и данные собственных агентов. Чешская полиция доказала свое усердие тем, что уже в ночь с 14 на 15 марта начала давно подготавливавшуюся облаву. В течение нескольких дней были схвачены тысячи антифашистов, среди них много друзей Фучика.

В трагические мартовские дни, в обстановке отчаяния и упадочнических настроений КПЧ оказалась единственной силой, которая не дрогнула, не капитулировала, а возглавила национально-освободительную борьбу против захватчиков. Прежде всего необходимо было внушить народу веру в свои силы, призвать его к сопротивлению. Партия расставляла свои силы, завершая организационную перестройку для работы в глубоком подполье, начатую после Мюнхена. Руководство подпольной сетью осуществлял первый подпольный ЦК КПЧ во главе с Эдуардом Урксом, имевший связь с находившимся в Москве руководством партии во главе с К. Готвальдом. Был создан специальный технический аппарат, который обеспечивал подпольную печать, квартиры, снабжение документами.

Заграничное руководство партии уже 16 марта составило список лиц, которым надо было организовать выезд из страны из-за угрозы ареста. В этом списке из деятелей культуры были З. Неедлы, Ю. Фучик, С.К. Нейман, И. Секанина, Л. Штолл, Б. Вацлавек и другие. Как вспоминала Густа Фучикова, к Юлиусу дважды приходил представитель ЦК КПЧ, приносил заготовленный заграничный паспорт, деньги на дорогу и предлагал выехать за границу:

— Юла, партия считает, что ты должен уехать, если хочешь.

Фучик ответил, что он понимает это так, что партия предоставляет выбор ему самому — стало быть, это не приказ партии, а потому он остается. На родине тоже нужны профессиональные партийные работники, чтобы организовать борьбу против оккупантов.

Жил он полулегально, скрываясь от друзей, не привлекая к себе внимания. В Союзе журналистов ему сообщили, что он должен явиться в НОУЗ — Национальный профсоюзный центр рабочих и служащих, который запросил списки безработных журналистов и теперь выступает в роли работодателя. Он долго размышлял над тем, как поступить. Гамлетовское «Быть или не быть?» означало для него «Идти или не идти?». Что можно ждать от этого профсоюзного центра и его председателя Сточеса, коллаборациониста, успевшего превратить свою организацию в орудие социальной демагогии фашистов? Да и друзья все в один

голос советовали не рисковать, не испытывать судьбу: ведь могут прямо на месте и арестовать. Взвесив все «за» и «против», он решился на рискованную затею.

Было майское утро, моросил мелкий, назойливый дождь. Когда Фучик вошел в просторный уютный кабинет, он увидел розового блондина лет пятидесяти, с глазами навыкате, похожего на моллюска. Сточес сидел, развалившись в кресле. Казалось, он не заметил посетителя.

— Здравствуйте. Я — Фучик. Явился по вашему вызову.

Председатель профсоюзного центра долго смотрел изумленно и вопросительно, словно не понимая, кто и зачем к нему пришел.

— А-а-а! Это вы. Очень рад с вами познакомиться. Присаживайтесь. Будьте, как говорится, как дома.

— Спасибо. Не стоит.

Сточес привычным движением поднес ему портсигар, в котором лежали американские сигареты.

— Благодарю, сейчас, после быстрой ходьбы, не буду.

— Гм… гм… Ну хорошо. Я человек откровенный и люблю говорить напрямик. Как это ни покажется вам странным, я — почитатель вашего таланта. Да, да, не удивляйтесь, хотя и не разделяю ваших политических убеждений. У вас прекрасное перо, вы — журналист с европейской известностью. Чешская журналистика много потеряли бы, если бы ваш голос молчал.

— Я не собираюсь молчать, — заметил Фучик.

— Вот и прекрасно, — с деланной веселостью сказал Сточес. — Можно считать, что мы сошлись на главном? — улыбнулся он. — Я очень рад, что нашел в вас человека, способного понимать с полуслова. Я согласился на беседу с вами в надежде направить ваши незаурядные способности по конструктивному руслу.

— Согласились на беседу? — не выдержал Фучик. — Но я не просил об аудиенции. Меня вызвали, а я не счел возможным уклониться. Не более того…

— Вы говорите о вызове, словно речь идет о какой-нибудь явке в полицию. Зачем же так? Вы ведь приглашены не для допроса. Нравится вам это или не нравится, но сложилось новое положение вещей, с которым надобно считаться. Мы, чехи, сейчас в одной лодке и должны ладить. Хватит с нас прошлых распрей, ошибок и заблуждений. Мы жестоко поплатились и за пакты с государствами, которые не граничат с нами непосредственно, и за кокетничание с большевизмом. Сегодня, отбросив предрассудки, мы должны опираться на своего соседа, как подсказывает здравый смысл. Надо думать о будущем. Мы собираемся издавать журнал

«Чески дельник» для наших рабочих в Германии, в журнале будет отведена целая полоса для раздела культуры. Мне хотелось вам сделать лестное предложение вести этот раздел. Нам нужен опытный сотрудник, знающий культуру, современно и широко мыслящий, словом, со вкусом. Мне кажется, что мы сможем договориться. Как полагаете?

— Что ж, позвольте выразить вам признательность за оказанную честь, хотя не знаю, на каких условиях.

— За ваши труды будет положено ежемесячное жалованье в тысячу крон. Кроме того, за каждую опубликованную авторскую статью вы получите… ну, скажем, сто пятьдесят крон. Добавлю, вопрос согласован с референтом по печати при имперском протекторе Вольфрамом фон Вольмаром, а это значит, что и мы, и наши немецкие друзья закрываем глаза на ваше коммунистическое прошлое. Кто из нас в молодости не грешил левизной! Что было, то забылось, быльем поросло.

Сточес смотрел на Фучика, думая, что он ослепил его своим неожиданным, блестящим предложением, а тот молчал, как-то странно покачивая головой. «Неужели этот пройдоха и позер думает всерьез, что я могу принять унизительное предложение и пойти на сотрудничество с ними? Ну что же, пусть торжествует победу!» — подумал Юлиус.

— Не скрою, пан Сточес, что ваше предложение явилось для меня в известной степени неожиданным и заинтриговало меня. Но мне нужно время, чтобы подумать и все взвесить.

Фучик принял самый дружелюбный и добродушный вид, на какой был способен.

— Конечно, конечно, пан Фучик, я понимаю ваше состояние. Перед тем как есть, кашу остужают. Сколько вам нужно времени?

— Дня три-четыре.

Через четыре дня Фучик явился снова к Сточесу. Председатель не в силах был скрыть свою радость. «Явился все-таки! — подумал он. — Поглядим, как поведет себя этот прирожденный бунтовщик. Голод — это хорошая смирительная рубашка».

— Я пришел к выводу, что вы меня совсем мало цените, — полушутя, полусерьезно сказал Фучик.

— Ну что вы? Как вам могло прийти в голову такое? Напротив! Считайте, что ваша зарплата увеличилась с этой минуты в полтора раза. Договорились?

— Не совсем. Целая полоса такого солидного журнала, призванного осуществлять такую благородную миссию — поднимать сознание рабочих до уровня сознания его руководителей.

— Две тысячи, — сухо, как на аукционе, сказал Сточес.

— Вы прекрасно понимаете, на какой риск я иду. А где соответствующая компенсация?

— Хорошо. Две с половиной. Может, и это вам покажется мало?

— Это не компенсация, пан Сточес. Вы знаете, сколько у меня было среди рабочих читателей, которые мне верили. Каждому слову.

— Вы ставите меня в затруднительное положение. Вы успели почувствовать, что я питаю к вам слабость, так?

— Значит, три тысячи?

— Ладно, но это мое последнее слово, — тихо произнес Сточес, а про себя подумал: «Оказывается, и коммунисты торгуются, так же, как и мы, любят деньги».

Фучик, словно угадывая его мысли, сказал:

— Деньги вещь хорошая, пан Сточес. Они освобождают человека от нужды и повседневных забот. Но — не всякие деньги.

Лицо Сточеса побледнело. Как хотелось ему поставить этого упрямца на свое место! Но он сам себе связал руки тем, что в беседе с референтом по печати Вольфрамом фон Вольмаром не удержался и сказал, что ему удалось «завербовать» Фучика.

— Три с половиной. Согласны?

— Нет.

— Жаль! Ну как хотите… Я вас не понимаю.

— Я понимаю, что вы меня не понимаете, — усмехнулся Фучик.

Сточес выпрямился и сквозь сжатые зубы, с трудом подавляя злобу, прошипел:

— Четыр-р-ре-е!

— Свои убеждения я не продам ни за какие деньги. Писать то, что вы хотите печатать, я не могу, а то, что хочу я, вы никогда не напечатаете, — твердо сказал Фучик и быстро вышел.

Надо было исчезнуть, раствориться где-нибудь подальше от Праги, сделаться незаметным и незамеченным. К тому же в апреле 1939 года в официальном вестнике было опубликовано решение уголовного суда о том, что брошюра «Придет ли Красная Армия на помощь?» «является, по существу, распространением ложных сообщений согласно § 18, статье 2 закона № 50/23 Сборника законов и постановлений, а потому конфискуется, и дальнейшее ее распространение запрещается». Вскоре после этого было напечатано решение того же суда о конфискации его книги «В стране, где завтра является уже вчерашним днем».

Раздумывать долго не приходилось. Вместе с Густой он направился к родителям в Хотимерж. Почти всю дорогу он

молчал. Все вокруг производило тягостное впечатление. Вагоны во всех поездах были разделены на три класса: первые три после паровоза вагона с табличкой «Рейх — рейх» предназначались только для немцев, следующие четыре вагона с надписью «Протекторат — рейх, рейх — протекторат» тоже были не для чехов. Им разрешалось ехать только в последнем вагоне с табличкой «Протекторат — протекторат». Название станций были написаны только на немецком языке, всюду развевались флаги со свастикой.

— Едем в резервацию для белых индейцев, — пошутил Фучик.

В Хотимерже, затерявшемся в лесу, он жил немногим более года, жил без прописки, пользуясь благосклонностью пожилого жандарма, давнего приятеля отца. Да и староста чех-железнодорожник давно питал симпатии к «отчаянному редактору» и сквозь пальцы смотрел на такое грубое нарушение порядка. Дом Фучиков был двухэтажный: четыре комнаты на первом этаже, четыре с террасой и «холлом» — на втором, фруктовый сад, рядом шумит речушка Зубржина. Куплен он был на деньги, доставшиеся в наследство от его дяди — композитора Юлкуса Фучика.

Время от времени он приезжал в Прагу, где получал секретную информацию от лиц, имевших связь с некоторыми высокопоставленными чиновниками и членами протекторатного правительства. Эти сведения и свои наблюдения он передавал товарищам, работавшим в подполье.

В первые месяцы оккупации прогрессивные пражские деятели культуры чаще всего собирались в клубе художников «Манес». Писатели, артисты, музыканты, художники, журналисты регулярно устраивали здесь вечера, лекции и дискуссии, являвшиеся в той или иной степени выражением протеста против тьмы, которая угрожала чешской культуре и общественной жизни.

С улицы доносился стук тяжелых кованых сапог, а Фучик говорил с друзьями о необходимости черпать силы в прошлом народа, о необходимости учиться у деятелей эпохи Возрождения:

— Какой великой, пламенной верой в народ должны были обладать наши Тылы, Гавличеки, Фричи, наша Немцова, наши будители! Несмотря на отчаянное противодействие иностранного окружения, жестокие преследования, а иногда и насмешки или равнодушие со стороны своих же людей, они проявили упорное, непобедимое стремление к раз намеченной цели, сумели словом и делом распространять идеи патриотизма и гуманизма, презрев личную выгоду и тысячи трудностей как в общественной, так и личной жизни! И вот сегодня в глазах народа они — его совесть,

подвижники, олицетворяющие высшую нравственную силу. Они — живые документы, указывающие обществу, что, кроме меттернихов, бахов, давно уже ставших тенями в темной преисподней истории, кроме людей, ведущих споры об оптимизме и пессимизме, пишущих никому не нужные повести, проекты и диссертации, развратничающих из-за отсутствия определенной цели в жизни, лгущих ради куска хлеба и должности, есть еще люди иного порядка, люди чести, подвига, веры и ясно осознанной цели. И, глядя на них сквозь черную ночь, когда наша родина раздирается злобой, отчаянием и унижением, мы все-таки твердо верим, что не погибнет народ, родивший их, и не будет в обществе сиротой правда и справедливость.

В день XXII годовщины Октябрьской революции Фучик приготовил друзьям радостный сюрприз. По договоренности с секретарем клуба Любомиром Лингартом было решено отметить праздник небольшой лекцией. Члены клуба были приглашены на встречу, но программа встречи объявлена не была. В этот вечер зал был переполнен. Фучик вошел в помещение клуба уверенной походкой, с веселой улыбкой на лице.

— Да это Юлек! — прозвучало радостное восклицание в зале.

— Друзья, — начал без всякого вступления он. — Сегодня прогрессивные люди всего мира празднуют великую историческую годовщину. Двадцать два года тому назад выстрел с «Авроры» ознаменовал собой начало Октябрьской революции…

Он вдохновенно говорил о Стране Советов, к которой в настоящее время обращены взоры всех порабощенных народов Европы. Кое-кто посмотрел на дверь. Вход в клуб был прямо с улицы, рядом с входом в кафе, куда заглядывали немецкие солдаты и офицеры: случалось, они ошибались дверью и вместо кафе попадали в клуб. Но Фучика, казалось, это нисколько не смущало:

— Французским рантье свастика всегда будет милее, чем звезда, серп и молот, британским колонизаторам — тоже. Но мировая драма только начинается. Главный герой — Советский Союз — еще не вступил на сцену.

— Чешская буржуазия, — сурово продолжал он, — отказалась от помощи Советского Союза, сдалась на милость врага, не хотела бороться и вдруг теперь изображает дело таким образом, будто бы Советский Союз перестал бороться против фашизма, обижается на страну за то, что та старается выиграть время, оттянуть войну. Англия и Франция хотели вовлечь СССР в войну с Германией один на один. Не вышло. Они хотели обмануть русских, как обманули нас. Не получилось. Вы доживете до того часа, когда пойдет в бой Красная Армия. И вспомните мои слова.

Я не убежден, что в ближайшие дни путь наш будет устлан розами. Нет. Наоборот. Мы должны закаляться, нас ждут трудные времена. Но мы переживем их, если будем едины. Не давайте народу расколоться, впасть в апатию, это только на руку нацистам, которые держатся старого правила: «Разделяй и властвуй».

Голос его звучал уверенно, каждое слово доходило до слушателей.

— Надо напрячь волю и продержаться до зари. Надвигается гроза, еще немного — и грянет гром, от которого рухнет старый мир. Вот почему старый мир собственников и капитала так сопротивляется. Он не хочет умирать. И из этого всемирного потопа наша республика воспрянет прекраснее, чем была, омытая живой водой. Я это вижу, друзья, я это ясно вижу. Какая это будет радость!..

Слова Фучика давали надежду присутствующим в зале. «Наш Юлек», общий любимец, зажигал в сердцах людей жажду справедливости. Его вера передавалась другим. Наверное, это было единственное в Чехословакии собрание, посвященное годовщине Октябрьской революции.

28 октября 1939 года отмечалась первая после оккупации годовщина образования Чехословацкой республики. В этот день предприятия практически не работали, рабочие многих заводов вообще не вышли на работу, по всей стране прокатилась волна демонстраций. Народ требовал восстановления республики, горячо одобрял лозунги КПЧ, особенно проявления дружбы к СССР. В Праге в демонстрациях приняло участие 100 тысяч человек. Гитлеровцы открыли огонь по безоружной толпе. Несколько человек было ранено. Ян Оплетал, студент, раненный во время демонстрации, скончался, и 15 ноября тысячи студентов демонстративно отправились на его похороны. В ночь на 17 ноября гестапо устроило облаву на студентов по всей Праге. Эсэсовцы громили и опустошали общежития, проводили повальные аресты студентов. Десятерых членов студенческого комитета казнили в Рузыне, 1200 студентов отправили в Германию, в концлагеря; все чешские высшие учебные заведения были закрыты, в древнем здании Пражского университета разместили комендатуру гестапо. Конфисковали даже учредительную грамоту Карла IV от 7 апреля 1348 года, определявшую его устав, и автобиографию Карла IV, изданную шесть веков назад. Нацисты приступили к осуществлению выработанных К.Г. Франком, ставшим теперь статс-секретарем и шефом полиции в Чехии и Моравии, и одобренных Гитлером директив о полной германизации чешских земель. Часть чешского

народа подлежала насильственному онемечиванию, а другая часть должна была быть полностью уничтожена. Нацистская наука и пропаганда были мобилизованы для доказательства того, что никакой своей чешской истории и культуры вообще не существует: все выдающиеся материальные и духовные ценности только подражание германским. Прага — немецкий город, Бедржих Сметана — немецкий композитор. Фучик пишет фельетон о праотце Чехе и уже в первом предложении пародирует способ нацистского мышления и аргументации:

«Это неправда, что праотец Чех был чехом, правда в том, что Чех был арийцем, о чем свидетельствует то, что чехи называли его своим „вождем“, а это не что иное, как дословный перевод с немецкого „фюрер“».

В этих условиях издание классиков и появление даже самых сдержанных статей о сокровищах отечественной культуры, всякое напоминание о предметах национальной гордости приобретало в глазах чехов особый смысл, расценивалось обществом как акт пассивного протеста и сопротивления оккупантам. Фучик вынашивает концепцию издания огромной «Чешской библиотеки», томов на сорок-пятьдесят, куда вошли бы все шедевры отечественной литературы с обстоятельными предисловиями, раскрывающими место и роль авторов в культурно-историческом прошлом страны, фотографиями и библиографией. Для издательства «Чин», где предполагалось реализовать этот проект, он разработал подробный план-проект первых двадцати томов. Сюда пошли прежде всего памятники народного сопротивления эпохи Возрождения и произведения Гавличека.

Его воображение давно занимал образ Вожены Немцовой, и он понимал, какое значение может иметь сейчас книга о ней. Чешская писательница, одна из самых любимых и популярных в стране, в своем творчестве обращалась ко всем слоям народа без различия в возрасте, вероисповедания и политической принадлежности, и ее можно использовать как силу, которая будет сейчас объединять и прославлять любовь к родине, дух благородного гражданского протеста против социального зла, готовность человека пожертвовать всем в борьбе за правое дело.

Исполнялось 120 лет со дня рождения писательницы, и к богатой и разносторонней литературе о ней — исследованиям Ирасека, Крейчи, Шальды, Неедлы, Новака и других — добавились работы-монографии Тилле, Новотного, стихи Сейферта и Галаса, пьеса «Жизнь — не сон» в театре на Виноградах, приуроченные к юбилею писательницы.

Работая над эссе, Фучик снова съездил в Домажлице, город

Немцовой, Тыла и поэта Ярослава Врхлицкого. Он любил этот приграничный край, горное гнездо ходов — племени пастухов, охотников, воинов, девственные леса и бурные потоки, рослых мужчин с чеканным профилем и статных женщин в национальных костюмах, огневые хороводы и песни, от которых в дни народных празднеств сотрясались крутые аркады домов на средневековой площади. Крепостные валы и сторожевые башни ходов надежно преграждали дорогу завоевателям. Фучик перечитывал с гордостью вслух стихи, высеченные на городских воротах:

> Домажлице — родины несокрушимая твердь,
> чем издревле была ты, тем будь и впредь!

Работа писалась с вдохновением, на одном дыхании, за девятнадцать дней, с 12 по 31 января 1940 года. Он усаживался всегда на кухне, спиной к теплой плите, закрывая пледом ноги и сосредоточенно думая.

Личность и творчество Немцовой издавна привлекали пристальное внимание критики. Традиционно Немцова изображалась мечтательницей, чье творчество было якобы бегством от горестной действительности в нереальный гармонический мир мечты, успокоительной, все разрешающей поэзии добра и примирения. На страницах большинства литературоведческих работ складывался полный гармонии и нравственной красоты, прелестный и скорбный облик благородной и несчастной, талантливой женщины — такой, какой обычно рисовали ее на портретах: чистое, одухотворенное строгое лицо, обрамленное гладкими блестящими черными волосами, большие задумчивые и грустные глаза.

Работы Шальды, многие его тонкие и проникновенные частные наблюдения способствовали укреплению литературной легенды о Немцовой, которая поэтизировала черты смирения и покорности, скорбное страдательное начало творчества и итерировала другую — бунтарскую сторону ее характера и произведений. Зденек Неедлы же раскрывал глубокий демократизм писательницы, ее критическое восприятие современности, подсознательное чувство тяготения к социализму.

Ключом к пониманию того, как писательница воспринимала социальное неравенство, контрасты и противоречия в обществе, борьбу классов стали ее слова: «Если мы нищие — мир для нас приобретает совсем другой вид», которые Фучик сделал эпиграфом к своей работе. Фучик расценивал эти слова как поэтическую парафразу того, что общественное бытие определяет сознание человека. Они приобретали в условиях оккупации

метафорическое значение.

Изучая произведения, переписку, высказывания Немцовой, дочери конюха и внучки ткача, Фучик находит там свидетельства подсознательного чувства классовой принадлежности, определяющего подлинный смысл мятежа писательницы. Он показывает, как ее взгляд движется «по тем же дорогам мысли, по которым идут рабочие — защитники баррикад». И в своем творчестве, и в личной жизни Немцова выступила как борец против буржуазной морали, за эмансипацию женщины, против бесправия и мещанства.

В Немцовой Фучик хотел видеть нечто вроде чешской Жанны д'Арк. Она выступает как революционная писательница самых передовых для того времени взглядов, пронесшая «через всю свою жизнь, насколько хватало ее сил, мысли тех, которых заставили замолчать». Писательница остановилась, как показывает Фучик, у порога научного социализма, хотя никогда не перешагнула через него.

Уже названием «Борющаяся Вожена Немцова» Фучик подчеркнул важную и замалчивавшуюся сторону жизни и творчества писательницы. Работа заканчивалась взволнованным обращением к читателю: «В тот день, когда ты начнешь видеть подлинные источники жизни… ты увидишь, что Вожена Немцова — это не только пленительная, очарованная душа, прелестная женщина с вечно жаждущим радости сердцем и непонятно суровой судьбой, это не только мученица, достойная запоздалого и ненужного сожаления, но это отважная душа, новая женщина с прекрасным человеческим сердцем мятежника и судьбой борца».

Читатели и специалисты сразу по достоинству оценили небольшую книжку в красной обложке, «цвета победы», как говорил Юлиус. Книга вышла к 8 марта 1940 года у прогрессивного смиховского издателя Отто Гиргала. Казалось, что совершилось невозможное, давно Юлиус уже не был так счастлив. В письме Густе он пишет:

«Как я рад! Книжку приняли так, как я не смел и мечтать. Прилагаю первую рецензию, которая опубликована сегодня. Написал ее Трегер. Времени не терял, не правда ли?.. У меня начинают неметь пальцы: куда ни приду, везде просят автограф… Ну, не знаю. На это я не рассчитывал. Особенно растрогал меня старый Выдра. Сегодня вечером зашел я в клуб, Выдра поднялся навстречу, обнял меня на глазах у всех и сказал: „Читая вашу „Божену Немцову“, я впервые за последние полтора года снова испытал чувство свободы“. Право, не могу разобраться во всем этом. Поговорим, когда приеду, хорошо?»

Критик Трегер приветствовал выход книги восторженной

рецензией:

«Издатель Отто Гиргал опубликовал недюжинную, полную глубокого проникновения работу Юлиуса Фучика о борющейся Божене Немцовой… Три ее главы так превосходно оживляют перед нами Немцову во всем значении ее общественной роли, что могут быть отнесены к шедеврам нашей современной эссеистики».

Тоненькую книжонку с дарственной надписью вручил Фучик и котельщику из железнодорожных мастерских Войтеху Тихоте. Он со своей женой и двумя детьми снимал комнату в доме у Фучиков. Из собственного дома в Нагошице фашисты семью Тихоты выгнали, а саму деревню насильно присоединили к рейху. Войтех скучал по Нагошице, своему домику и ульям. Часто с семьей взбирался на небольшую гору Прант и отсюда, с территории протектората, с болью смотрел через поле на крышу своего дома, оказавшегося в рейхе. А по вечерам снова и снова брал в руки книгу, подаренную Фучиком, черпая в ней веру и надежду.

Сын Тихоты Вацлав вспоминал:

«Я был тогда двенадцатилетним школьником и любил наблюдать, как Фучик пишет свою книгу. В работе ему помогала жена Густа. Наша семья очень любила Фучиковых. Юлиус был всегда приветлив и добр, а Густа помогала мне по физике. Часто мы с Фучиковыми сиживали на террасе их дома за круглым столом, над которым склонялся подсолнух. Когда Юлиус работал здесь, часто к нему на стол прилетала горлица. И здесь же, на террасе, устроила себе гнездо пара синичек».

В памяти Вацлава остался и диалог между отцом и Фучиком над развернутой картой Европы. Юлиус отмечал на карте продвижение нацистских войск.

— Идите, идите, — со злостью говорил Фучик. — Назад полетите так быстро, что не будете успевать даже удивляться.

— Не знаю, не знаю, Юлек. Ведь немцы влезли уже так далеко, и никто их остановить не может, — с дрожью в голосе произнес Войтех Тихота.

— Войтех, дружище! — воскликнул Фучик. — А ты не слушай радио с его фашистским хвастовством. Если Гитлер нападет на Советский Союз, то это будет для фашистов крах. Возможно, меня уже не будет в живых, но я уверен, что Гитлер войну не выиграет. Верь, придет время, и по Вацлавской площади Праги пройдет Красная Армия. И вернешься, друг, в свой домик в Нагоншце.

Но дни пребывания в Хатимерже приближались к концу.

Нацистская служба безопасности внимательно следила за настроениями чешского населения и забила тревогу. В ее отчете

за время с 15 марта 1939 года по 30 апреля 1940 года отмечалось: «Чешские марксисты в последние недели были очень активны, усиленно распространялись листовки и ложные слухи. Годовщина установления протектората, финско-русское соглашение о мире, как и приближающийся день 1 Мая, стали для коммунистических кругов, бывшей КПЧ поводом для широкой операции по распространению листовок». В донесениях также указывалось, что чешское население с чрезвычайным интересом следит за событиями в Советском Союзе и только с ним связывает свои надежды на освобождение.

Гестаповцы продолжали искать Фучика: он числился в списках кандидатов от коммунистической партии во время парламентских выборов в 1935 году. По адресу, где он был прописан официально, его не нашли, но гестаповцы все же напали на след. В один из июньских дней в пять часов утра в квартиру родителей в Пльзене ворвались гестаповцы. Долговязый немецкий полицейский комиссар Фридрих спросил:

— Где ваш сын? — Этот вопрос задавали и по-чешски и по-немецки, громким и тихим голосом, но мать спокойно отвечала одно и то же:

— Не знаю. Его давно не было. Он вообще ездил к нам редко. В последний раз был на рождество в 1938 году.

Второй нацист обратился к Вере с учтивым вопросом:

— А если ваш отец умрет в больнице, как известите брата?

Показав на радиоприемник, Вера ответила, не моргнув глазом:

— Дадим объявление по радио.

С ругательствами фашисты перевернули все вверх дном и убрались ни с чем. В этот же день Фучик узнал о визите гестаповцев, и ему стало ясно, что теперь начинаются серьезные испытания. Более года прожил он под угрозой ареста, и пока все сходило с рук, а как быть теперь? Огорчило его и известие о болезни отца, лежавшего в одной из пльзенских больниц. Состояние его здоровья вызывало серьезные опасения, и Юлиус не мог не навестить отца, не встретиться с ним.

Однажды к больному пришел врач и во время осмотра тихонько шепнул:

— Господин Фучик, сейчас вас придет проведать один человек. Будьте осторожны, прошу вас. Не разговаривайте. Рядом… — Он не договорил. И только глазами подал какой-то загадочный знак.

«Кто это может быть? К чему такая таинственность? Нельзя разговаривать… Странно», — думал больной старик, не замечая, что за каждым его движением внимательно следит сосед.

Через минуту белая дверь открылась, и в комнату вошли два врача в белых халатах.

«Господи, да ведь это Юлек!» — чуть было не выкрикнул больной. Но острая боль и предостерегающий взгляд доктора заморозили на его губах радостное восклицание. Они поздоровались только взглядами. Юлек словно говорил:

«Будь мужественным, мой дорогой! Молчи и не подавай вида. Мы еще встретимся в лучшие времена, и тогда…»

«Через два дня, — вспоминал позднее Карел Фучик, — я узнал, что на койке напротив меня лежал гестаповец. Он прикидывался больным и ждал Юлека».

Лихорадка, охватившая Юлиуса в период работы над книгой о Б. Немцовой, не проходила. Его уже захватила новая идея, которая казалась ему удачной, правильной и, главное, созвучной времени и обстановке в стране. Ради этого можно опять отложить в сторону первые четыре главы романа «Поколение до Петра». Фучик начинает работать над этюдом о Кареле Сабине. Этот писатель не был для него тем, кому обычно говорят «его» автор, то есть писатель, к работам которого постоянно возвращаются и каждый раз в них находят что-то новое для души, для размышлений. Еще летом 1938 года в букинистическом магазине ему попала в руки книга «Театр и драма в Чехии до начала XIX века». В толстом кожаном переплете с золотыми звездочками книга Карела Сабины на немецком языке была под псевдонимом «Лео Бласс». Долго никто не знал, кто скрывается под псевдонимом. Юлиус считал это произведение весьма значительным, даже единственным в своем роде, собирался перевести его, но как-то все не доходили руки. Уезжая в Хотимерж, он взял книгу с собой, но и здесь она пролежала почти целый год. И вот Густа приступила к переводу, а Юлиус собирался дополнить книгу обстоятельными примечаниями и вступительной статьей.

Его заинтересовал Сабина — крупная и в то же время трагическая фигура чешской культуры и политики XIX века. Поэт и романист, литературный критик, друг и восторженный поклонник Махи, участник пражского восстания 1848 года, один из идейных вождей радикально-демократической партии, автор книги «Духовный коммунизм».

За участие в восстании он был приговорен к смертной казни. Позднее она была заменена многолетним тюремным заключением. Восемь лет он провел в Градчанской тюрьме и Оломоуцкой крепости и в мае 1857 года был амнистирован и выпущен на свободу. Он снова в Праге, но теперь за каждым его шагом следит полиция, ему запрещена любая литературная и

общественная деятельность.

Он чувствовал полное одиночество и изолированность, подвергнутый всем ударам судьбы и настоящей тирании кредиторов. А у него жена и двое детей. Но судьба, казалось, улыбнулась ему, и он снова начал печататься.

30 июля 1872 года на квартире пражского адвоката Яна Кучеры десять друзей, соратников Сабины (среди них Ян Неруда, Витезслав Галек, Йозеф Барак), предъявили ему тягчайшее обвинение в предательстве — тайный полицейский рапорт, относящийся к 1861 году, подписанный именем Роман. Сабина клялся, что это его один-единственный рапорт, старый, совершенный с горя и уже забытый им грешок, после которого с ним ничего подобного никогда не случалось. Приговор был единодушным: если Сабина не хочет быть публично разоблаченным, он должен навсегда покинуть родину. В случае же отказа он будет публично разоблачен как полицейский доносчик. Он избрал пожизненное изгнание. Однако уже на третий день своего пребывания в Дрездене, куда он направился из Праги, он узнал из немецких газет, что публично объявлен на родине изменником народа и что против него ведется бурная кампания в печати.

Сабина вернулся в Прагу и пытался оправдаться, но его уже никто не слушал. И даже на афишах «Проданной невесты», либретто которой он написал, уже нельзя было упоминать его фамилию. Он пережил свой позор на пять лет и умер презираемый, отверженный обществом, в жестокой нищете. Только несколько рабочих-социалистов шли за его гробом и возложили единственный венок на его могилу. Но имя Сабины все-таки было невозможно предать полному забвению — слишком глубокий след оно оставило в сознании прогрессивных кругов. Вокруг его имени вспыхнула полемика, некоторые из его друзей стали утверждать, что с ним обошлись несправедливо, они пытались снять часть предъявляемых ему обвинений, а позднее и полностью его реабилитировать. Шло время, открывались архивы бывшей австрийской монархии, и становилось все более ясно, что Сабина оступился не только раз, а действительно стал постоянным агентом полиции и систематически занимался доносами, даже на близких друзей и родственников. Центральной проблемой своего исследования Фучик взял измену Сабины. Его побуждали к этому не только нерешенные литературоведческие споры. Он понимал, что сейчас, в условиях оккупации, когда испытывалась стойкость и неподкупность каждого человека в стране, нужно в первую очередь решить именно этот вопрос. Гитлеровцы плели тайную сеть провокаций, засылали своих

скрытых агентов в ряды борцов Сопротивления, мучили арестованных, пытаясь сломить их характер и сделать из них предателей. Каждый случай слабости, измены наносил ощутимые удары по рядам подпольщиков.

Судьбой Сабины можно и нужно напомнить всем честным людям, как важно не уступать ни пяди под давлением оккупантов, как важно даже в самые трудные минуты хранить свое знамя в чистоте.

«С первой выданной тайной изменник предает и свою волю, сдается на милость своему новому хозяину и служит ему дальше уже не потому, что хочет, а потому, что должен. Он говорит уже не всегда только то, что хочет, но и то, к чему вынуждает его зависимое положение, разоблачает других, чтобы самому не быть разоблаченным… коготок увяз, всей птичке пропасть».

В отличие от тех, кто защищал Сабину от его судей и пытался вернуть ему имя и место в истории чешской литературы и политики, Фучик измеряет ответственность читателя перед теми, кто его любил, перед теми, кто видел в Сабине своего предшественника, своего советчика, своего соратника — и более того, воплощение своих идей. «Десятки других чешских писателей, возможно, могли бы быть реабилитированы, будь они на месте Сабины. Сабина — ни в коем случае».

Эта взыскательная требовательность к Сабине определялась тем, что Фучик видел в нем революционера и пользовался той же меркой, с какой подходил к самому себе.

«Но такой борец ответствен за каждый свой шаг, потому что за каждым его шагом внимательно следят как друзья, так и враги. Всегда и во всем он должен был помнить о том, что он представляет. Каждое колебание, каждая слабость характера здесь выглядит умноженной на расстояние, пройденное боевым авангардом. „Я человек свободы, для добродетелей у меня мерка иная“, — говорит Сабина в „Оживших могилах“. Правильно, борец за свободу должен ценить свои доблести по иной, более строгой мерке. И по иной, более строгой мерке оцениваются и его недостатки. Он сломает себе шею там, где другой только поскользнется. Каждое пятнышко на нем превращается в глубокую язву. Как опозорена теперь личность Сабины!»

Фучик осуждает Сабину за удар, который он нанес революционному движению, когда были разоблачены его сношения с полицией. Как бы ни менялись идеи, люди всегда люди; и в конечном счете все дело в них: они накладывают свой отпечаток на идеи. Если люди раболепны, безнравственны, то даже великие идеи, пройдя через их души, становятся для окружающих посредственными и даже отталкивающими.

Поэтому, с суровой непримиримостью указывает Фучик, писатель должен был предпочесть смерть постыдному сговору с полицией, «…человек борющийся определяет свою решимость жить или умереть на весах всего общества… Если нужно было ради идеи чем-либо пожертвовать, то это жизнью, а не честью».

Фучик сделал чрезвычайно важный вывод о том, что измена писателя имела в высшей степени разрушительные внутренние последствия для его творчества. Вопреки устоявшемуся мнению, он показывал, что падение писателя началось не с 1872 года, когда он был подвергнут остракизму, а значительно раньше, еще с 1859 года, когда он стал полицейским осведомителем. Именно тогда, несмотря на лихорадочную литературную активность, медленно, постепенно, но неотвратимо наступила полоса депрессии, творческое развитие писателя остановилось.

В конце июля 1940 года у синей калитки фучиковского дома позвонил полицейский. Он был в полной форме, на голове каска, на плече винтовка с примкнутым штыком. Открывать пошла Густина. Сердце ее готово было выскочить из груди.

— Юлиус Фучик, бывший редактор из Праги, дома?

— Нет, он где-то в лесу, — пытается выиграть время Густина.

Фучик наблюдает эту сцену из окна и нервно курит. Мысль лихорадочно работает. Спрятаться? В комнате под ковром — люк в подвал. Там не найдут. Только нужно ли это? Он принимает решение и выходит навстречу полицейскому.

— Я Юлиус Фучик.

Полицейский вытягивается по стойке «смирно» и читает ордер на арест.

— Вы чех, господин вахмистр? — спрашивает вдруг Фучик полицейского. — И вам не стыдно арестовывать чеха для немецкого гестапо?

— Я исполняю свои обязанности… Мне приказано, — говорит полицейский, чувствуя неубедительность своих слов. Так начался большой, взволнованный разговор с глазу на глаз. Они проговорили минут пятнадцать. Содержание их беседы так и осталось тайной. Условились, что Фучик в этот же день уедет из Хотимержа, а полицейский Йозеф Говорка, ставший позднее коммунистом, доложит, что не застал его дома.

Вечером того же дня он собрался в дорогу. Сложил в чемоданчик необходимые вещи и материалы для статьи о Сабине, попрощался с Густиной и близкими и под прикрытием темноты отправился в путь. Провожал его до вокзала в Осврачине лишь Войтех Тихота. В три часа утра приходит поезд из Домажлиц. Тихота купил ему билет и предложил свою железнодорожную форму для надежной маскировки, но Фучик отказался:

— Не хочу, чтобы ваша семья пострадала из-за меня. Он сел в последний вагон и думал о том, что его ждет впереди. Будет ли он на высоте теперь? Да и что его ждет в этой новой, по правде сказать, почти непредвиденной обстановке? Русские революционеры годами работали в подполье. Их преследовала охранка, их бросали в тюрьмы, но революционное движение и партия все-таки не были разгромлены. Дело народа в конце концов победило.

С сознанием этого он вступал в новый, наиболее трудный период своей жизни.

В свою квартиру в Праге на Летенской улице он пойти не мог — его успели предупредить, что гестапо устроило там засаду. Найти нелегальную квартиру летом, когда многие друзья и знакомые уехали из Праги, оказалось на первых порах делом нелегким. За четыре дня пришлось сменить четыре пристанища. Наконец он поселился в небольшом городке под Прагой Кунратице у знакомого учителя Олдржиха Штельцлайна. Здесь, где все знают друг друга, постороннему человеку трудно остаться незамеченным, и Фучик не выходил из дома. Пикантность положения состояла еще в том, что вторую квартиру в двухэтажном особняке занимал вахмистр.

— Ничего, по крайней мере охранять меня будет! — посмеивался Юлиус.

Три недели под такой «охраной» он жил, напряженно работая над своей книгой о Сабине. Да и кому из гестаповцев могло прийти в голову, что под, крылышком жандарма свил гнездо разыскиваемый коммунист?

Жизнь его изменилась коренным образом. Он, чувствовавший себя счастливым лишь среди людей и постоянно искавший их общества, был вынужден замкнуться в четырех стенах и общаться с ограниченным кругом верных друзей. Как-то сразу стал худ, бледен, болезненно заблестели глаза.

В сравнительной безопасности он почувствовал себя у Ветенглов, занимавших на Булгарской улице в Праге квартиру на первом этаже с окнами в палисадник. Антонин Ветенгл во время гражданской войны сражался в рядах Красной Армии, его жена была молодая общительная русская женщина, педагог-филолог. В Чехословакию они переехали в 1927 году. Их сын Геня родился в Советском Союзе, нескладный на вид парнишка, сразу же привязался к Юлиусу, ловко выполнял он его отдельные поручения.

В этой семье было о чем вспомнить и поговорить, когда по вечерам все собирались за чашкой чая. Все трое Ветенглов были счастливы, что с ними человек, который так знает и любит

Советский Союз, с которым можно бесконечно говорить о своей жизни «там».

— Разве может кто-нибудь победить Советский Союз? Никогда! — восклицал старый Ветенгл.

А Фучик вместо ответа запевал «Широка страна моя родная», и все дружно подтягивали.

В то время Фучик почти совсем не выходил из дома, отращивал бороду, чтобы никто, даже ближайшие друзья, не могли его узнать при случайной встрече. Только иногда по вечерам он ходил с Геней на пустырь, где они занимались: бегали наперегонки, прыгали в длину, бросали камни — кто дальше.

Он так законспирировался, что многие думали, будто он выехал в Советский Союз. Собственный корреспондент ТАСС в Праге передал в Москву специальную информацию о циркулирующих в городе слухах: Фучик благополучно вырвался из Праги, находится в Стамбуле и готовится к отъезду в СССР.

В октябре 1940 года вышел перевод Густы книги о творчестве Сабины с предисловием Фучика. Сама жизнь неожиданно и со всей убедительностью подтвердила, что работа об измене Сабины дает ответ на жгучие, злободневные вопросы, врывается в гущу событий. В сентябре 1940 года Геббельс пригласил в Берлин некоторых представителей чешской интеллигенции и обратился к ним с речью, основной смысл которой сводился к следующему. Еще, мол, есть время для того, чтобы чешский народ показал, «включился ли он в процесс установления нового порядка с охотой или с внутренним сопротивлением». В зависимости от этого нацистская Германия либо предложит Чехословакии честную дружбу, либо начнет с ней борьбу. Или кнут, или пряник. От интеллигенции — особо подчеркнул далее министр — зависит, каким путем захочет пойти чешский народ, потому что народ всегда мыслит так, как мыслит его интеллигенция.

Фучик пришел в негодование и решил дать резкую отповедь этой «колченогой Лорелее» (воспетая Г. Гейне дева-сирена, соблазнявшая путников волшебными песнями со своей скалы на Рейне. — *В. Ф.*). Нельзя же такое оставлять без ответа. Он согласовал с подпольным ЦК идею и принялся за работу. В течение нескольких часов он написал от имени чешской интеллигенции открытое письмо министру Геббельсу, опубликованное в нелегальной листовке. Фучик напомнил о том, что, прежде чем предпринять поход против чешской культуры, нацисты предприняли карательную экспедицию против собственной, немецкой культуры, убили великую немецкую науку, изгнали из своей страны виднейших немецких ученых, изгнали или замучили крупнейших немецких поэтов и писателей,

сожгли на кострах произведения виднейших немецких философов, разграбили картинные галереи, растоптали славу немецкого театра, фальсифицировали отечественную историю.

Находившаяся рядом Густа с волнением читала через плечо мужа и приговаривала:

— Так… так! Отлично! Замечательно! Правильно!

«Вы организовали в Европе фабрики смерти, вы объявили войну в воздухе, на море и на земле, но кончите вы ее под землей, куда вы загнали народ чешский, народ французский, бельгийский, голландский, датский, норвежский, испанский и народ своей собственной страны… Но если вы, жалкий лжец, думаете, что у нас, у чешской интеллигенции, меньше гордости и меньше характера, чем у чешского народа, из которого мы вырастаем, если вы думаете, что мы позволим вам запугать или соблазнить себя, что мы отречемся от народа и пойдем вместе с вашим гестапо против народа, то вот вам еще раз наш ответ: Нет, нет, никогда!»

Неожиданно семья Ветенглов попала под подозрение гестапо, и Фучику снова надо было менять квартиру. На этот раз помог молодой железнодорожник Йозеф Высушил.

В середине октября он привел его в семью подпольщиков Баксов. Они предложили Юлиусу в своей небольшой двухкомнатной квартире убежище на любое время, пусть даже «на два года». Он быстро сблизился с новыми людьми, стал полноправным членом их семьи. Особенно подружился он с Лидой, сводной сестрой Йожки Баксовой. Молодая, темпераментная, она играла в любительских спектаклях, мечтала стать актрисой, и Фучик, хорошо знавший театр, стал знакомить ее с трудным искусством Талии и Мельпомены. Он рассказывал Лиде о великом прошлом чешского театра, о выдающихся актерах и драматургах, учил ее декламации и игре. В свободное время они спорили, читали стихи чешских поэтов, пели народные песни.

Лида была еще по-детски легкомысленна и немного избалованна. Со всей пылкостью девятнадцатилетней девушки она отдавалась капризам и мечтам юности, доверяя их Фучику. В нем она быстро увидела и нашла не только занимательного и таинственного жильца, но и человека глубоких знаний, твердых убеждений и стойкого характера, скрытого под маской веселого человека. Сперва инстинктивно, затем все более сознательно Лида подражала ему, следовала его примеру. Она начала помогать ему в нелегальной работе и вскоре стала его связной.

Неожиданно подвернулась работа. Владислав Ганус, директор школы в пражском районе Нусле и редактор журнала «Рой», издававшегося для школьной молодежи, предложил Фучику

сотрудничество — писать о чешской культуре, литературе, театре. Юлиус с радостью согласился: как-никак возможность поговорить с читателем. Встал вопрос: как спрятать от цензуры те крупицы знаний, которые учащиеся протекторатных школ никак не могли получить в классе?

Фучик рассказывал ребятам о чешских великих писателях прошлого, учил юных читателей с уважением относиться к их борьбе за лучшее будущее народа. Эзоповский стиль, иносказание и другие писательские приемы были направлены на то, чтобы помочь подрастающему, вступающему в жизнь поколению понять современность, заставить подумать о том времени, в котором они живут, привести их к мысли, что тучи рассеются и усилиями их отцов и матерей снова будет завоевано свободное будущее.

«В земле — много зерен. Зерна взойдут, но не каждое из них даст жизнь цветку, а тем более плоду. Молодые побеги нередко гибнут от весенних заморозков, от недостатка солнца или влаги, они медленно растут в тени, и человек даже не догадывается, какими красивыми и полезными могли бы они стать, будь у них возможность развиться полнее. С людьми дело обстоит еще хуже. В каждом человеке заложены способности к чему-либо, и мир населяли бы одни гении, если бы эти способности могли развиваться. Но человеческое общество прозябает еще в глубокой тени, в мире тьмы, потому что между ним и солнцем встала кучка корыстолюбцев, для которых люди имеют цену лишь постольку, поскольку они помогают им приобретать деньги и власть. Чтобы люди делали это, их следует держать в темноте и невежестве. Так губится самое ценное, что есть в человеке, но это корыстолюбцев ничуть не тревожит! Зато когда люди разгонят тучи и над всей землей засияет справедливое солнце, дерево жизни зацветет, отцветет и даст плоды».

Он писал много, вошел во вкус, завел рубрику «Шевели мозгами», где придумывал для читателей загадки: арифметические, физические, литературные, используя знания из книги «Чудеса на каждом шагу». В каждом номере журнала или в приложении к нему появлялись статьи Фучика о Зейере, Неруде, Божене Немцовой, Антонине Дворжаке, Клицпере, Тыле, о кукольнике Матее Копецком, о Национальном театре.

НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ

Если славянство встало на страже,
Кто нарушителем мира ни будь,
Как бы он пи был хитер и

отважен,
— Грудь разобьет о славянскую

грудь.

Ян Неруда

Готовясь к нападению на Советский Союз, гитлеровцы стремились во что бы то ни стало подавить освободительное движение в оккупированных странах, превратить протекторат в надежный тыл. В феврале 1941 года на КПЧ обрушился давно готовившийся страшный удар — гестапо раскрыло и в течение нескольких дней арестовало почти весь состав подпольного ЦК КПЧ. Налаженная ценою огромных усилий сложная цепь конспиративной организации была нарушена. Гестапо захватило Центральный архив партии и радиопередатчик для связи с Москвой. Располагая шифровальными кодами, нацисты начали по указанию Гиммлера передавать в Москву на имя Клемента Готвальда подложные радиограммы с различными вопросами от имени ЦК, рассчитывая получить дополнительные сведения о работе подполья, узнать имена его руководителей, а также собрать «компрометирующие материалы» о вмешательстве во внутренние дела рейха. Но Урке уже в тюрьме сумел все же через других подпольщиков предупредить о том, что рация в руках врага.

«Я не представлял себе сначала масштабов провала, — вспоминал Фучик. — Я ждал обычного появления нашего связного и не дождался. Но через месяц стало ясно, что случилось нечто очень серьезное и я не имею права только ждать. Я начал сам нащупывать связь; другие делали то же самое».

На место арестованных вставали десятки и сотни новых людей, находившихся до сих пор не на линии огня, а на втором рубеже, в резерве. Среди них — Фучик. Он пытался объяснить

причины провала. Конечно, не обошлось без провокаций, но, видимо, сыграла свою роль и неосторожность. Два года успешной подпольной работы несколько усыпили бдительность. Подпольная организация росла вширь, в работу все время вовлекались новые люди, в том числе и те, кто не был до конца проверен. Значит, вновь придется начинать чуть ли не с самого начала? Нельзя терять время, надо действовать решительно и быстро. Прежде всего необходимо наладить издание «Руде право», нельзя, чтобы партия осталась без центрального органа.

Фучик установил связь с Гонзой Выскочилом, который руководил работой в Средней Чехии, держал в своих руках и связных, и явочные квартиры, и несколько подпольных типографий. Фучик написал передовицу, и они решили, что весь материал выйдет как «Майский лист», а не как номер «Руде право», так как другая группа товарищей уже выпустила газету, хотя полиграфически невзрачного вида.

Статья Фучика была посвящена славной традиции чешских Первомаев и единству народа в борьбе с оккупантами и предателями. Да, в этом году в день Первого мая чехословацкие рабочие уже в третий раз не пройдут по улицам и не запоют пролетарских песен. Но если бы сегодня, как в прошлые годы, они вышли бы на улицу, для всех желающих пойти с ними не хватило бы пространства городов. «Да, мы в подполье, но не как погребенные мертвецы, а как живые побеги, которые пробиваются во всем мире к весеннему солнцу. Первое мая возвещает об этой весне, о весне свободного человека, о весне народов и их братстве, о весне всего человечества. Еще в подполье находимся мы, но и там мы куем победу свободы, победу жизни, победу самых смелых мечтаний человеческой мысли».

С наступлением весны Фучик все чаще подходил к окну, смотрел на майское солнце над головой и вдыхал свежий воздух. Лида Плаха и Баксы уловили волнение Фучика, они знали, что весна всегда была его любимой порой, когда его неумолимо и неудержимо тянуло к природе. Они договорились в ближайшее воскресенье поехать в Крчский лес и взяли его с собой. Для него это было приятным сюрпризом. Он пришел от этого в восторг, тем более что прогулка была удобным случаем проверить, насколько надежен вид пожилого, хромающего, опирающегося на трость господина. Так, после долгого заточения он снова оказался на улице. Круглые роговые очки, черная бородка и старомодное пальто с бархатным воротником делали его неузнаваемым. Он встретил нескольких людей, хорошо знавших его, но ни один из них не кивнул, не посмотрел вслед. Юлиус ликовал:

— Ура, «маска» сработала!

Четыре стены душной комнаты рухнули, и он очутился под ярко-голубым майским небосводом. И чешская земля торопилась цвести, не оглядываясь на ломаный крест, под уродливым знаком которого она очутилась.

Вечером, возвратившись с прогулки, Фучик почувствовал необыкновенную тяжесть во всем теле. У него резко подскочила температура. Избыток свежего весеннего воздуха и избыток чувств оказали слишком сильное воздействие на его организм, ослабленный долгим пребыванием в душной квартире. Баксы заволновались, но уже на следующий день температура так же внезапно и резко, как поднялась, упала до нормальной. Он виновато улыбался:

— Напугал я вас?

— Немножко да.

— Не следовало мне дразнить свою старую малярию.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась священная всенародная война, гигантская битва на решающем фронте второй мировой войны, исход которой должен был решить судьбу Чехословакии и всей Европы. Едва распространилось известие о вторжении гитлеровских полчищ, Фучик написал воззвание к чехословацкому народу, опубликованное в подпольной «Руде право» от имени Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии. На следующий день эта газета среди других важных донесений лежала на столе начальника антикоммунистического отдела пражского гестапо полковника Лаймера. Он молча пробежал глазами газету.

«Никогда еще чешский народ не чувствовал так глубоко и сильно неразрывно прочную связь, самой судьбой определенный союз нашего народа с народами СССР, как в настоящий момент. Каждому честному человеку ясно, что величайшая и ожесточеннейшая битва из всех битв в истории человечества, которую ведет сейчас Красная Армия с фашистскими ордами на Востоке, — это битва и за наше будущее, за нашу судьбу, за. нашу свободу».

Сам факт появления воззвания за подписью ЦК КПЧ поверг Лаймера в состояние шока. «Мы арестовали весь состав ЦК, а уже через три месяца создан новый? Или смутьяны и подстрекатели действуют в одиночку?» На эти вопросы надо срочно давать ответы в Берлин. Нельзя же расписаться в том, что события выходят из-под контроля и тайная служба становится бессильной.

В руки Фучика попадали номера «Руде право», издававшиеся тоже партизанскими методами. Он чувствовал по ним опытную

политическую руку, но не знал, кто на другой стороне. Найти друг друга оказалось не простым делом. Тяжелая потеря научила партию быть более осторожной и бдительной, и два человека из центрального аппарата, идущие навстречу друг другу, должны были пробираться через многочисленные проверочные и опознавательные преграды. Помогла случайность. В июне после очередной загородной прогулки у Фучика снова поднялась температура, и он слег с воспалением легких. Баксы оказались в затруднительном положении, они не знали ни одного надежного врача, к которому можно было бы обратиться за помощью. Выход нашел сам Фучик. Он вспомнил о своем хорошем знакомом — докторе Милоше Недведе. Милош был зятем Зденека Неедлы, а его отец, бывший депутат от КПЧ в парламенте, вот уже три года находился в Москве. Когда Лида привела Милоша в квартиру и он стоял у постели больного, он никак не подозревал, кто такой его пациент. И даже когда больной поднялся и с радостным восклицанием обнял его, непросто было узнать в этом бородатом человеке Фучика. Милошу как раз было поручено искать того «другого», и он не подозревал, что им окажется Фучик. Ведь о нем так долго не было никаких известий, и многие говорили, что он покинул страну и перебрался в СССР.

— Ну, Милош, сам бог послал мне тебя. А то я блуждаю в потемках и никак не попадаю к цели.

Милош назначил на 30 июня встречу с «ответственным партийным работником». Тот, кого Юлиус так долго искал, «пришел в назначенное мною место, уже зная, с кем он увидится. А я все еще не знал. Стояла летняя ночь, в открытое окно вливался аромат цветущих акаций — самая подходящая пора для любовных свиданий. Мы завесили окно, зажгли свет и обнялись. Это был Гонза Зика».

Фучик давно знал Яна Зику по партийной работе. Всего только на год старше его этот яркий человек необычной судьбы. Еще будучи совсем молодым рабочим-обувщиком, он активно включился в революционное движение. В середине двадцатых годов, после того как его уволили с фабрики Бати, Зика стал активным политическим бойцом. Он окончил партийную школу в Москве, прошел через тюрьмы Первой республики, в годы экономического кризиса находился на профсоюзной работе, а затем возглавил пражскую областную партийную организацию. Круглолицый, с застенчивой улыбкой, с виду похожий на доброго дядюшку, но в то же время твердый, самоотверженный, решительный, не признающий компромиссов в партийной работе. Прочные связи с крупнейшими предприятиями, старая дружба со множеством людей в парторганизациях, природные качества

искусного конспиратора делали его незаменимым человеком для подполья. В 1938 году после запрещения КПЧ он по собственной просьбе остался в стране, был введен в состав подпольного ЦК. После арестов членов ЦК на свободе остался один только Зика. Он ушел буквально из-под носа гестапо и вместе е Яном Черным продолжал издавать «Руде право». Однажды ему в руки попал «Майский лист». Стиль передовой показался Зике знакомым. «Наверное, Фучик», — подумал он и не ошибся.

Через несколько дней после встречи с Зикой на квартире у Выскочилов состоялась встреча с Яном Черным. Этот рослый черноволосый парень сразу завоевал к себе расположение и доверие, как только пожал обеими руками протянутую ему руку и твердо посмотрел в глаза. Фучик почувствовал, что менаду ними заключен боевой союз, один из тех, которые способна разорвать только смерть.

К началу второй мировой войны уроженцу Моравского Словацка Яну не было еще и тридцати лет, но за его плечами была большая школа революционной борьбы. С шестнадцати лет он работал в районе Годонин в прогрессивных молодежных организациях. В начале тридцатых годов суд приговорил его к двум годам тюремного заключения. Партия помогла ему уехать в Советский Союз, где он окончил Ленинскую школу. После возвращения на родину он жил под чужим именем Франтишека Бурды. И снова работа среди молодежи, собрания, агитация, листовки, борьба с полицией. Когда в республиканской Испании вспыхнула гражданская война, он организовал добровольческую группу из комсомольцев, сражался в интербригаде, был командиром отдельной пулеметной роты «Ян Жижка из Троцнова», Тяжело раненный, он перебрался после поражения республиканцев во Францию. Ему удалось избежать концентрационного лагеря, но в Бельгии его схватили немецкие фашисты и присудили к смертной казни. В последний момент с помощью коммуниста-антифашиста ему удалось бежать. С чужими документами его послали на работу на военный завод в Касселе. Но и здесь он пробыл недолго. Он сумел вернуться в Прагу в конце 1940 года. Скрываясь у знакомых, он искал связь с подпольной организацией. Милош Красный помог ему в этом, и он стал ведать партийной техникой — стеклографами и портативными типографскими машинами, на которых печатались подпольные газеты и листовки. В мае он связался с Яном Зикой, который познакомил его с Фучиком. Так возник второй подпольный ЦК КПЧ в составе Зики, Черного и Фучика. Работали они дружно, понимая друг друга с полуслова, с любого намека.

«Месяцы напряженной борьбы крепко спаяли нас, —

вспоминал Фучик. — Мы дополняли друг друга как характерами, так и своими способностями. Зика — организатор деловитый и педантически точный, которому нельзя было пустить пыль в глаза; он тщательно проверял каждое сообщение, добираясь до сути дела, всесторонне рассматривал каждое предложение и деликатно, но настойчиво следил за выполнением любого нашего решения. Черный, руководивший саботажем и подготовкой к вооруженной борьбе, мыслил как военный человек; он был чужд всякой мелочности, отличался большим размахом, неукротимостью и находчивостью; ему всегда везло при поиске новых форм работы и новых людей. И я — агитпропщик, журналист, полагающийся на свой нюх, немного фантазер с долей критицизма — для равновесия».

Фучик перевоплотился в Ярослава Горака. На чистом бланке немецко-чешского «Всеобщего гражданского удостоверения подданного протектората Чехии и Моравии» он сам наклеил свою фотографию и написал «Ярослав Горак». О нем в удостоверении было сказано следующее: «Учитель, женат, родился 25.07.1893 г. в городе Мельник, прописан в Праге… Рост средний, волосы темно-каштановые, глаза карие, нос нормальный, носит бороду, губы правильные, зубы пломбированные».

В начале июля вышел номер нелегальной «Руде право», целиком написанный Фучиком. В передовой статье, озаглавленной «В бой во имя свободы чешского народа!», агрессия гитлеровской Германии против Советского Союза сравнивалась с действиями «азартного игрока, которому грозит крах и который все ставит на последнюю карту в безумной надежде, что она каким-нибудь чудом не будет бита. Но в истории не бывает чудес. Эта карта будет бита!».

Уже в первые месяцы борьбы Советское правительство заключило с чехословацким правительством в эмиграции соглашение о совместных действиях против гитлеровской Германии, предусматривавшее оказание всякого рода помощи и взаимной поддержки, включая создание на территории СССР чехословацких военных частей. Впоследствии под командованием Людвика Свободы они участвовали в боях за освобождение своей родины от фашизма. Как ни старались нацисты утаить от чехословацкого населения это событие, радостное известие о нем просочилось и передавалось из уст в уста, вызывая надежды и решимость бороться. В статье «Все мы боремся против Гитлера» Фучик приветствовал заключение этого соглашения, информировал читателей о формировании в СССР частей чехословацкой армии, а также о первых акциях саботажа на чехословацких предприятиях. Статья звучала как набатный клич:

«Саботируйте все военные, продовольственные и административные мероприятия фашистов. Разрушайте, уничтожайте, сжигайте все, что необходимо для ведения войны. Сделайте невозможным каждое их движение по нашей территории. Отважно боритесь, как борются советские партизаны! Боритесь с находчивостью, решимостью и силой, достойными народа гуситов!»

Информацию для «Руде право» он в основном получал из передач Московского радио, по которому выступали Готвальд и другие товарищи из руководства КПЧ. На большой настенной карте он аккуратно обозначал события на фронте, следил за ходом военных действий. В газете печатались комментарии к военным и политическим событиям, различного рода воззвания и обращения к народу. Постепенно «Руде право» приближалась к обычному типу газет, помещая регулярно сообщения о жизни страны, иностранную хронику, вести с фронтов. Иногда Фучик давал стихи чешских поэтов. В специальном номере, посвященном Всеславянскому съезду в Москве, он поместил отрывки из стихотворения Неруды «Только вперед!», в майском номере — боевое стихотворение Сладека «Кто не с нами, тот против нас». С лета 1941 года газета выходила тиражом до 20 тысяч экземпляров, печаталась в ряде самостоятельных, тщательно законспирированных нелегальных типографий — на гектографах, стеклографах и на типографских станках, распространялась не только среди коммунистов, но и беспартийных. Газета проходила через множество рук, вселяя уверенность в победу Советского Союза и Красной Армии, оставляя глубокий след в душе и помогая ковать невидимое единство народа. Ее сохраняли в течение всех лет оккупации, зачитывали до дыр. Иногда Юлиус так изобретательно оформлял титульную страницу, что она выглядела как совсем невинная брошюра. На самом деле, кто мог подумать, что «Сборник народных спектаклей для любителей — Й.В. Крыса: „Кулек“, комедия в трех действиях» не имеет ничего общего с театром, а руководство по «кормлению кроликов», изданное «Союзом кролиководов в Млада-Болеславе», дело рук не ветеринаров, а редактора «Руде право».

Члены Центрального Комитета встречались у Высушилов. Их приветливая квартира находилась в многоэтажном доме на Панкраце, в нескольких шагах от романтических садов Езерки. Йозеф Высушил был мелким служащим на железной дороге. В первую мировую войну его взяли в солдаты. Через несколько недель он вернулся с фронта с раздробленным коленом и навсегда остался калекой. Он познакомился с Марией в лазарете

в Брно, где она была сиделкой. Мария была старше его на восемь лет, и в ее отношении к нему навсегда осталось что-то покровительственное, материнское. Они немного смешно называли друг друга «мамочкой» я «папочкой», и никому не могло прийти в голову, что эти старомодные, смешные люди замешаны в чем-то запретном, что в их квартире устраивают собрания и ночуют люди, за головы которых гестапо сулило полумиллионное вознаграждение. Покачивая «оцененной» головой, Фучик шутил:

— Если бы вы знали, как мне обидно за то, что нас так мало ценят. Ведь мы причиняем им ущерб гораздо больший. Правда, они этого не знают.

Рядом с Высушилами жили молодожены Елинеки. Он был трамвайщиком, она служанкой. Молодые очень любили друг друга. Йозеф много лет работал в партии и в Союзе друзей СССР. Мария, молодая девушка, прежде была верующей. Под влиянием мужа она быстро освободилась от религиозных предрассудков среды, в которой она воспитывалась, охотно и как-то незаметно помогала везде и всюду, где требовалась ее помощь.

В один из сентябрьских вечеров перед новьш пятиэтажным домом на тихой улице неподалеку от Ольшанского кладбища остановились двое прохожих — пожилой хромающий мужчина с черной бородой и молодая девушка.

— Мы пришли, — тихо сказала девушка. Мужчина молча кивнул.

Они поднялись по узкой лестнице. Позвонили на четвертом этаже у двери с табличкой «Владимир Врана».

Щелкнул замок, дверь открылась, и они вошли в узкую темную прихожую. Вспыхнула электрическая лампочка.

— Юла! — е радостным удивлением воскликнула молодая высокая женщина, порывисто протягивая вошедшему обе руки. — Здравствуй! Как живешь? Я и не предполагала, что это будешь ты… — Оживленная, сияющая, по-детски счастливая неожиданной встречей, она засыпала вопросами.

Профессорское лицо человека в черном озарилось широкой улыбкой:

— Божка! Вот это встреча! Ты совсем не изменилась, все такая же… Зато я… Да… — Фучик немного помолчал. — Значит, узнала… Это плохо. Выходит, моя маска еще несовершенна…

Божену Вранову, талантливую пианистку, Фучик знал давно и довольно хорошо. Она входила в круг левой художественной интеллигенции, и с ней доводилось часто встречаться на собраниях, концертах, на выставках, премьерах спектаклей в «Дечке» («Дечка» — так с любовью называли театр «Д-34» его друзья. — *В. Ф.*) Буриана или в Освобожденном.

Встреча была счастливой случайностью. Недавно Юлиус обратился с просьбой к Елене Галковой, актрисе Национального театра, достать искусно сделанную бороду со «стабильной» сединой, так как его черная как смоль не соответствует облику пятидесятилетнего господина. Елена посвятила в свой план подругу, сказав, что придет «человек от партии».

Муж Вожены Владимир Врана, человек энергичный и целеустремленный, занимал ответственный пост в экспортном отделе одного из шкодовских военных заводов, знал много о секретных экономических и военных мероприятиях, о производственных планах и ходе их выполнения, располагал данными о ресурсах оккупантов. Он быстро и как-то легко сошелся с Юлиусом. Хотелось излить душу, поделиться переполнившим, встретить теплый, понимающий взгляд. «Через минуту у меня было ощущение, — вспоминал он, — что я разговариваю со своим старым другом, как сказал бы русский, „со своим родным“».

Встреча уже подходила к концу, и Юлиус, как бы между прочим, спросил:

— А вы как, делаете что-нибудь?

Врана рассказал Фучику о своей работе до февраля 1941 года и прямо сказал, что он и его жена хотели бы включиться в подпольную работу.

Здесь, на Виноградах, в комфортабельном районе, где поселились десятки немецких офицеров и чиновников, Фучик и его друзья чувствовали себя в наибольшей безопасности. Эта явка хранилась в тайне даже от близких товарищей. Совещания проводились один раз в месяц, позднее — раз в две недели — всегда в воскресенье. Фучик приходил в субботу, а Зика и Черный, которых Врановы знали как Ольджиха и Карела, появлялись в воскресенье рано утром. Соблюдая правила строгой конспирации, все трое приходили в сопровождении только одного связного.

Внешне Врановы вели себя так, словно ничего в их жизни не изменилось. Посещали друзей, театры и рестораны, соблюдали старые домашние привычки. Фучику и его друзьям приятно было быть здесь. Это были молодые люди, и после дискуссий, редактирования газет и листовок они отдыхали и веселились так, как только способны люди с открытым, щедрым сердцем. Своим неисчерпаемым запасом тонких шуток и анекдотов, остроумием Черный мог даже поспорить с Фучиком. Вожена могла приготовить знаменитые «топинки» (поджаренный, натертый чесноком черный хлеб. — *В. Ф.*), поиграть на пианино. Юлиус знал слабую струнку каждого и умел незлобно подшучивать.

«Я в жизни не встречал таких духовно красивых, настоящих и искренних людей, — вспоминал Врана, — как те, кто окружал Юлиуса Фучика в годы борьбы против фашистских захватчиков».

Как-то вечером Врана уезжал в командировку в Берлин. Дирекция шкодовских заводов поручила ему вести с болгарской военной миссией переговоры о поставках оружия и взять в штабе верховного командования нацистской армии секретный приказ, касающийся Шкодовки. Пока Фучик рассматривал модель танка, Врана зарядил фотоаппарат. Через несколько минут снимок был готов. Фучик решил проводить Врану до трамвайной остановки.

Была морозная ночь. Они спешили.

Внезапно Фучик остановился. Он показал на пакет с танком, который держал в руке, и засмеялся:

— Представляешь, Враничек, как я напишу об этом после войны… Два подпольщика, за головы которых гестапо заплатило бы золотом, идут ночью по улице. Один несет подарок фашистскому главарю, а второй — доверенное лицо оружейного комбината, только что сняв копии с секретных документов, торопится на совещание в нацистский генеральный штаб… Неплохо, а?

По возвращении из Берлина Врана сообщил Центральному Комитету важную новость. Верховное командование нацистской армии отдало дирекции шкодовских заводов секретное распоряжение: при производстве крупнокалиберных береговых орудий, заказанных Швецией, руководствоваться немецкой документацией. Берлин намеревался воспрепятствовать отправке оружия, но, разумеется, в последний момент, дабы Швеция преждевременно не прекратила поставки стратегического сырья. Фучик внимательно выслушал известие и обещал «нажать педали».

После войны Владимир Врана узнал, что нацистам этот номер не удался. Швеция настояла на отправке заказанных ею орудий.

Вторым связным Фучика был Ярослав Клецан, по кличке Мирен, человек, сыгравший роковую роль в судьбе многих людей, включая самого Фучика. Мирек был высок ростом, энергичен, пылок. Своим друзьям он импонировал смелостью и врожденным интеллектом. За его спиной было уже многое. В тридцатые годы он неоднократно подвергался полицейским преследованиям, в тридцать седьмом сражался в интербригаде в Испании. После падения Испанской республики вместе с другими добровольцами был интернирован во Францию, сидел в концлагере. После нападения фашистской Германии на Советский Союз он вызвался на работы в рейх. Так он попал в Саксонию, где работал

подручным монтером на машиностроительном заводе близ Лейпцига. Через четыре месяца Мирек бежал. Ему удалось скрыться от преследователей, тайком перейти границу, с помощью друга, с которым они вместе сражались в интербригаде, он установил связь с Милошем Красным. Милош привлек Мирека к подпольной работе. Это случилось как раз в то время, когда ЦК поручил Фучику организовать среди интеллигенции группы сопротивления. Творческие работники, деятели культуры хорошо знали Фучика, и поэтому отпала необходимость личного общения с ними. Было решено действовать через связного, и выбор пал на Мирека. Так он стал посредником между Фучиком и Любомиром Лингартом, который по поручению партии организовывал подпольные ячейки среди писателей и художников, принимал участие в создании Национально-революционного комитета чешской интеллигенции. Мирен проявил себя с лучшей стороны, поэтому его постепенно вводили в курс всех дел, связанных с работой среди интеллигенции. Его сделали связным между Фучиком и группой врачей, которая с первых дней оккупации проводила под руководством Милоша Недведа большую работу.

В конце октября на квартире у Высушилов Фучик познакомил Мирека с Лидой и сказал, что теперь они будут работать вместе.

— Было бы хорошо, если бы вы притворились влюбленными, — посоветовал им Юлиус, — тогда ваши встречи будут меньше вызывать подозрений.

Мирeку Лида понравилась с первого взгляда, и он пошутил:

— Может, нам и не нужно будет притворяться, кто знает?

Когда они расходились после долгой дружеской беседы, Фучик улыбнулся в усы:

— Кажется, эта пара отлично справится со своей ролью.

И действительно, дружба между Мирeком и Лидой вскоре переросла в любовь. В этом молодом человеке Лида видела олицетворение отваги, мужества, опыта и кругозора, да и он умел так интересно рассказывать о своей работе.

Как и ранее, преданным другом и помощником была Густа. Она переехала из Хотимержа в Прагу, устроилась работать в одной из маленьких косметических фирм, и хотя гестапо держало ее «на прицеле», она умудрялась довольно часто встречаться с Юлиусом. Она выполняла его поручения и сама приносила важные сведения военного характера, полученные от врача Курта Глазера, у которого был друг в информационном отделе Генерального штаба.

Антифашистская кампания, предпринятая Центральным Комитетом в конце лета 1941 года, была одним из крупнейших пропагандистских мероприятий партии в годы оккупации. В

народе ходило огромное множество нелегальных брошюр, листовок, газет. По данным гестапо, количество захваченной коммунистической печати по сравнению с июнем 1941 года возросло в июле в 10, а в октябре того же года почти в 30 раз. Пражское гестапо доносило своему берлинскому начальству: «Подрывные элементы так обнаглели, что раздают листовки на центральных улицах».

На стенах домов, на заборах все чаще стали появляться антифашистские лозунги. Увеличивалось число саботажей и забастовок. Бастовали Колбенка, смиховская Рингхоферовка, градецкая Шкодовка, текстильные предприятия в Находе, шахтеры Кладно, строительные рабочие в Витковицах. Крупная забастовка вспыхнула на авиационном заводе Вальтера, где две тысячи рабочих прекратили работу, требуя повышения заработной платы и увеличения продовольственного пайка. Участились перебои на транспорте, случаи уничтожения зерна.

В сентябрьском номере «Руде право» Фучик поместил передовую статью «Нужна действовать». Его пламенные слова вселяли в людей веру в победу Советского Союза над фашизмом, в победу патриотических сил в Чехословакии, ободряли упавших духом, звали борцов на подвиг:

«Нужно действовать. Одной ненависти к врагу и симпатии к Советскому Союзу мало… От пассивного сопротивления — к активной борьбе миллионов — таков наш лозунг, таково должно быть содержание нашей борьбы на этом новом этапе… Станем же, наконец, активными помощниками Красной Армии!»

В конце сентября 1941 года Берлин направил в Прагу Гейдриха. Специальным указом фюрера «исполняющим обязанности имперского протектора Чехии и Моравии» на время «болезни» протектора барона фон Нейрата был назначен человек не просто исполнительный. «Это был один из лучших национал-социалистов, один из убежденнейших поборников германской имперской идеи, гроза всех врагов нашей империи», — говорил о нем Гитлер, и эти слова не были слишком пристрастными и преувеличенными. Рейнгард Гейдрих, бывший флотский старший лейтенант, соединил в 27 лет свою судьбу с нацистским движением и с его вооруженной гвардией — СС. С головокружительной быстротой он прошел путь от рядового члена небольшого отряда СС в Гамбурге до шефа Главного управления имперской безопасности, центра, которому было подчинено все: и гестапо, и уголовная полиция, и другие службы. Он особо приглянулся фюреру в «ночь длинных ножей», когда действовал так вероломно и жестоко, что даже многие видавшие

виды ветераны нацизма стали его побаиваться и произносить его имя шепотом.

В Прагу Гейдрих прибывает 28 сентября, в день святого Вацлава. И день выбрал этот не случайно. Почерк нового протектора виден во всем. Вдоль почетного караула вермахта, СС и полиции на Градчанской площади пружинисто шагает высокий и стройный генерал. Левая его рука сжимает шпагу, правая, поднятая для приветствия, простерта к крамольному и таинственному городу, где он должен «навести порядок». В конце первой шеренги Гейдрих неожиданно остановился и решительно направился к парадному входу в Град. Тех, кто стоял во второй шеренге, генерал удостоил только презрительным взглядом. Чешское правительство? А что им, собственно, здесь надо? Кому это пришло в голову ставить их рядом с немцами из рейха? Нет, с этими пережитками дипломатических церемоний, которые терпел Нейрат, пора кончать.

Уже на следующий день в стране вводится осадное положение. Теперь «любые действия, ведущие к нарушению общественного порядка и хозяйственной жизни», «хранение оружия» и «проведение любых собраний» караются смертными приговорами. А они следуют один за другим. Казнены тысячи чешских патриотов, коммунистов. Преследованиям подверглись даже те, кто не имел ничего общего с движением Сопротивления. Премьер-министр протектората генерал Элиаш арестован по обвинению в «государственной измене» и предан немецкому суду. Пусть же поймут наконец представители коллаборационистской чешской буржуазии, что Берлин не намерен делить с ними экономическую и политическую власть в этой стране. В это время нацистам казалось, что войну с Россией они уже выиграли и можно начинать перед доверенными лицами раскрывать свои карты, приступать к полной германизации «чешского пространства».

«Эта территория раз и навсегда должна быть заселена немцами», — под гром аплодисментов заявил перед избранными слушателями Гейдрих в зале заседаний Чернинского дворца. В начале октября Гейдрих изложил уже не в общих чертах, а в деталях свою программу превращения протектората в «боевое пространство», где должна осуществляться «борьба против любого проявления чешской самостоятельности», потому что «чех — это славянин». Тем, кто способен к онемечению, найдется работа в рейхе, откуда они уже не вернутся. Тех, кто не способен к онемечению, «придется поставить к стенке…».

Эти «откровения» не предназначались для широкой публики, рейху нужна была квалифицированная рабочая сила здесь, в

протекторате, превращенном в оружейную мастерскую Европы. Нацистская оккупационная политика по отношению к чешскому населению строилась на хитроумном сочетании террора и тактических маневров, создающих иллюзию порядка. «Все мероприятия, могущие вызвать возмущение, вменяйте в обязанность проводить самим чехам, — приказывал Гейдрих. — Немцам же вменяйте в обязанность осуществлять то, что может вызвать одобрение!»

Свой голос подал миллиардер, обувщик Ян Батя, самая крупная фигура на чехословацком капиталистическом Олимпе, брат погибшего в 1932 году Томаша Бати, основателя обувной фабрики. Тот самый Батя, кто в июне 1936 года обращался в областной суд в городе Угерске Градиште с жалобой на Фучика и возбудил против него «дело» за распространение коммунистических листовок. Он представил Герингу план переселения чехов в патагонские пустыни Южной Америки. В комментариях к проекту Батя писал: «С переселением чехов исчезнет дух взаимной неприязни между немецким и чешским народами. Чехословакия мешает немцам, и сам Геринг мне сказал, что мы живем на немецком подворье, что мы должны это осознать и соответственно поступать. Я убежден, что это и есть способ, с помощью которого сапожник Батя сможет войти в историю немецкого и чешского народов как инициатор нового движения мирового переустройства и умиротворения. Покуда чешский народ будет оставаться здесь, он будет болячкой на немецком теле» (Ян Батя был после войны заочно осужден как военный преступник, умер в 1965 году в Латинской Америке. — *В. Ф.*).

В сентябре 1941 года лозунгом дня стал бойкот профашистских газет. Население перестало покупать их, что привело в ужас журналистов, сотрудничавших с нацистами. В их адрес Фучик писал в октябрьском номере «Руде право»: «Эти мерзавцы действительно прилагают все усилия, чтобы чешский народ погиб. А потому и пытались они отнять у него его газеты. Вот почему газету „Ческе слово“ они превратили в „Слово Геббельса“, „Народни политика“ — в „Политику Геббельса“, „Праце лиду“ — в „Работу на Геббельса“. Но чешский народ не погибнет: у него есть свои газеты! Они создаются в подполье, их пишут и печатают с риском для жизни, в неимоверно тяжелых условиях. Они, быть может, не блещут внешней красотой, но никто не усомнится в их правдивости. Поэтому наш народ читает их, любит и распространяет. Это его газеты». Бойкот был успешно проведен, против этого скрытого сопротивления оккупанты и их приспешники были бессильны.

Партия дала оружие рабочему классу:

Портить машины!

Саботировать!

В сентябре 1941 года производительность труда на предприятиях упала на 15–20 процентов.

На Вальтровке уже изготовлены для вермахта автомобили, которые проехали только 60 километров, полагающихся при приемке. С брненской Зброевки выпущены такие бомбовозы, которые едва выдерживают даже свой собственный вес. На Восточном фронте красноармейцы нашли неразорвавшиеся снаряды, начиненные песком. И в них листовки, написанные по-русски рукой шкодовских рабочих: «Делаем что можем. Братья чехи». Нацистская пропаганда доказывала, что все это как укусы комара. Фучик пишет в ноябрьском номере «Руде право» в статье «Сообща, организованно и упорно добиваться победы», что если каждый чех ежедневно повсюду, где только возможно, ужалит фашистского зверя, то пребывание оккупантов превратится в настоящий ад:

«Если каждый день 70 тысяч чешских железнодорожников „ужалят“, подсыпав в подшипники только пару песчинок, то ежедневно будут выведены из строя 70 тысяч вагонов и паровозов… Если каждый из миллиона чешских оружейников ежедневно станет выпускать на один винтик меньше, то это составит миллионы винтовок, которых будет недоставать гитлеровской военной машине».

Продолжали поступать тревожные вести с Восточного фронта. Нацистская пропаганда утверждала, что со дня на день падет Москва. Захват столицы представлялся фашистам завершающей ступенькой ко всеобщему владычеству. Руководитель нацистской прессы Дитрих сообщил иностранным журналистам, аккредитованным в Берлине, о подробностях парада нацистских войск, назначенного на 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве, и даже раздал пропуска на трибуны. Новость о разгроме немцев под Москвой преобразила чехов, озарила все радостными надеждами, воодушевила движение Сопротивления.

В специальном выпуске «Руде право» Фучик опубликовал «Наше приветствие Красной Армии»:

«Герои Красной Армии! Мы приветствуем вас из глубокого подполья… Мы знали, что придет час, когда вы сумеете разбить машину мирового фашизма. Час этот настал. Мы понимали, что это должно было означать и для нас, ибо антигитлеровский фронт проходит и по нашей земле».

Нацисты почувствовали, что после разгрома их войск под Москвой в стране усилились антифашистские настроения, и они

предприняли демарш. В начале 1942 года по личному указанию Геббельса в Праге была открыта большая выставка «Советский рай».

Организаторы выставки хотели показать, что «Советская Россия, — как утверждалось в пояснительных текстах к экспонатам, — направила все свои ресурсы на вооружение, чтобы завоевать Европу и уничтожить нашу цивилизацию» и что в результате этого советское общество — это «общество отсталости и нищеты». Выставка должна была подорвать веру чехов в Красную Армию.

Сюда на автобусах, грузовиках, специально выделенных трамваях сгоняли людей из учреждений и заводов. Нацисты совсем не понимали чехов. Ну, само собой разумеется, они целый день толпились перед витриной. Фучик на этой выставке не был, но не упустил случая посмотреть на экспонат № 1 — советский танк, выставленный в огромной витрине торгового дома на улице 28 Октября. Здесь постоянно толпились зрители и многозначительно переглядывались, перешептывались. Да, неудивительно, думали они, что с таким оружием советские солдаты разгромили фашистов под Москвой. По поручению Фучика его друзья уже побывали на выставке, й теперь у него было полное представление об этой геббельсовской пропагандистской акции.

Вместе с Брунцликом он написал и издал брошюру «Путеводитель по выставке», Чтобы более прицельно обрушить удар по выставке, Фучик каждый из разделов построил на прямом сопоставлении пояснительных текстов к экспонатам со сведениями, взятыми из информационного сборника «Изучай Россию», изданного в Германии в 1939 году. От утверждений нацистов не оставалось камня на камне. В 1938 году расходы по бюджету Советского Союза на культурные нужды превышали расходы на оборону в 1,5 раза, на хозяйственное строительство — в 2,5 раза. Это бюджет мирной страны. Жизнь наглядно показала, кто в действительности враг цивилизации — нацистская Германия, провозгласившая лозунг: «Пушки вместо масла!» А оружие Красной Армии несет и принесет освобождение народам. Фучик уличил организаторов выставки в том, что они в своей фальсификации дошли до того, что привели в ряде случаев цифровые данные 1913 года. Гитлеровский режим как огня боялся правды.

Что касается представленного на выставке советского оружия, то Фучик расценил это как «исключительно удачную легальную агитацию за Советский Союз и Красную Армию». «Выставка, — писал Фучик, — вызывает у зрителей восхищение и уверенность в

том, что нацисты погибнут от оружия Красной Армии».

Вскоре опомнились и сами организаторы выставки. Карл Франк сказал, что народу со швейковскими традициями никак не следовало присылать такую выставку — «ведь он сделает из нее выводы, совершенно противоположные тем, каких мы добиваемся».

Под редакцией Фучика подпольно издается Конституция Советского Союза, выпускается второе издание «Истории ВКП(б)». В специальном выпуске «Руде право» он опубликовал статью «Под знаменем коммунизма». По силе воздействия она считается лучшей статьей подпольной печати.

В ней Фучик сконцентрировал те мысли, которыми жил всю свою сознательную жизнь, высказал вслух то, что было давно выстрадано, выношено и обговорено стократно:

«Мы, коммунисты, любим жизнь. Поэтому мы не колеблемся, когда нужно пожертвовать собственной жизнью для того, чтобы пробить и расчистить дорогу настоящей, свободной, полнокровной и радостной жизни, заслуживающей этого названия. Жить на коленях, в оковах, порабощенными и эксплуатируемыми — это не жизнь, а прозябание, недостойное человека.

Мы, коммунисты, любим людей! Ничто человеческое нам не чуждо, мы ценим самые маленькие человеческие радости, умеем им радоваться. Именно поэтому мы не колеблемся в любой момент поступиться своими личными интересами для того, чтобы добыть место под солнцем для настоящего, свободного, здорового, радостного человека, не отданного на произвол анархического „порядка“ эксплуататоров с его ужасами войн и безработицы…

Мы, коммунисты, любим мир. Поэтому мы сражаемся. Сражаемся со всем, что порождает войну, сражаемся за такое устройство общества, где уже никогда не смог бы появиться преступник, который ради выгод кучки людей посылает сотни миллионов на смерть, в бешеное неистовство войны, на уничтожение ценностей, нужных живым людям…»

КПЧ стремилась выйти на как можно более широкие массы населения, вовлечь в борьбу и тех, кто в душе был настроен против оккупантов, но стоял в стороне, выжидал. Эти люди могут послушать лондонские передачи, но взять в руки «Руде право» они не решались — для них эта газета была слишком революционной. Для этой категории читателей стала издаваться ежемесячная газета «Ческе новины» («Чешская газета»). Название Фучик заимствовал у Гавличека. Для каждого чеха она была еще в прошлом веке символом борьбы за национальное освобождение. В

первом номере Фучик написал передовую «Счастливого и веселого Нового года!», закончив ее словами: «С заснеженных русских равнин уже подул весенний ветер свободы. Его дыхание чувствуется повсюду».

Как опытный журналист и пропагандист, он хорошо понимал, что для работы среди людей необходима не только серьезная информация, но и сатирические издания, которые помогали бы разить врага оружием смеха. Меткое слово — это пуля, это меч. После утверждения ЦК он начал выпускать сатирический журнал «Трнавечек» («Колючка») форматом в одну восьмую листа. В нем помещались карикатуры, эпиграммы, различные антифашистские анекдоты, схваченные на улице или придуманные им самим.

В январе Фучик начал издавать журнал «Табор», напоминая о гуситских традициях, призывал к решительной борьбе против оккупантов. Журнал открывался словами военной песни таборитов, а второй номер — цитатой из письма Яна Жижки: «Собираем народ со всех сторон против врагов и губителей земли чешской. Посему поднимайтесь и вы, в любой час да будут на ногах все — и стар и млад!»

Фучик метко и беспощадно высмеивал философию обывателей, действовавших по принципу «моя хата е краю». Такой гражданин тоже страдает от оккупации, устал от запаха крови, даже от ожидания перемен и то устал. Он восхищается подвигами Красной Армии, но сам аккуратно работает на оккупантов. Вечером, в семейном кругу, за чашечкой кофе он умно и красиво говорит о добре, а днем служит злу. Фучик с болью узнал о том, что дорогой ему завод «Шкода» не только выполнил продиктованный нацистами годовой план производства вооружений, но перевыполнил на целых десять процентов. Это пуще болезни подтачивало силы, и он обратился с призывом:

— Так что же, гражданин, дальше? Перед тобой два пути: или ты станешь настоящим гражданином, как подавляющая часть народа, или ты навсегда поставишь себя вне народа. Думай, решай скорее! Само собой ничто не приходит!

Прочитав статью, Зика похвалил ее, но высказал замечание, сводящееся к тому, не слишком ли резко в ней выражена правильная мысль?

Фучик отпарировал:

— У Ленина есть прекрасные слова: раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим

господином, есть холоп, хам.

Фучик изумлял своих друзей все новыми и новыми идеями и задумками и побуждал к тому, чтобы побыстрее их осуществить. К 8 Марта он выпустил журнал для женщин, в передовой статье которого было использовано стихотворение Вожены Немцовой «Поднимайтесь, женщины!». Журнал призывал женщин к борьбе против Гитлера. С таким же обращением он выступил в журнале для молодежи «Впршед!» («Вперед!»), начавшем выходить в апреле 1942 года.

Готовя первомайский номер «Руде право», Фучик на первой полосе нарисовал руку, ломающую фашистскую свастику. Это был последний номер газеты, подготовленный им. В мае после долгого перерыва должна была выйти «Творба» как орган чешской антифашистской интеллигенции. Фучику хотелось, чтобы газета, которую он любил, не была забыта, чтобы она снова возвысила свой боевой и мужественный голос. Как только его предложение было одобрено Центральным Комитетом, он горячо взялся за подготовку первого номера, написал передовую, собрал ценный материал, среди которого были статьи Владислава Ванчуры, Ганы Грегоровой, Ивана Галека и других, Но этой газете не суждено было увидеть свет.

РЕПОРТАЖ С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ

Пусть песня получилась коротка —
Она могла быть не такою длинной.
Любовь людей и боль их велика,
Но ей достаточно строки единой.

Ян Неруда

Вечером 24 апреля 1942 года комиссар Вём из антикоммунистического отделения пражского гестапо, имеющий репутацию самого удачливого чиновника в этом заведении, чувствовал себя самым несчастным человеком на свете. Профессиональная честь унтерштурмфюрера была серьезно задета: расставленные загодя с такой старательностью сети оказались пусты. Все началось с того, что осенью 1941 года шпик на заводе «Юнкере» нашел в одном из цехов подпольную коммунистическую листовку и отнес ее в гестапо. Туда немедленно был направлен платный агент Вацлав Дворжак. Его устроили механиком в цехе, где была найдена листовка. Для маскировки и завоевания доверия рабочих провокатору было разрешено заниматься саботажем, ругать оккупантов и симулировать горячий симпатии к Советскому Союзу. На него обратили внимание руководители заводской партийной ячейки, ему стали давать читать подпольные газеты и листовки, которые он ночью относил в гестапо, где их фотографировали. Он втерся в доверие к руководителю партийной ячейки Йозефу Бартоню, который не только рекомендовал Дворжака в партию, но и познакомил его с Елинеком. Так квартира Елинеков попала в поле зрения гестапо, хотя не из-за основной подпольной работы, успешно проводимой здесь в течение вот уже двух лет. Дворжак успешно разыгрывал из себя подпольщика, стосковавшегося по настоящей боевой работе, и просил познакомить его с «товарищем из руководства партии». Елинек стал играть роль посредника, чтобы познакомить его с Яном Выскочилом. После многочисленных проверок и оттяжек Ян согласился все же встретиться с Дворжаком. В этот роковой день, двадцать четвертого апреля, в кинотеатре на Мичанах должна была

состояться встреча. Ждали десять минут, двадцать, полчаса — а он не явился.

Бём не мог знать, что Ян увидел из окна мансарды, где он скрывался, подозрительную машину, остановившуюся, по чистой случайности, перед домом. Из машины вышел высокий мужчина с девушкой (это был Бём со своей секретаршей), но они не позвонили у калитки, а пошли по направлению к кинотеатру, где через несколько минут он должен был встретиться с Дворжаком. Это внушало подозрения, и он решил остаться дома, не рисковать.

— Неужели нельзя ничего придумать? — прикидывал Бём. — И быстро, быстро! Да быть такого не может, чтобы он ничего не придумал и его провели вокруг пальца. Если Дворжак ведет двойную игру, ему придется дорого расплачиваться. Надо проучить его немедленно, сейчас же, сию минуту!

Струхнувший провокатор предложил арестовать Единена в его квартире, что, мол, внесет ясность в это запутанное дело. Предложение понравилось, и было решено в ту же ночь арестовать всех членов партийной ячейки на заводе «Юнкере». В течение нескольких часов были арестованы и отвезены на допрос во дворец Печека товарищ Бартонь и другие члены его группы.

Успех окрылил Бёма, и он тотчас отправился на Панкрац за Йозефом Елинеком, арест которого намечался на другой день.

Через полчаса Бём с пистолетом в руке, окруженный восемью вооруженными молодчиками, стоял у дверей квартиры Елинека. Через сорванную с петель входную дверь гестаповцы врываются в квартиру. Дула пистолетов нацелены на двух женщин и трех безоружных мужчин: Йозефа и Марию Елинеков, супругов Фридов и Мирека.

Неожиданно из-за дверей, прихрамывая, выходит пожилой мужчина с черной бородой. Он останавливается перед удивленными гестаповцами и медленно поднимает руки вверх.

Бём, не предполагавший в ту минуту, что перед ним стоит Юлиус Фучик, встречает его пощечиной.

— А-а, еще один!

Начинается обыск. В глазах хозяйки мелькнул испуг, когда она увидела, как гестаповцы за пять минут перевернули вверх дном ее образцовую квартирку. Она медленно повернула голову к мужу и спросила:

— Пепик (Пепик — уменьшительное от Йозеф. — *В. Ф.*), что же теперь будет?

Муж всегда был немногословен, и теперь он ответил спокойно и коротко:

— Пойдем на смерть, Маня.

Бём, расставив длинные ноги, стоял посреди комнаты, слегка покачиваясь с носка на каблук, и с усмешкой поглядывал на два пистолета, которые еще минуту назад лежали у Фучика в кармане черного демисезонного пальто. Настроение у него улучшилось. Провал в кинотеатре неожиданно обернулся таким успехом. Выуживали одного, а попались в сеть сразу шестеро. Мужчина с бородкой начинал его интересовать все больше и больше. Кто он? Почему он не стрелял? Считал бесчестным стрелять в спину или опасался, как бы во время перестрелки не пострадали его друзья? Быть может, от него идут нити к руководству партии?

В полицейской машине Бём забрасывает Фучика вопросами:

— Ты кто такой?

— Учитель Горак.

— Врешь!

Фучик молча пожимает плечами. Снова вопросы, угрозы, удары. У Фучика начинает стучать в висках. Вскоре машина въезжает в проезд дворца Печека. Огромное здание, принадлежащее ранее фабриканту и владельцу шахт, внушало людям суеверный страх. Это голгофа чешского народа, резиденция гестапо, серое каменное здание, похожее на уродливую крепость в центре Праги. Лабиринт темных коридоров, на окнах кованые решетки, тусклый свет, деревянные панели, вереницы дверей кремового цвета. Бём гонит Фучика на пятый этаж. Часы длинного костлявого комиссара показывают одиннадцать, когда они вошли в кабинет начальника антикоммунистического отделения Лаймера. Началась самая длинная ночь в жизни Фучика. Кровавый допрос. Гестаповцы быстро установили, что удостоверение личности фальшивое, а через час долговязый Бём, весело улыбаясь, входит в кабинет.

— Все в порядке… господин редактор?

Кто бы мог подумать, что первый час допроса, первые побои сломают Мирека, этого отважного и боевого парня, опаленного огнем войны?

На очной ставке Фучик с презрением посмотрел на Клепана. Тот назвал свое имя и сказал, что бородатый — это Фучик, член ЦК, а он, Клецан, действовал лишь по его приказу. Его нельзя было узнать. Трусливо блуждающий, полубезумный взгляд, безвольно опущенные плечи, трясущиеся колени. В какую минуту произошло его падение? Или это всего лишь желание спасти свою молодую жизнь, выкарабкаться любым путем из трясины? Но и это ведь не менее страшно. Если и был у него в душе стержень, то не железный, а резиновый.

— Клянусь, Юла, мне сказали, тебя уже нет… Я не искал спасения, хотел одного — чтобы скорее оставили в покое… чтобы

скорее убили.

Скрывая боль и отвращение, Фучик принял гордую позу.

— Ну что же, раз вы теперь знаете, что я Фучик — пожалуйста!

Допрос продолжался, но допрашивали теперь не сомнительного учителя Горака, а редактора ненавистной «Руде право», человека из руководящего подпольного центра партии. В картотеке, переданной нацистам чешской полицией, содержались сведения о нем на тридцати трех страницах. Там значилось, что во времена буржуазной республики Фучик был редактором «Руде право» и «Творбы», дважды нелегально ездил в Советский Союз, за что неоднократно приговаривался к тюремному заключению.

Допрашивали Лаймер, Фридрих, Зандер, Дюмихен, доктор Ганс и Каллус. Особенно отличились Фридрих и Зандер, слывшие в гестапо особенно беспощадными врагами коммунистов и носившие черно-бело-красные ленточки «За заслуги в борьбе с внутренним врагом».

Фридрих сказал, что собственноручно забил насмерть уже восемь человек — сломит и бородатого. Это был поджарый, смуглолицый субъект со злыми глазами и злой усмешкой. В Чехословакию он приехал еще в 1937 году как агент гестапо и участвовал в убийствах немецких антифашистов-эмигрантов.

Арестованная в эту же ночь Густа стала свидетельницей страшной сцены:

«Вдруг дверь снова резко распахнулась, и я увидела… Юлека! За ним шел высокий гестаповец с бледным, костлявым лицом. Он подгонял Юлека палкой. Юлек был бос, его ступни оставляли на плитах пола кровавые следы, кровь шла у него из носа, изо рта, кровь стекала по вискам. Гестаповец пытался поставить Юлека подальше от остальных заключенных, в угол, лицом к стене. Но Юлек, словно не чувствуя ударов, шел медленно, с высоко поднятой головой, и встал он не лицом к стене, а повернулся к нам и смотрел на нас. Мы смотрели на него с удивлением — и невольно сами подняли головы. Гестаповцы остолбенели от удивления: заключенный не подчинился их воле! В его глазах не было выражения покорности! На гестаповцев он смотрел гордо, с презрением, на нас всех — с любовью, словно старался передать нам свою несокрушимую волю. Среди вооруженных врагов он стоял не как побежденный и беспомощный, а как победитель. Его глаза говорили мне: да, его могут убить, но нет такой силы, которая способна убить идею, за которую он боролся и страдал, наше дело правое, победа будет за великой бессмертной идеей социализма, за Советским Союзом и всеми теми, кто сражается с ним плечом к плечу».

Ночь уже кончается, пять часов, шесть, семь, десять, полдень, все происходит как во сне, тяжелом, лихорадочном сне. Сыплются удары, льется вода, потом снова удары и снова:

— Кто еще входит в состав ЦК?

— Где явки, где типографии?

— Говори! Говори! Говори!

— Я готов к мучительной смерти. Спрашивайте меня о Советском Союзе, о том, как будет устроен мир в будущем, и я вам буду говорить об этом сколько хотите.

Не раз перед тем, как снова и снова потерять сознание, Фучик чувствовал: еще один удар, вздох — и конец. «А ведь я еще надеялся, — пронеслось у него в голове, — что еще поживу свободной жизнью, буду много работать, много любить, много петь и бродить по свету. Ведь я только сейчас достиг зрелости. Но раз уж я погибаю, пусть мое имя ни в ком не вызывает печали. Жил я для радости, умираю за нее, и было бы несправедливо поставить на моей могиле ангела скорби».

Но спасительница смерть не слышала его зова. И вдруг издалека, из какой-то бесконечной дали, он слышит тихий голос:

— Уже готов!

В панкрацкой тюрьме давно уже царила ночная тишина, когда перед главными воротами остановилась закрытая машина. Часовой у входа, одетый в черную форму, распахнул скрипучие створки.

— Еще один, — равнодушно произносит человек в машине. — Говорят, со вчерашнего дня в работе…

Подбегает плечистый надзиратель с двумя коридорными. Они открывают заднюю дверцу машины и в свете фонаря видят силуэт носилок и фигуру человека, неподвижно лежащего на них.

Надзиратель Колинский читает направление: «Фучик — Горак. Камера № 267». Затем его взгляд останавливается на арестованном, которого солдаты не спеша несут по темному коридору.

«Здорово они его отделали», — думает он, глядя на распухшее лицо, похожее на маску из застывшего воска, обрамленное черной бородой, слипшейся от крови и грязи. Левая рука заключенного безжизненно свисает с носилок. На нем одна рубаха, грязные лохмотья которой обнажают тело, покрытое свежими, кровоточащими ранами. Человек прикрыт пиджаком, сверху положена круглая шляпа. Процессия поднимается на второй этаж. Носилки покачиваются, безжизненная рука ударяется о ступени. «Есть ли смысл тащить его сюда? Жив ли он?» — думает надзиратель и смотрит, как черная шляпа падает от толчка и катится по лестнице, подпрыгивая, словно мяч.

Тюремный фельдшер Вайснер с минуту внимательно смотрит на носилки, а затем обращается к надзирателю:

— До утра не доживет. Зайди немного погодя — отнесешь его в морг. Меня не буди. Свидетельство о смерти я оформлю сейчас.

На следующий день среди надзирателей разнесся слух о том, что ночью привезли какого-то таинственного, замаскированного человека, главаря красных.

Проходит два дня. Все это время заключенный не приходил в себя. Он метался в бреду на тощей, пропитанной потом соломенной подстилке, стонал от боли…

Только в понедельник вечером на секунду поднял опухшие веки и попросил воды.

Словно в тумане видит он над собой двух человек.

— Один из них наклоняется, ласковой рукой приподнимает его голову, и в разбитый рот течет холодная вода. Но слабое сознание опять угасает, и узник снова погружается во мглу.

— Парень, ты бы поел чего-нибудь. Вот уже двое суток все только пьешь да пьешь.

Это хлопочут товарищи по несчастью, соседи по камере: Карел Малец, машинист-подпольщик, и Йозеф Пешек, шестидесятилетний учитель, «папаша», брошенный в тюрьму за «заговор против Германской империи». Оказывается, он составлял проект свободной чешской школы.

Вечером на третий день узник просыпается и видит, как у его изголовья останавливается вбежавшая овчарка, а рядом с ней три гестаповца.

Допрашивающий не кричит, он терпеливо задает вопросы:

— Как долго ты жил у Баксов?

— Неужели ты не понимаешь? Все кончено. Вы проиграли. Вы все.

— Проиграл только я.

— Ты еще веришь в победу коммуны?

— Конечно.

— Он еще верит? — спрашивает по-немецки Лайнер. А долговязый гестаповец переводит:

— Он еще верит в победу России.

— Безусловно. Иного конца быть не может.

Узник теряет сознание, и допрос прекращается. Видавшие виды надзиратели переглядываются: кто же такой этот Фучик — Горак, если к нему, едва приходящему в сознание, в камеру пожаловали начальник тюрьмы Соппа, Лаймер и Бём? Колинский спрашивает об этом начальника тюрьмы, и тот нарочито громким голосом не то объявляет, не то приказывает:

— Это руководитель подпольной компартии. Теперь мы

вздохнем, не будет листовок и саботажей.

В Панкраце часто умирали люди, которые не должны были умирать, но редко случалось, чтобы воскресали из мертвых. Этим Фучик вторично привлек к себе внимание тюремщиков. Человек с «лошадиным организмом», «красный дьявол», ушедший от смерти, невольно возбуждал у них любопытство, и даже надзиратели с других этажей приходили посмотреть на него. Они молча приподнимали одеяло и с видом знатоков осматривали раны, либо отпускал циничные шутки, либо сочувственно вздыхая.

Фучик был слаб, он почти не мог двигаться, но гестаповскому начальству не терпится. Фельдшер пишет заключение «не способен к передвижению», поэтому за ним посылают машину, в которую доставляют его на носилках. Каждый толчок вызывал обморок. Но Юлиус не пал духом, не чувствовал себя побежденным. «По длинному коридору меня несут дальше к выходу. В коридоре полно людей — сегодня четверг, день, когда родным разрешается приходить за бельем арестованных. Все оборачиваются иа безрадостное шествие с носилками, во всех взглядах жалость и сострадание. Это мне не нравится. Я кладу руку над головой и сжимаю ее в кулак. Может быть, люди в коридоре увидят и поймут, что я их приветствую. Это, разумеется, наивная попытка. Но на большее я еще не способен, не хватает сил».

Вскоре он стал ходить, правда, на костылях, сильно припадая на одну ногу, но это уже не было той притворной хромотой, симулирующей в прошлом пожилого учителя. Особенно тяжело в первые дни, в первые недели и месяцы, пока не подчинил его себе тюремный быт, пока не свыкся с жизнью в камере. Семь шагов в камере, от двери, дубовой, тяжелой, окованной железом, до окна, семь шагов от окна до двери. Поперек камеры, от стены до стены — два шага, у одной стены — откидная койка, на другой — тускло-коричневая полочка с глиняной посудой. Наружная стена камеры выходит на север, и здесь почти никогда не бывает солнца. Здесь ему предстояло провести четыреста одиннадцать дней. Через несколько недель его уже ежедневно водили на допросы. Честолюбивый Бём с особым пристрастием принялся распутывать клубок «дела Фучика». Показания Мирена явились исходным материалом, который лег в основу следствия, а позднее для судебного обвинения, и как бы дали начало цепи, дальнейшие звенья которой были в руках Фучика. Мирен назвал имена десятков людей, выдал явки, помог гестаповцам арестовать целый ряд выдающихся представителей чешской интеллигенции — писателя Владислава Вачуру, критика Бедржиха Вацлавека,

искусствоведа Павела Кропачека, профессора Фельбера, скульптора Дворжака, актеров Божену Пульпанову, Индржиха Элбла — всех, кто входил или должен был войти в Национально-революционный комитет чешской интеллигенции. Он выдал также врачей, входивших в группу Милоша Недведа. Падая в пропасть, он увлекал за собой десятки других. Он выдал даже Лиду, девушку, которая искренне и горячо его любила, подтвердив, что она знала о конспиративной работе его и Фучика, помогала им.

Бём добился у шефа разрешения самому вести следствие по делу Фучика, хотя вначале предполагалось поручить это комиссару Фридриху. Он понимал, что это его крупнейшее дело, и убедил Лаймера, что только ему по силам распутать сложный клубок:

— Этот парень чертовски упрям. Тут без психологических средств воздействия не обойтись, — сказал Бём.

— Да, — согласился Лаймер, — мы жали на все педали, а он был нем как рыба. А как вы думаете, когда он заговорит у вас?

— Этого я, к сожалению, сказать не могу. До сих пор я всегда добивался результатов, но, однако, бывают исключения.

В Фучике комиссар сразу разгадал сильную личность и поэтому счел благоразумным перестраховаться.

Во дворце Печека была полуподвальная комната для подследственных, прозванная узниками «кинотеатром». Большое помещение, шесть рядов длинных скамей, а на скамьях — неподвижные люди, перед ними голая стена, похожая на экран. «Все киностудии мира не накрутили столько фильмов, сколько их спроецировали на эту стену глаза ожидавших нового допроса, новых мучений, смерти, — отмечал Фучик. — Целые биографии и мельчайшие эпизоды, фильмы о матери, о жене, о детях, разоренном очаге, о погибшей жизни, фильмы о мужественном товарище и о предательстве, о том, кому ты передал последнюю листовку, о крови, которая прольется снова, о крепком рукопожатии, которое обязывает, — фильмы, полные ужаса и решимости, ненависти и любви, сомнения и надежды».

Фучику, как всем коммунистам, дали здесь красную нарукавную повязку и держали здесь долго, час, полтора, затем на лифте поднимали на четвертый этаж, вводили в просторную комнату, на дверях которой была цифра 400. Арестованные должны были постоянно находиться у следователя под рукой — таково было назначение этой комнаты.

План Фучика состоял в том, чтобы ложными показаниями, что он был не членом Центрального Комитета, а одним из подпольщиков, имеющим связи с руководящими работниками

партии, отвлечь внимание гестапо от некоторых обстоятельств, которые могли стать роковыми для других товарищей. Лиде, мечтавшей о сцене, он шутя говорил, что здесь, в гестапо, она пройдет хорошую актерскую школу. Иногда ей было достаточно двух-трех слов, чтобы понять, о чем ей нужно говорить. Однажды перед допросом Фучик шепнул ей:

— Говори о пожилой даме.

Бём долго пытался выяснить, что за пожилая дама приходила к Фучику, считая, что она была связной ЦК.

Измена Мирека глубоко потрясла Фучика, но он не дал волю горечи и гневу и настойчиво искал случая переговорить с ним. В этом ему помог Колинский. Из всех надзирателей он сразу привлек внимание: одинокий, спокойный, осторожный. По всему было видно, что он не такой, как все. Он отличался не только тем, что носил чешскую фамилию, но и тем, что говорил с узниками только по-чешски. Обращался с ними всегда корректно, по-человечески, никогда никого не бил, ни на кого не кричал. Однажды, когда заключенные возвращались с утренней прогулки, Колинский будто бы по ошибке ввел Мирека в камеру Фучика. Так состоялся драматический разговор, содержание которого неизвестно, и можно только предположить, что Фучик не столько клеймил собеседника за предательство, сколько апеллировал к Мирeку прежних лет. В коротком разговоре он нашел единственно верные, единственно нужные слова. На первом же очередном допросе Клецан отказался от всех своих прежних показаний. Лаймер и Бём выходили из себя. Слово не воробей, и выданные им ранее люди уже арестованы, некоторые расстреляны. Но как человек, сломленный в первую же ночь, несущий на своих плечах страшно тяжелый груз, вдруг нашел в себе силы выпрямиться? Ему мстили, его ненавидели еще больше, чем тех, кто твердо держался с самого начала, — он часто возвращался с допросов с окровавленным лицом.

Бём понимал, что в лице Фучика он держит человека, владеющего ключом ко многим тайнам, но как подобрать ключи к самому Фучику, он еще не знал, хотя испробовал уже многие отмычки. Его раздражало превосходство этого человека, которое он чувствовал и против которого был бессилен. Бём родился и жил в Праге, много лет работал старшим кельнером сначала в кафе «Флора» на Виноградах, затем в дорогом пражском ресторане «Наполеон». Там вечерами регулярно собирались деловые люди высшего света, видные политики, министры, генералы и журналисты. Человек в черном беззвучно, словно водяной жук, проплывал между столиками, подавал счет, внимательно слушал и много замечал, сопоставлял. Здесь

происходили секретные встречи Рудольфа Берана, и то, что не докладывал сам Беран Гитлеру, доносил в Берлин Бём. Его регулярные донесения высоко ценились, и сразу же после вторжения его назначили одним из комиссаров гестапо. Считалось, что он хорошо знает среду, язык, обычаи, а главное, душу местных жителей.

Его излюбленный метод назывался «натаскивание охотничьих собак» — создание широкой сети платных агентов-провокаторов. Каждое утро начинал с просмотра донесений тайных агентов, щедро рассыпанных по всем уголкам Праги. Хватало гибкости сообразить, куда нацелен главный удар. На такие вещи нюх у него был звериный. Палку и кандалы он не считал единственным средством воздействия. Рецепт управления низменными страстями не так-то уж сложен. Длительный, отупляющий страх смерти, методически вызываемое чередование приступов полного отчаяния и животных всплесков надежды действуют безотказно на человеческую душу, более эффектно, чем пытка. Ожидание смерти страшнее и мучительнее ее самой.

Фучик писал о нем: «Природа наделила его умом, и от остальных гестаповцев он выгодно отличался тем, что разбирался в людях. В уголовной полиции он мог бы, несомненно, сделать карьеру. Мелкие жулики и убийцы, деклассированные одиночки, наверное, не колеблясь открывались бы ему: у них одна забота — спасти свою шкуру. Но политической полиции редко приходится иметь дело со шкурниками. В гестапо хитрость полицейского сталкивается не только с хитростью узника. Ей противостоит сила несравненно большая: убежденность заключенного, мудрость коллектива, которому он принадлежит. А против этого не многое сделаешь одной хитростью или побоями».

С успехом играя на слабых струнах Бёма, Юлиус умело мистифицировал, сочинялголовокружительныенебылицы, соответствовавшие представлениям комиссара о значимости «дела», за которое он взялся. Фучик заявил, что он регулярно встречался два раза в месяц в вечернее время в летнем ресторане в Бранике с Яном Швермой. Хотя гестапо располагало сведениями, что Шверма находится в Москве, тем не менее Бём решил проверить показания Фучика и поехать с ним на место встреч.

«Июньский вечер благоухал липами и отцветающими акациями, — вспоминал Фучик. — Было воскресенье. Шоссе, ведущее к конечной остановке трамвая, не вмещало торопливого потока людей, возвращавшихся в город с прогулки. Они шумели, веселые, блаженно утомленные солнцем, водой, объятиями возлюбленных. Одной только смерти, которая ежеминутно

подстерегала их, выбирая все новые и новые жертвы, я не увидел на их лицах. Они копошились, словно кролики, легкомысленные и милые. Словно кролики! Схвати и вытащи одного из них — остальные забьются в уголок, а через минуту, смотришь, уже снова начали свою возню, снова хлопочут и радуются, полные жизни».

От Бёма не ускользнуло, что Фучик с жадностью и грустью смотрит через окошечко на улицы, витрины магазинов, на киоски с цветами, на бурлящий людской поток. Он заговорил вкрадчивым голосом, полным горячего сочувствия:

— Вот ты арестован, а посмотри, изменилось ли что-нибудь вокруг? Люди ходят, как и раньше, смеются, хлопочут, и все идет своим чередом, как будто тебя и не было. Среди этих прохожих есть и твои читатели. Не думаешь ли ты, что у них из-за тебя прибавилась хоть одна морщинка?

Бём попал в точку. Конечно, ничего не изменилось и не изменится в жизни людей, в плавном ходе светил. Влюбленный в жизнь, в Прагу, Юлиус не раз замечал какое-то несоответствие между этим чудесным городом и нередко будничными, прозаическими устремлениями его обитателей. Да, пражане любили потолковать о еде и напитках. Конечно, сейчас не поговоришь вслух на улице о том, что передавало Московское или Лондонское радио и как идут дела у Красной Армии. Но и в мирное время разговоры пражан то и дело сводились к отбивной с капустой и кружке пива. Не потому ли это, что наш трудолюбивый народ многие годы жил впроголодь в своей богатой стране, работая при австро-венгерской монархии на «альпийские страны», при Первой республике — на чешских хозяев, цри протекторате — на немецких господ? Но как бы пражане ни были заняты будничными заботами о хлебе насущном, они — и это Фучик знал твердо — не стремились ни к чему иному, не мечтали ни о чем ином, кроме изгнания чужеземцев.

— Сейчас миллионы людей ведут последний бой за свободу, — ответил Фучик, — тысячи гибнут в этом бою. Я — один из них. И знаете что, комиссар, быть одним из воинов последней битвы — это прекрасно!

— Не надо громких слов, Фучик. Когда приходится выбирать между жизнью и смертью, мы предпочитаем поспешить на помощь первой. Но ты неисправим!

Позднее Бём возил Фучика и в другие места, рассчитывая, во-первых, на то, что кто-нибудь из его знакомых заговорит с ним, а во-вторых, на то, что это должно возбудить в узнике жажду свободы и ослабить его волю.

Однажды они поехали на Град. Вошли через ворота Матиаша, украшенные аллегорическими скульптурами борющихся титанов, остановились перед порталом собора святого Вита. За каждым движением Фучика следили глаза сыщиков Бёма.

Древний величественный храм внутри был полон таинственной, тяжелой тьмы. Полумрак и холод. Строгие линии готических сводов уходили в вышину, позолоченные алтари, каменные надгробия. Пахло ладаном и еще тем особенным холодным запахом древнего храма, который всегда напоминает о смерти.

— Вот могилы чешских королей! — начал философствовать Бём. — Славные мужи чешского народа! Славные тем, что поняли: маленький народ не может существовать обособленно, без защиты, без связи с высокой германской культурой. Тысячелетняя традиция, родившаяся еще во времена Вацлава, вашего национального героя. Почему же вы восстаете против извечного чешско-немецкого союза? Жизненные интересы вашей нации требуют другого!

— Вы сами знаете, что лжете! Историю нельзя переписывать, подчищать, перекраивать ее как одежду, как мундир.

— Ты в плену своих заблуждений. Тем хуже для тебя! Оставим историю, перейдем к современности. Разве ты не видишь, сколько бессмысленных жертв, сколько излишней крови вызывает ваша нелепая конфронтация?

— Вы имеете в виду Лидице?

— Да, это село мы уже сровняли с землей и, если натолкнемся, на дальнейшее сопротивление, сровняем с землей хоть весь протекторат! Мы можем себе это позволить. Но вы — маленький народ, гордый, свободолюбивый, но все же маленький. Вы истечете кровью, вмешавшись в великую битву гигантов. Спор рейха с большевистской Россией решится на русских равнинах, независимо от вас.

— Да, много жертв приносит сейчас наш народ во имя борьбы за свое освобождение. Но вы ошибаетесь, если считаете, что кровь казненных, расстрелянных и замученных может остановить народ от дальнейшей борьбы, испугать его, сломить его волю к свободе. Его не сломили ни войска крестоносцев, согнанные со всей Европы, ни казни на Староместской площади после Белогордской битвы, его не сломило ни многовековое рабство, ни позорное мюнхенское предательство, его не сломит ничто, какие бы испытания ни готовило ему ближайшее будущее. То, что не удалось Габсбургам, не удастся и вам.

— Ты все еще веришь в победу русских? Нет, нет, Фучик, ты — фанатик.

Однажды после многочасового допроса Бём посадил Фучика вечером в машину и повез через всю Прагу, через Староместскую площадь к Градчанам. На площади толпы пражан кормили голубей и, затаив дыхание, устремляли любопытный встревоженный взгляд на куранты Староместской ратуши. Круг за кругом обходили стрелки зодиакальный диск, лики апостолов чинно сменяют друг друга, покачивает головой турок, напоминая о нашествии в Европу в XVI–XVII веках. А внутри вращались зубчатые колесики, соскакивали, срабатывали хитроумные рычажки, изготовленные поколением часовых дел мастеров. И вдруг скелет — символ смерти — начинает костлявой рукой трясти неподкупным своим колокольчиком, а второй рукой держать песочные часы, напоминая о неизбежном, призывая задуматься о неминуемом и торопиться делать добро. Каждый час все повторяется сначала, и вот уже 500 лет не умолкает колокольчик ни днем, ни ночью, ни зимой, ни летом. И никому, даже великим мира сего, не дано узнать, по ком пророчески звонил колокольчик, кому он перевернул песочные часы. Смерть не делится властью ни с кем, и вершители судеб могут распоряжаться всеми судьбами, за исключением своей собственной. «Какой удивительный город, — подумал Фучик, — какой удивительный город!»

Бём был умелым искусителем.

— Я знаю, ты любишь Прагу. Посмотри, неужели тебе не хочется вернуться сюда? Как она хороша! И останется такой же, когда тебя уже не будет…

— И станет еще прекраснее, когда здесь не будет вас, — прервал его Фучик.

27 мая 1942 года на крутом повороте у Выховательной улицы, на окраине Праги, три чехословацких ротмистра, чьи имена увековечены в названиях трех соседних улиц — Кубишова, Габчикова, Валчикова, — сделали свое дело: бомба угодила прямо в «мерседес» и превратила его в груду железа. Взрывная волна выбросила обергруппенфюрера Гейдриха на брусчатку, и он, белый как призрак, пытался еще преследовать одного из смельчаков, но это уже были последние действия уже бывшего протектора. Бесчувственное тело «третьей» персоны СС «третьего рейха» доставили в ближайшую больницу на Буловке в остановленной машине на ящиках с кремом для обуви.

В дело вмешался сам Гитлер. Поредела уже у него когорта генералов, но ведь это были генералы вермахта, да и где? На Восточном фронте. Но чтобы потерять в глубоком тылу одного из лучших национал-социалистов, который за версту чуял любую опасность, любые козни врагов, это уж слишком! В Прагу спешно

отправляется Гиммлер в сопровождении шефа V управления (уголовная полиция) Небе, шефа IV управления (гестапо) Мюллера, заместителя начальника VI управления (иностранная осведомительная служба) Шелленберга, будущего преемника Гейдриха Кальтенбруннера.

В стране вновь объявляется осадное положение. В первую же ночь Прага испытала на себе то, что в Германии знали под названием «ночь длинных ножей», или «мрак и туман». В полицейских документах эта акция называлась более прозаично — «большая облава». В ней участвовали тысячи сотрудников всех видов службы безопасности, уголовной полиции и отрядов вермахта. Город был наглухо блокирован, разбит на квадраты, всю ночь обыскивались подряд все дома, квартиры, подвалы, чердаки, склады и другие возможные укрытия. Искали парашютистов из Лондона, совершивших покушение.

Ежедневно на рассвете и вечером, перед заходом солнца, в предместье Праги — Кобылисы — через Дяблице направлялись вереницы грузовых машин, заполненных людьми. Их везли на расстрел без суда и следствия. Территория стрельбища была обнесена каменной стеной, огорожена колючей проволокой и строго охранялась часовыми. Но люди, тайком глядевшие сквозь дыры в крышах своих домов, все-таки видели, что там происходит. И тот, кто видел, уже не мог сомкнуть глаз, и еще долго после осадного положения ходил к невропатологам.

«Груды трупов растут, — писал Фучик. — Считают уже не десятками и не сотнями, а тысячами. Запах непрерывно льющейся крови щекочет ноздри двуногих зверей. Они „работают“ с утра до поздней ночи, „работают“ и по воскресеньям. Теперь все они ходят в эсэсовской форме, это их праздник, торжество уничтожения. Они посылают на смерть рабочих, учителей, крестьян, писателей, чиновников; они истребляют мужчин, женщин, детей; убивают целыми семьями, уничтожают и сжигают целые деревни. Свинцовая смерть, как чума, расхаживает по всей стране и не щадит никого».

Террор тяжело отразился на деятельности подполья. В течение короткого времени сотни коммунистов оказались за решеткой. Фучик с болью в сердце узнал, что в лапы гестаповцев попал Ян Зика. Едва началась облава, Зика, находившийся в одном из своих надежных убежищ, попытался скрыться. Единственный путь к спасению — спуститься по веревке из окна третьего этажа во двор, откуда, вероятно, можно было ускользнуть. Но веревка предательски оборвалась, и перед растерявшимся нацистом возникла фигура распростертого на земле человека. Со сломанным позвоночником лежал он, то терял

сознание, то снова приходил в себя, только через две недели гестаповцы узнали, кто в их руках.

Фучик встретился с Зикой во дворце Печека на очной ставке. Собрав последние силы, он улыбнулся своей широкой, доброй улыбкой и сказал:

— Здравствуй, Юла!

Это было все, что от него услышали. Больше он не сказал ни слова. После нескольких ударов он потерял сознание, а через несколько часов скончался.

В лапы гестапо попал и Ян Черный. Ни очные ставки с Фучиком, ни кровавые допросы на протяжении девяти месяцев не дали гестаповцам ничего: они не узнали, что он входил в состав ЦК, хотя и догадывались об этом. Наконец его отправили в концлагерь Терезин, а затем в Германию, где его казнили в мае 1944 года.

«Руде право» продолжала выходить как и прежде, и поэтому нацисты решили, что второй Центральный Комитет не уничтожен. Гестапо было чрезвычайно озабочено работой партии среди интеллигенции и настойчиво продолжало следствие по этому делу. К тому времени «дело» обросло протоколами допросов и всякими деталями, влекущими за собой тяжелые последствия. Бём по-прежнему испытывал на Фучике «психологические» методы воздействия. Гестапо рассчитывало, что на Фучика повлияет его жена, сидевшая в той же тюрьме, всего одним этажом ниже. С этой целью Бём организовал несколько свиданий. Хрупкой женщине с обостренным воображением с первых дней заключения пришлось многое пережить. Ей, боящейся вида крови, пришлось увидеть собственного мужа, окровавленного после страшного допроса, услышать от соседок по камере, что ее муж, избитый на допросе, умер в камере, а затем новую весть — нет, не забит до смерти, но не вынес пыток и повесился. И теперь гестапо надеется, что она не выдержит и станет уговаривать мужа облегчить свою и ее участь изменой. Лаймер так и сказал ей:

— Подействуйте на него, пусть возьмется за ум. Если он не думает о себе, пусть хоть о вас подумает, Даю вам час на размышления. Если он и после этого не заговорит, вас сегодня вечером расстреляют. Обоих.

— Господин комиссар, — твердо ответила Густа, — это для меня не угроза. Это моя последняя просьба, если вы казните его, казните и меня!

— Вон отсюда! — злобно закричал Лаймер. Последний «сюрприз» Бёма, последняя его «козырная карта» — свидание с Густой 23 февраля 1943 года, в день рождения Юлиуса. Всем своим видом — худощавый, подтянутый, даже элегантный, в

отлично сидящем костюме — комиссар хотел облегчить Фучику выбор — выбор между жизнью и смертью. Все он учел, но не учел одного обстоятельства. В этот день был еще один «именинник» — Красная Армия, которая разгромила гитлеровскую армию под Сталинградом. Фучик видел, как совсем недавно в Панкраце на февральском ветру долго плясал и хлопал траурный флаг со свастикой. Оккупантам, видимо, совсем пришлось туго, если они позакрывали театры и объявили траур. Раньше они все-таки держали в секрете свои военные неудачи.

Видя, что Фучика не склонить к измене, Бём вспомнил последний вечерний разговор в Праге:

— Когда не будет нас… Значит, ты все еще не веришь в нашу победу?

Он задавал этот вопрос потому, что не верил сам. И он внимательно слушал однажды то, что я говорил о силе и непобедимости Советского Союза. Это был, кстати сказать, один из моих последних допросов.

— Убивая чешских коммунистов, вы с каждым из них убиваете частицу надежды немецкого народа на будущее, — не раз говорил я Бёму. — Только коммунисты могут спасти его.

Он махнул рукой.

— Нас уже не спасешь, если мы потерпим поражение. — Он вытащил пистолет. — Вот смотри, последние три пули я берегу для себя. (При попытке перейти границу около города Хеб осенью 1945 года Бём был задержан и предстал перед чехословацким судом. — *В. Ф.*)

Весной 1943 года гестапо передало дело Фучика судебному следователю. Итак, конец единоборству? «Тринадцать месяцев боролся я за жизнь товарищей и за свою. И смелостью и хитростью. Мои враги вписали в свою программу „нордическую хитрость“. Думаю, что и я кое-что понимаю в хитрости. Я проигрываю только потому, что у них, кроме хитрости, еще и топор в руках».

Теперь осталось только ждать, пока составят обвинительный акт, две-три недели.

От немецкого следователя Келлерунга сразу повеяло холодом. Он ни добр, ни зол, не засмеется и не нахмурится, он просто подводит дело под параграфы. Угрызения совести его не мучили. Закон четко предписывал карать государственную измену, попытки «насильственного отторжения части имперской территории», «содействие врагам империи» смертной казнью, и Келлерунг требовал вынесения такого приговора для всех троих: Фучика, Клецана и Плахи.

В тот день, когда Фучик узнал, что его дело передано

судебному следователю, он решил попросить у Ёолинского карандаш и бумагу. Он помнил, как однажды вечером надзиратель молча проводил его, идущего с допроса, до камеры, и, сделав вид, будто обыскивает его, неожиданно спросил, не хочет ли он написать что-нибудь о своем пребывании в тюрьме. Колинский даже принёс бумагу и карандаш, но Фучик ответил:

— Я напишу обо всем после войны. Тогда я смогу все спокойно обдумать.

Теперь ситуация изменилась. Его ждет суд. Густу отправляют в концлагерь Равенсбрюк.[3]

— Господин Колинский, я хотел бы с вами переговорить, — тихо сказал ему Фучик во время вечернего обыска. — Я надумал. Насчет записок, понимаете? Мне нужны карандаш и бумага, но я не хочу вас принуждать. Вы тоже должны хорошенько подумать. Мне уже все равно. Недели через две, а может быть, и через два дня меня повезут на суд. Я знаю, что меня ждет. Поэтому, если они пронюхают, то самое большее, что они могут сделать, — это избить меня. Мне уже нечего терять, веревка мне обеспечена. Но дело не во мне. Вы рискуете головой.

— Не беспокойтесь, об этом никто узнать не должен и не узнает, — твердо ответил Колинский.

Так Фучик в апреле 1943 года начал писать на небольших листочках папиросной бумаги — их всего сто одиннадцать — «Репортаж с петлей на шее».

«Я приходил на дежурство, и, улучив минутку, заносил ему в камеру бумагу и карандаш, — рассказывал позже Колинский, — каждый раз по нескольку листов. Он все это прятал в свой соломенный тюфяк. После обхода каждого крыла — а их было три, переход от глазка к глазку занимал минут двадцать — я останавливался у камеры № 267, в которой сидел Фучик, стучал в дверь и тихо говорил: „Можете продолжать“. И он знал, что может писать дальше. Пока Фучик писал, я прохаживался возле камеры и охранял его. Если меня снизу, из коридора, вызывали, я стучал в его дверь два раза, и он должен был все прятать. Ему приходилось часто прерывать работу, прятать ее в тюфяк, а потом доставать снова. Писать он мог только во время моих дневных дежурств. Случалось, напишет странички две и все. И стучит мне в дверь: не могу, нет настроения. Иногда — это бывало по воскресеньям, когда в тюрьме поспокойней, если вообще про тюрьму можно так сказать, — он писал и по семь страниц. В эти дни он стучал в дверь камеры и просил меня поточить карандаш. А бывали дни, когда Фучик вовсе не мог писать, грустил. Значит, он узнал о гибели кого-нибудь из друзей. Перестав писать, он стучал и отдавал мне исписанные листки и карандаш. Его работу

я прятал в самой тюрьме, в туалете, за трубой резервуара с водой. У себя во время дежурства я никогда ничего не держал, никаких писем, которые через меня некоторые заключенные посылали своим родным, никаких других письменных материалов. Вечером, уходя домой, я прятал исписанные листки за подкладку крышки портфеля на тот случай, если портфель захотят осмотреть. Несколько раз Фучик отдавал исписанные страницы надзирателю Ярославу Горе».

Колинскому помогли установить контакт с Иржиной Завадской, которая приезжала в панкрацкую тюрьму навещать своего дядю Ярослава Маршала, бывшего до оккупации подполковником чехословацкой армии и не успевшего уйти за границу. После этого Колинский трижды в месяц передавал Иржине тонкие листочки, испещренные густым, мелким, четким почерком, а она с максимальными предосторожностями отвозила их в небольшой городок Гумполец на Чешско-Моравской высочине. Старики родители сначала прятали их в сарае, где хранился уголь, а потом, боясь, что они истлеют от влаги, запаяли их в банки для варенья и закопали в землю.

Кто из этих людей мог предположить тогда, что эти странички на тонкой папиросной бумаге после окончания войны, самой страшной и разрушительной в истории человечества, будут изданы на чешском, а затем переведены на русский, английский, французский, испанский, итальянский, арабский, шведский… на более чем 90 языков народов мира?

Забегая немного вперед, отметим, что «Репортаж с петлей на шее» стал выдающимся событием в духовной жизни многих народов и оказал заметное влияние на творческое развитие целого ряда писателей и поэтов. В 1950 году, выступая на III Всемирном конгрессе сторонников мира по случаю присуждения Ю. Фучику Международной премии мира, Пабло Неруда сказал: «Мы живем в эпоху, которую завтра в литературе назовут эпохой Фучика, эпохой простого героизма. История не знает произведения более простого и более высокого, чем эта книга, как нет и произведения, написанного при более ужасной обстановке. Это объясняется тем, что сам Фучик был человеком той эпохи, величественное здание которой созидается из гигантского творческого развития Советского Союза, организованного сознания трудящихся всего мира».

Фучик понимал, что за короткий срок ему не удастся сделать репортаж таким, каким ему хотелось, и по мере того, как приближался день суда и возрастала опасность не закончить работу, он стремился быть еще более лаконичным, больше свидетельствовать о людях, чем о событиях. Последнюю, восьмую

главу, последнюю страничку, последнюю фразу он дописал 9 июня, накануне отправки в Германию. Кто не помнит известных строк из «Репортажа», последних слов, которым было суждено стать его завещанием новому поколению:

«И моя пьеса подходит к концу. Конец я не дописал. Его я не знаю. Это уже не пьеса. Это — жизнь.

А в жизни нет зрителей.

Занавес поднимается.

Люди, я любил вас! Будьте бдительны!»

В «Репортаже» все, о чем пишет автор, надолго печалит нас или радует. Эта работа звучит как оптимистическая трагедия, становится выражением и сгустком того, чем Фучик жил, его революционного мировоззрения, верности пролетарским идеалам, взгляда на мир и человека, на прошлое, настоящее и будущее, синтезом его художественного, жизненного, социального и политического опыта.

Девятого июня 1943 года на двери камеры № 267 повесили пояс. Когда заключенному в тюрьме Панкрац возвращали отобранный у него при помещении в камеру пояс, это означало, что его отправляют. Куда? На казнь, в концлагерь? Фучик знал, что его отправляют в Германию, где его ожидал суд.

На рассвете 10 июня из ворот тюрьмы выехала грузовая машина. В ней находились заключенные, которых отправляли в рейх. Среди них были Фучик и Лида Плаха. Это была его последняя поездка по Праге. Через отверстие в брезенте он смотрел на убегающие дома, сады, дворы, и на него нахлынули воспоминания, связанные с этими такими близкими и дорогими местами…

Вот и вокзал. Эсэсовцы загнали узников в «курятники» — специальные вагоны, разделенные на тесные камеры. Когда заключенных вели к эшелону, на перроне столпилось множество людей, пришедших проститься — хотя бы ободрительным взглядом, взмахом руки, поднятым кулаком.

— Прекрасный материал для «Руде право», — шепнул с волнением и грустью Юлиус шедшей рядом Лиде.

Даже в такую минуту в нем заговорил прирожденный журналист.

Через несколько часов поезд пересек границу Чехословакии. Фучик и Лида, прижавшись к маленькому окошку, расположенному под самым потолком, мысленно прощались с полями и лесами Родины, с ее высоким голубым небом. Колеса отстукивали: «Навсегда, навсегда, навсегда…»

В Дрездене заключенных встречала на вокзале свора полицейских собак и вооруженные до зубов гестаповцы. Здесь

Фучик и Лида должны были расстаться. Лиду отправили в городскую тюрьму, Фучика — дальше, в Баутнен. В подследственной тюрьме саксонского городишка он пробыл около трех месяцев. Отсюда он послал три письма родным, в них многое нарочито упрощено, чтобы не волновать близких, они полны спокойного и светлого мужества.

«Вы, кажется, думаете, что человек, которого ждет смертный приговор, все время думает об этом и терзается. Это не так. С такой возможностью я считался с самого начала. Вера, мне кажется, знает это. Но, по-моему, вы никогда не видели, чтобы я падал духом. Я вообще не думаю обо всем этом. Смерть всегда тяжела только для живых, для тех, кто остается. Так что мне следовало бы пожелать вам быть сильными и стойкими».

Имперский прокурор Небель подписал текст обвинительного заключения 27 июля 1943 года. На другой день оно было напечатано, размножено на ротаторе, огромное количество копий следственных материалов было разослано для ознакомления различным органам Германии и протектората. Судебному процессу над Фучиком придавалось большое политическое значение, он должен был продемонстрировать окончательное поражение движения Сопротивления в чешских землях.

В девять часов утра 25 августа в зал первого сената фашистского «народного трибунала» вошли судьи, представляющие высшую военную и гражданскую администрацию фашистской империи: председатель «народного трибунала» Фрейслер, директор земельного суда Шлеман, министерский советник верховного командования вооруженных сил Герцлиб, адмирал в отставке фон Норден, руководитель областного управления Амельс. Просторный зал первого сената пышно украшен: кроваво-красные стяги со свастикой, огненно-красное одеяние судей, багровые ковры на полу, впереди огромный портрет Гитлера, по бокам бюсты и портреты генералов — носителей тевтонского духа. Все это призвано было действовать на подсудимых устрашающе. Одетый в черную мантию обвинитель усугублял это впечатление. Казалось, что подсудимые попали под зубья какой-то гигантской машины, остановить которую, хотя бы на мгновение, не в силах никакая человеческая воля.

После уточнения анкетных данных: год и место рождения, род занятий, семейное положение, обвинительное заключение зачитал Небель. Потом приступил к «делу» Фрейслер. Он сразу же пустил в ход один из своих излюбленных приемов. Прямо-таки жалостливым, полным сочувствия голосом он спросил:

— Почему вы ушли в подполье, когда вам не угрожала

никакая опасность?

На этот вопрос Фучик ответил вопросом:

— Почему многих моих товарищей, которые были арестованы на другой же день после начала оккупации, то есть тогда, когда они еще не могли ничего предпринять против рейха, нет уже в живых?

В голосе Фрейслера зазвучал металл:

— Почему вы выступили против рейха, когда историей доказано, что Чехия и Моравия с незапамятных времен были составной частью Великогерманской империи?

— Господа, вы ведь сами знаете, что это ложь. Вы фальсифицируете историю и подтасовываете факты так, как вам это выгодно.

В огромном зале воцарилась тишина. Какая дерзость! Немецкая публика онемела, она не привыкла к тому, чтобы говорили правду в глаза. Все раздражало судей: и его ответы, и то, как он держался. В порядке вещей стоять прямо, когда с вами разговаривает начальство, особенно в Германии. Но он держится вызывающе прямо и гордо. Тучи собираются над его головой, а он нарочно дерзит, да и голос у него отнюдь не дрожащий.

На все вопросы Фучик отвечал спокойно и твердо. Когда его спросили, чувствует ли он себя виновным, он ответил:

— Я не признаю вашей власти над моей страной и не подлежу вашему суду.

Тут Фрейслер не удержался и взвыл:

— Я запрещаю вам подобные высказывания! Отвечайте на вопрос: признаете ли вы, что своими действиями помогали врагу империи — большевистской России?

— Да, я помогал Советскому Союзу, помогал Красной Армии. И это лучшее, что я сделал за сорок лет своей жизни.

Он стал говорить о силе Советского Союза, о непобедимости коммунизма, о близящемся разгроме нацистских оккупантов.

Послышались громкие крики протеста. Фучик не обращал на это внимания:

— Сегодня вы зачитаете мне приговор. Я знаю, что он означает: Смерть человеку! Мой приговор над вами вынесен уже давно. В нем кровью честных людей всего мира написано: «Смерть фашизму! Смерть капиталистическому рабству! Жизнь человеку! Будущее — коммунизму!»

…Прокурор Небель зачитал проект приговора. По отношению к Фучику и Клецану он требовал применить высшую меру наказания: смерть через повешение и лишение чести.

— Обвиняемый Фучик, вам предоставляется последнее слово. — Фрейслер изо всех сил настойчиво демонстрировал

соблюдение законности, однако при этом не забыл предостеречь: — Речь идет о последнем слове, а не о заключительной речи. Я не намерен терпеть никаких подстрекательских речей и разглагольствований.

Глядя судьям в глаза, Фучик заявил:

— В Чехословацкой республике я стал коммунистом потому, что не мог и не хотел мириться с капиталистическими порядками. Я убежден, что после этой войны наступят другие времена. Я начал работать в подполье с целью помочь своему народу изгнать оккупантов и изменников, сидящих в правительстве протектората. Но не только в этом состояла моя цель. Мы боролись за то, чтобы после освобождения к власти снова не пробрались те, кто привел мой народ к катастрофе, кто, присягая ему в верности, еще задолго до 1938 года готовил измену. Было бы безумием опять допустить этих политических слепцов к власти. Иными словами, моя подпольная революционная деятельность была направлена на завоевание подлинной свободы для народа, мы подготавливали победу будущего социалистического государства!

К смертной казни был приговорен и Клецан. Участие Лиды Плахи в подпольной работе благодаря усилиям Фучика доказать не удалось. В обвинительном акте говорилось: «По ее словам, она просто ходила с Фучиком за компанию, не принимая участия в его разговорах и не зная содержания передаваемых ею записок, хотя Клецан заявил, что Плахе было известно о его подрывной деятельности». Суд оправдал ее, но фашисты не привыкли выпускать свои жертвы. Из суда Плаху передали в гестапо, и она была отправлена в концлагерь.

Сутки Фучик провел в политической тюрьме Моабит, а затем был переведен в каторжную тюрьму Плетцензее. Мрачное, обнесенное каменной стеной здание на северовосточной окраине Берлина. Четыре круглые башни с бойницами, вокруг канал, озеро, лес, пустырь.

Последним товарищем Юлиуса по заключению был чех Рудольф Бедржих, которому впоследствии смертная казнь была заменена десятилетним тюремным заключением. Он рассказывал:

«Я уже совсем отупел, ни о чем больше не думал, даже о доме, только ждал, когда меня казнят, — и тут ко мне в камеру привели Юлу. Он был весел, словно не его приговорили к смерти. Все время пел или что-нибудь рассказывал… Очень много и хорошо говорил о Советском Союзе, доказывал, что победить его нельзя, говорил о том, что Красная Армия гонит фашистские войска на запад…»

Он пишет три письма родным. В последнем из них,

написанном 31 августа 1943 года: «Кончилось, как я ожидал. Теперь я вместе с одним товарищем сижу в камере на Плетцензее. Мы клеим бумажные кульки, поем и ждем своей очереди. Остается несколько недель, но иногда это затягивается на несколько месяцев. Надежды опадают тихо и мягко, как увядшая листва. Людям с лирической душой при виде опадающей листвы иногда становится тоскливо. Но дереву не больно. Все это так естественно, так просто. Зима готовит для себя и человека, и дерево. Верьте мне, то, что произошло, ничуть не лишило меня радости. Она живет во мне и ежедневно проявляется каким-нибудь мотивом из Бетховена. Человек не становится меньше оттого, что ему отрубят голову. Я горячо желаю, чтобы после того, как все будет кончено, вы вспоминали обо мне не с грустью, а радостно, так, как я всегда жил».

В ночь с 3 на 4 сентября тюрьма подверглась бомбардировке. Загорелось одно крыло здания. В толпе заключенных раздались испуганные голоса:

— Что с нами будет? Это конец. Мы погибли. Фучик услышал ропот и выступил на тюремном дворе, как когда-то выступал на митингах:

— Пусть мы погибнем, но мы останемся верны своим убеждениям, другие будут жить лучше и счастливее, потому что мы умираем за это, — закончил он свою последнюю речь.

С этого дня заключенных и днем и ночью держали в кандалах. Бедржих подружился с Фучиком и как-то спросил его:

— Юлек, ты без страха говорил о смерти. Но ведь ты еще совсем молодой.

— Знаешь, что говорили древние греки? — ответил Фучик. — Тем, кого любят боги, они дают умереть молодыми. Умирать тяжело даже за идею. Но идея придает смысл твоей смерти и вооружает тебя мужеством.

Помещение для казни имело примерно метра четыре в ширину и восемь метров в длину. К потолку была прикреплена железная балка с восемью массивными крюками. Во время бомбардировки оно было уничтожено. Фашисты экстренно соорудили виселицы и вешали все ночи напролет.

Обычно осужденные к смерти ожидали в тюрьме исполнения приговора не менее ста дней. Однако имперский прокурор спешил. 7 сентября он сообщил начальнику тюрьмы: «После моего устного доклада государственный секретарь доктор Ротенбергер вынес решение: право на помилование к осужденному Юлиусу Фучику не применять, и приговор немедленно привести в исполнение».

Вечером этого дня прокурор Небель явился в камеру Фучика

и объявил, что его казнь назначена на 8 сентября в 4 часа 55 минут утра.

— Ваша имперская канцелярия спешит, — сказал Фучик. — Она боится, как бы через сто дней ей не пришел конец. Вы встревожены: русские могут прийти Б Берлин раньше, чем вы успеете уничтожить заключенных.

— Преступник! — закричал прокурор. — Завтра вы будете в аду.

На что Фучик спокойно ответил:

— Для меня будет большим удовольствием встретиться там с вами, господин прокурор.

«Утром, около пяти часов, за Юлой пришли двое надзирателей, — вспоминал Рудольф Бедржих. — Они ничего не спросили, даже имени. Стащили его с кровати, сняли кандалы и приказали раздеться. Юлек подскочил ко мне, пожал руку и сказал: „Привет товарищам!“, больше он ничего не успел сказать, так как надзиратели оттащили его, связали ему сзади руки и увели».

8 сентября 1943 года жизнь Фучика оборвалась.

Есть изречение: смерть каждого человека похожа на него. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о последних днях жизни Фучика, даже о последних его минутах. Рассказывают, что когда его вели на казнь, он запел «Интернационал». Эсэсовцы пытались заставить его замолчать, но Фучика услышали заключенные из третьего блока и подхватили песню…

Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

Семья Фучика просила выдать ей тело для погребения. Но пражское гестапо сообщило в Германию, что во избежание волнений тело писателя ни в коем случае не следует выдавать родным. Его обделили даже могилой, только бы не было волнений. Но волнения можно было только задержать, их нельзя было предотвратить. Когда человеческое достоинство унижено, задавлено, жизнь становится невыносимой. Как вода в реке прибывает исподволь, но потом наступает неудержимый разлив, так и гнев народа вылился во всеобщий порыв. 5 мая 1945 года восставшая Прага встала на баррикады. Их строили все — мужчины и женщины, дети и подростки, старики и старухи. В одной чешской сказке говорится о принце со звездой во лбу. Куда бы его ни послал чародей, чтобы погубить, принц преодолевает

все препятствия и всюду является как освободитель. У советских танкистов, спешивших на помощь восставшим пражанам, тоже была звездочка на шлемах.

Красная Армия вступала 9 мая в Прагу со стороны Кобылис, той тягостной для чехов дорогой, по которой в дни «гейдрихиады» на казнь отправляли тысячи патриотов, со стороны Рузыни, где нацисты расстреливали чешских студентов, приближалась по Кладненскому шоссе, по которому мчались каратели, чтобы превратить в пепел деревню Лидице. По этим следам народных бедствий шла Красная Армия, стирая с земли чешской кровь, горе и страдание. Первые советские танки ворвались в Прагу в районе Смихова, там, где прошло детство Фучика. Совпадение, безусловно, случайное, но тем не менее примечательное и символичное. Здесь, на площади Советских танкистов, перед казармами, носящими имя Юлиуса Фучика, ныне стоит танк Т-34 — памятник освобождения Чехословакии.

После войны в пражском Пантеоне на горе Витков, где похоронены основатели и выдающиеся деятели КПЧ, в высоком траурном зале с цветными витражами, среди безымянных могильных плит, установленных в память неизвестных героев чешской истории, отдавших жизнь за родину, была воздвигнута надгробная плита автору «Репортажа с петлей на шее». На плите лежит лавровая ветвь и написано: «Юлиус Фучик».

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЛИУСА ФУЧИКА

1903, 23 февраля — родился Юлиус Фучик.

1913, лето — семья Фучиков переезжает в Пльзень.

1914 — после окончания начальной школы Юлиус поступает в реальное училище.

1918 — принимает участие в первомайской демонстрации рабочих завода «Шкода».

1919 — участвует в работе объединенного комитета рабочих и учащихся средних и высших учебных заведений, пишет сатирические стихи в пражский журнал «Небойса» («Неустрашимый»), подает письменное заявление об отречении от церкви.

1920 — становится членом издательского и редакционного коллектива «Правды» в Пльзене — органе левых социал-демократов, референтом и редактором по вопросам литературы и театра.

1921, май — вступает в ряды Коммунистической партии Чехословакии.

Осень — переезжает в Прагу, поступает вольнослушателем на философский факультет Карлова университета.

1923 — готовит театральные рецензии для прогрессивных журналов «Социалист» и «Прамен».

1925 — становится одним из редакторов нового рабоче-студенческого революционного журнала «Авангард», пишет статьи для газеты «Руде право».

1926 — приступает к редактированию информационного журнала «Кмен».

1928, 4 ноября — вышел первый номер фучиковской «Творбы» («Творчество») — литературно-художественного и общественно-политического еженедельника, который он с перерывами редактировал до 1938 года.

1929, февраль — состоялся исторический V съезд КПЧ, избравший новое руководство партии во главе с К. Готвальдом. Фучик активно выступает за выполнение большевистской линии съезда, становится журналистом революционной прессы, в течение шести месяцев является редактором газеты «Руде право».

1930, май — впервые посещает СССР в составе чехословацкой рабочей делегации.

1931, март — выступает в дискуссии на VI съезде КПЧ, пишет репортаж «Съезд фронта» о работе съезда.

Май — выходят первые главы книги о Советском Союзе «В стране, где завтра является уже вчерашним днем».

1932, сентябрь — призван в армию.

1933, сентябрь — после демобилизации заключен в тюрьму за выступления с лекциями о Советском Союзе. Вскоре выходит на свободу и переходит на нелегальное положение, скрываясь под именем доктора Мареша. Октябрь — в условиях, когда коммунистическая печать находится под запретом, падает газету «Галлоновины» под видом самодеятельного органа типографских рабочих.

1934, февраль — совершает нелегальную поездку в Вену, где рабочие с оружием в руках восстали против фашистов.

Июль — узнав о кровавых событиях «ночи длинных ножей», совершает поездку в Мюнхен.

Август — по решению ЦК КПЧ нелегально направляется в СССР корреспондентом газеты «Руде право».

1935, июль — в качестве делегата КПЧ принимает участие в работе VII Конгресса Коминтерна.

1936, май — возвращение на родину, работа в «Творбе» и «Руде право».

1937, февраль — становится заместителем главного редактора газеты «Руде право».

Июль — вошел в состав созданной решением Секретариата ЦК КПЧ специальной комиссии по подготовке к празднованию XX годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

1938, лето — накануне мюнхенского сговора издает брошюру «Придет ли Красная Армия на помощь?».

30 июля — женится на Густе Кодержичевой.

23 сентября — в стране объявлена всеобщая мобилизация, Фучик в составе резервистов отправляется в пятый пехотный полк.

1939, 15 марта — приступил к работе над автобиографическим романом «Поколение до Петра». Лето — вместе с Густой покинул Прагу и скрывается в селе Хотимерж.

1940, лето — возвращается в Прагу, скрывается у друзей, устанавливает связь с первым подпольным ЦК КПЧ, выполняет отдельные поручения.

1941 — после ареста первого подпольного ЦК КПЧ в феврале 1941 года Фучик, Зика и Черный создают второй подпольный ЦК КПЧ, в котором Фучику поручено руководить подпольной печатью.

1942, февраль — под редакцией Фучика подпольно издана Конституция Советского Союза, второе издание «Истории ВКП(б)».

24 апреля — арест гестапо, заключен в тюрьму Панкрац, в камеру № 267.

1943, 9 июня — пишет последние строки «Репортажа с петлей на шее».

10 июня — Фучика перевозят в Германию, в тюрьму Бауцен у Дрездена.

25 августа — фашистским судом в Берлине приговаривается к смертной казни и переводится в тюрьму смертников Плетцензее (на окраине Берлина).

8 сентября в 4 часа 55 минут казнен,

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Готвальд К. Избранные произведения. М., 1958.

Гусак Г. Избранные статьи и речи. М., 1973.

Гусак Г. Избранные статьи и речи. М., 1981.

Фучик Ю. Избранное. Кн. 1–2. М., 1983.

Фучик Ю. Избранное. М., 1980.

Фучик Ю. Избранное. М., 1955.

Фучик Ю. Избранные очерки и статьи. М., 1950.

Фучик Ю. О Средней Азии. Ташкент, 1960.

Документы и материалы кануна второй мировой войны. 1937–1939. Т. 2. М., 1981.

Документы по истории мюнхенского сговора. 1937–1938. М., 1979.

Плевза В, Современная история Чехословакии. Братислава, 1979.

Марксистская литературная критика в Чехословакии, М., 1975.

Никольский С. В. Две эпохи чешской литературы. М., 1981.

Фучикова Г. Воспоминания о Фучике. М., 1974.

Юлиус Фучик в Киргизии. Фрунзе, 1963.

Киниметов А. Наш друг Юлиус Фучик. Фрунзе, 1973.

Вановская Г. Юлиус Фучик. Л., 1960.

Радволина И. Рассказы о Фучике. М., 1963.

Буряковский Ю. Не отрекусь. Киев, 1971.

Буряковский Ю. Люди, я любил вас. Киев, 1973.

Андриянов В., Грабица З. Люди из «Репортажа». М, 1981.

Королев Г., Филиппов В. Юлиус Фучик — антифашист, патриот, интернационалист. — Новая и новейшая история, 1983, № 5, 6.

Иванов М. И плавился даже камень. М., 1984.

Шерлаимова С.А. Чешская поэзия XX века. М., 1973.

notes

Примечания

1

…«Был непутевым» — название одного из рассказов писателя Я. Неруды (1834–1891), посвященных обывателям Малой Страны. Героя рассказа — честного, искреннего, доброго молодого человека — окружающие его мещане, мелкие собственники называли непутевым только за то, что он очень беден. «Кладбищенские цветы» — первый сборник стихов Я. Неруды.

2

События 1968 года в ЧССР подтвердили меткие слова Ю. Фучика. Профессор Карлова университета В. Черны стал одним из основателей контрреволюционной организации КАН, поддерживавшей тесную связь с поелефевральской буржуазной эмиграцией, с западными разведками, намеревавшимися столкнуть Чехословакию с социалистического пути развития и вырвать ее из семьи братских стран социализма.

3

В этом концлагере Густа находилась до мая 1945 года, когда советские солдаты освободили заключенных. После войны Густа Фучикова проделала огромную работу, собрав по страничкам, прошедшим через тюремные дозоры, через руки связных и тайники, «Репортаж с петлей на шее». В 1983 году видная общественная деятельница, член ЦК КПЧ, почетный председатель ЦК Чехословацкого союза женщин Густа Фучикова была удостоена высшей награды ЧССР — ордена Клемента Готвальда. Указом Президиума Верховного Совета СССР она была награждена орденом Трудового Красного Знамени за большой вклад в развитие и укрепление советско-чехословацкой дружбы, заслуги в антифашистской борьбе, активное участие в укреплении мира.